PG3337
.H4
A15
1914

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3337
.H4
A15
1914

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
SEP 14 1985	W APR 3 '85		

Form No. 513, Rev. 1/84

Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/gertsenpublitsis00herz

№ 9.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМИССІИ
УЧЕБНАГО ОТДѢЛА О-ВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ ТЕХНИЧ. ЗНАНІЙ.

Л. С. КОЗЛОВСКІЙ.

ГЕРЦЕНЪ-ПУБЛИЦИСТЪ.

Цѣна 90 к.

1914.

Книгоиздательство типо-литографіи „ЭНЕРГІЯ".
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ЗАГОРОДНЫЙ ПРОСП., 17.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМИССІИ
Учебнаго Отдѣла Общества Распространенія Техническихъ Знаній.

PG3337
.H4
A15
1914

ГЕРЦЕНЪ—ПУБЛИЦИСТЪ.

ИЗБРАННЫЯ СТРАНИЦЫ

СО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ И ОБЪЯСНЕНІЯМИ

Л. С. КОЗЛОВСКАГО.

Книгоиздательство типо-литографіи „ЭНЕРГІЯ“
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ЗАГОРОДНЫЙ ПРОСП., 17.

Типо-литографія «Энергія», Спб., Загородный пр., 17.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Пользуясь любезнымъ разрѣшеніемъ наслѣдниковъ А. И. Герцена, мы даемъ въ настоящемъ изданіи избранныя страницы изъ публицистическихъ произведеній Герцена. Въ сознаніи русскихъ читателей въ послѣднее время имя автора „Былого и Думъ", такъ долго недоступнаго широкой публикѣ, начинаетъ занимать мѣсто въ одномъ ряду съ самыми великими именами — именами Пушкина, Тургенева. Толстого. Но если „Былое и Думы", „Докторъ Круповъ" и другія художественныя произведенія Герцена даютъ ему право на одно изъ первыхъ мѣстъ среди писателей вообще, то есть область творчества, въ которой онъ занимаетъ безусловно первое мѣсто: это— публицистика. Здѣсь Герценъ поднялъ слово на такую высоту, которой никто не достигалъ въ этой области ни до него, ни послѣ него. Въ публицистикѣ онъ то, что Пушкинъ въ поэзіи или Тургеневъ въ художественной прозѣ. И страницы, написанныя этимъ художникомъ-публицистомъ, являются безсмертными памятниками русскаго языка. Здѣсь во всей его мощи этотъ „великій, могучій, правдивый и свободный русскій языкъ".

Выбирать среди страницъ, запечатлѣнныхъ такой красотой,—дѣло нелегкое, ибо почти каждую страницу Герцена хотѣлось бы включить въ число „избранныхъ страницъ". Но, выбирая именно тѣ, а не иныя страницы, составитель имѣлъ въ виду слѣдующее: 1) дать образчики публицистики Герцена въ разные періоды его жизни, отъ его статей въ „Отечественныхъ Запискахъ" до его старческихъ „Писемъ къ старому товарищу"; 2) подобрать такія статьи, чтобы дать наиболѣе полное представленіе объ общественномъ міросозерцаніи Герцена; 3) избѣгать такихъ статей, которыя понятны лишь въ связи со злобами дня, ихъ породившими, и въ настоящее время требуютъ комментаріевъ, выходящихъ изъ рамокъ общедоступнаго изданія.

На этомъ основаніи сюда не включены многія обличительныя и полемическія статьи „Колокола".

Сообразно съ основными моментами литературнаго творчества Герцена, книга наша раздѣляется на 4 неравныя по объему части: 1) философско-публицистическія статьи, писанныя въ Россіи, 2) философско-публицистическія статьи Герцена-эмигранта, 3) политическія статьи изъ „Колокола", 4) произведенія послѣднихъ лѣтъ.

Если періодъ публицистики „Колокола“ (отъ начала до паденія его вліянія, т. е. съ 1857 по 1863 г.) представляетъ наиболѣе блестящій моментъ дѣятельности Герцена въ смыслѣ непосредственнаго вліянія на жизнь, то произведенія предыдущаго періода (конецъ 40-хъ и начало 50-хъ гг.) являются наивысшимъ подъемомъ теоретической мысли Герцена („Съ того берега“, „Старый міръ и Россія“ и др.); въ нихъ мы находимъ самыя интересныя мысли его о судьбахъ человѣчества, о Западѣ и Россіи. Этому періоду въ творчествѣ Герцена мы и отвели сравнительно больше мѣста, чѣмъ другимъ.

Каждой части предпосланы краткія объясненія, а общая характеристика Герцена—общественнаго мыслителя дана во вступительномъ очеркѣ.

При составленіи настоящаго сборника мы пользовались текстомъ Павленковскаго изданія (Сочиненія А. И. Герцена въ 7 томахъ, СПБ. 1905). Это первое въ Россіи собраніе сочиненій Герцена неполно. Неполно и десятитомное заграничное изданіе. Въ настоящее время подъ редакціей М. К. Лемке подготовляется новое, дѣйствительно полное, съ критически провѣреннымъ текстомъ изданіе Герцена, и только тогда Герценъ весь предстанетъ передъ русскимъ читателемъ. Но рядомъ съ этой потребностью въ полномъ собраніи сочиненій великаго писателя—потребностью, удовлетворяемою лишь многотомнымъ изданіемъ, существуетъ потребность въ общедоступномъ изданіи избранныхъ произведеній Герцена. Навстрѣчу ей и идетъ настоящее изданіе.

Герценъ—общественный мыслитель.

Въ краткомъ очеркѣ мы не можемъ излагать біографію Александра Ивановича Герцена и, отсылая читателя къ „Былому и Думамъ“—книгѣ, въ которой самъ Герценъ такъ увлекательно разсказалъ свою жизнь и которая должна быть прочтена всѣми, кто любитъ русскую литературу,—мы отмѣтимъ здѣсь лишь характерную черту этой необыкновенно богатой и яркой жизни.

Жизнь Герцена какъ-то наполнена исторіей. Факты его личной жизни переплетаются съ историческими событіями, имена его друзей — имена, принадлежащія исторіи. Его внутренній міръ постоянно находится подъ впечатлѣніемъ историческихъ бурь, онъ то вспоминаетъ о пронесшейся грозѣ, то ждетъ новаго громового удара.

„Среди ужасной бури родился онъ“,—пишетъ Герценъ о себѣ,—„въ душѣ осталось нѣчто отъ бури и пожара“ (разсказъ, написанный въ Вяткѣ и озаглавленный: „Это было 22-го октября 1817 года“). Онъ родился въ Москвѣ въ 1812 г. и грудным младенцемъ едва не погибъ среди пожара Москвы. Воспоминанія объ этомъ событіи наполняютъ его дѣтство. „Разсказы о пожарѣ Москвы, о Бородинскомъ сраженіи, о Березинѣ, о взятіи Парижа, были моею колыбельной пѣснью, дѣтскими сказками, моей Иліадой и Одиссеей. Моя мать и наша прислуга, мой отецъ и Вѣра Артамоновна [1]) безпрестанно возвращались къ грозному времени, поразившему ихъ такъ недавно, такъ близко и такъ круто. Потомъ возвратившіеся генералы и офицеры стали наѣзжать въ Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой, едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у насъ. Они отдыхали отъ своихъ трудовъ и дѣлъ, разсказывая ихъ“. („Былое и Думы“).

Родившись въ Москвѣ почти наканунѣ нашествія Наполеона I, Герценъ умеръ въ 1870 г. въ Парижѣ, почти наканунѣ разгрома Франціи Пруссіей и паденія Имперіи Наполеона III. Его послѣднія письма къ Огареву уже говорятъ о предчувствіи надвигающейся грозы.

---

[1]) Вѣра Артамоновна—няня Герцена.

И много было грозъ въ этой жизни, прожитой между пожаромъ Москвы и разгромомъ Парижа.

Ему было 13 лѣтъ, когда наступило 14-е декабря 1825 года, и событіе это глубоко потрясло его дѣтское воображеніе. „Разсказы о возмущеніи, о судѣ, ужасъ въ Москвѣ, сильно поразили меня; мнѣ открывался новый міръ, который становился больше и больше средоточіемъ всего нравственнаго существованія моего; не знаю, какъ это сдѣлалось, но, мало понимая или очень смутно, въ чемъ дѣло, я чувствовалъ, что я не съ той стороны, съ которой картечь и побѣды. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческій сонъ моей души".

18-лѣтнимъ юношей онъ жадно прислушивается къ вѣстямъ, идущимъ изъ Франціи, гдѣ вспыхнула іюльская революція. Вотъ что разсказываетъ онъ о впечатлѣніи, произведенномъ на него этимъ событіемъ: „Въ 1830 г., въ августѣ, мы поѣхали въ Васильевское, останавливались, по обыкновенію, въ радклифовскомъ замкѣ Перхушкова и собирались, покормивши себя и лошадей, ѣхать далѣе. Бакай, подпоясанный полотенцемъ, уже прокричалъ „трогай!", какъ какой-то человѣкъ, скакавшій верхомъ, далъ знакъ, чтобъ мы остановились, и форейторъ Сенатора[1]), въ пыли и поту, соскочилъ съ лошади и подалъ моему отцу пакетъ. Въ этомъ пакетѣ была Іюльская революція!—Два листа „Journal des Débats", которые онъ привезъ съ письмомъ, я перечиталъ сто разъ, я ихъ зналъ наизусть,—и первый разъ скучалъ въ деревнѣ.

Славное было время, событія неслись быстро. Едва худощавая фигура Карла X успѣла скрыться за туманами Голируда, Бельгія вспыхнула, тронъ короля-гражданина качался, какое-то горячее революціонное дуновеніе началось въ преніяхъ, въ литературѣ. Романы, драмы, поэмы, все снова сдѣлалось пропагандой, борьбой".

Четыре года спустя (1834 г.), въ личной жизни Герцена событія—тюрьма и ссылка. Эти раннія несчастья „пронеслись, какъ вешнія грозы, освѣжая и укрѣпляя своими ударами молодую жизнь".

А тамъ—долгіе годы застоя, затишья и раздумья надъ судьбами человѣчества, и вдругъ... подземные удары 24 февраля 1848 года. Февральская революція и цѣлый вихрь событій: революцій и контръ-революцій, возстаній, заговоровъ, освободительныхъ войнъ. И Герценъ, вырвавшійся изъ Россіи въ Европу на волю, живетъ среди этихъ бурь, не можетъ надышаться атмосферой грозы:

„Удивительное время. У меня дрожитъ рука, когда я принимаюсь за газеты: всякій день какая-нибудь неожиданность, какой-нибудь громовой раскатъ; или свѣтлое воскресенье или страшный

---

[1]) Дядя Герцена.

судъ вдали". Такъ пишетъ Герценъ въ апрѣлѣ 1848 г. („Письма изъ Франціи и Италіи"). Онъ весь отдается этимъ событіямъ, воспоминаніями о нихъ живетъ цѣлые годы, годы реакціи.

И вотъ новый ударъ грома: Крымская война — „весенняя оттепель послѣ Николаевской зимы" и самое великое событіе въ русской исторіи — освобожденіе крестьянъ. Герценъ снова дышитъ полной грудью. Онъ всякій разъ дышалъ такъ, когда гроза очищала воздухъ. И онъ такъ много вобралъ въ себя отъ великихъ, освѣжающихъ жизнь человѣчества, грозъ и въ свою очередь вдохнулъ такъ много свѣжести въ свои писанія, что и теперь еще, когда читаешь ихъ, „грудь расширяется и дышишь свободнѣе" (такъ характеризовалъ впечатлѣніе, произведенное „Полярной Звѣздой" Герцена, декабристъ Якушкинъ).

Какой-то могучій, безкорыстный и чистый порывъ къ обновленію жизни проникаетъ творчество Герцена и отъ этого порыва расширяется грудь читателя. Вспоминая въ „Быломъ и Думахъ", какъ вмѣстѣ съ Огаревымъ увлекались они сенъ-симонизмомъ, Герценъ пишетъ: „Новый міръ толкался въ дверь, наши души, наши сердца растворялись ему". Душа Герцена всегда оставалась раскрытой для новаго міра и въ отреченіи отъ стараго міра—паѳосъ писаній Герцена.

Какое же содержаніе вкладывалъ Герценъ въ ожиданіе новаго міра и отреченіе отъ стараго? Это—основной вопросъ, уясненіе котораго необходимо для пониманія Герцена.

Что такое новый міръ для него? Это — прежде всего освобожденная, раскрѣпощенная Россія; о свободномъ русскомъ народѣ онъ мечталъ съ дѣтства; посвятить себя дѣлу этой свободы онъ мальчикомъ клялся вмѣстѣ съ Огаревымъ на Воробьевыхъ горахъ: „Садилось солнце, купола блестѣли, городъ стлался на необозримое пространство подъ горой, свѣжій вѣтерокъ подувалъ на насъ; постояли мы, постояли, оперлись другъ на друга и, вдругъ обнявшись, присягнули, въ виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу".

Когда наступила эпоха раскрѣпощенія крестьянъ, Герцену казалось, что „солнце, садившееся, освѣщая Москву, подъ Воробьевыми горами и уносившее съ собой отроческую клятву, снова всходило послѣ двадцатилѣтней ночи!" Но для Герцена освобожденіе крестьянъ было только „первой ступенью" въ новый міръ. Герценъ былъ соціалистомъ. Отчаливъ еще въ юности вмѣстѣ съ Огаревымъ отъ стараго берега русской жизни, Герценъ далеко унесся и отъ береговъ западно-европейской мѣщанской жизни. „Удобовпечатлимые, искренно-молодые, мы легко были подхвачены мощной волной и рано переплыли тотъ рубежъ, на которомъ останавливаются

цѣлые ряды людей, складываютъ руки, идутъ назадъ или ищутъ по сторонамъ броду — черезъ море! Но не всѣ рискнули съ нами. Соціализмъ и реализмъ остаются до сихъ поръ пробными камнями, брошенными на путяхъ революціи и науки. Группы пловцовъ, прибитыя волнами событій или мышленіемъ къ этимъ скаламъ, немедленно разстаются и составляютъ двѣ вѣчныя партіи, которыя, мѣняя одежды, проходятъ черезъ всю исторію, черезъ всѣ перевороты, черезъ многочисленныя партіи и кружки, состоящіе изъ десяти юношей. Одна представляетъ логику, другая — исторію, одна—діалектику, другая—эмбріогенію. Одна изъ нихъ—правѣе, другая—возможнѣе".

Герценъ былъ соціалистомъ. Но къ какому изъ основныхъ теченій соціалистической мысли отнести его? „Сенъ-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убѣжденій и неизмѣнно оставался въ существенномъ",—читаемъ мы въ „Быломъ и Думахъ". Однако, если мы сопоставимъ идеи Герцена позднѣйшаго періода съ сенъ-симонизмомъ, то найдемъ мало общаго. Сенъ-симонизмъ далъ толчокъ развитію мысли Герцена, но сенъ-симонистомъ онъ не былъ. Выросши на французской утопической соціалистической литературѣ, Герценъ не сталъ послѣдователемъ ни одной изъ утопическихъ школъ соціализма.

Г. Плехановъ въ очень интересной статьѣ о Герценѣ въ „Исторіи русской литературы XIX в." (изд. т-ва „Міръ") проводитъ мысль, что Герценъ, освобождаясь отъ утопическаго соціализма, шелъ къ научному, но все же къ послѣднему не пришелъ. Но вводя Герцена въ эту схему отъ „утопіи къ наукѣ", мы стираемъ своеобразный оттѣнокъ Герценовскаго соціализма, одинаково отличнаго и отъ утопическаго и отъ научнаго соціализма.

Герценъ прежде всего—художникъ и онъ выработалъ свою художественную концепцію соціальнаго творчества, концепцію, отличающую его, какъ общественнаго мыслителя, и отъ соціалистовъ-утопистовъ и отъ представителей научнаго пониманія соціализма.

На этой своеобразной чертѣ Герценовскаго міросозерцанія намъ и слѣдуетъ остановиться.

Для соціалистовъ-утопистовъ характерно то, что они изобрѣтаютъ систему, приносящую счастье человѣчеству—въ родѣ того, какъ изобрѣтается какое-нибудь усовершенствованіе, — и предлагаютъ свое изобрѣтеніе обществу. Какъ всѣ изобрѣтатели, они обращаются съ предложеніемъ къ правительствамъ или просто богатымъ и вліятельнымъ лицамъ и предлагаютъ „испробовать", использовать систему. Творцы утопическихъ фантазій начала XIX вѣка несомнѣнно находились подъ впечатлѣніемъ новыхъ техническихъ изобрѣтеній, которыя произвели такой переворотъ

въ промышленности. Изобрѣтательская горячка нашла для себя новое поле.

Въ основѣ утопическаго соціализма лежитъ, такимъ образомъ, представленіе о возможности перестроить общество произвольно по тому или иному плану. Для этого нужны: во-первыхъ—геніальный человѣкъ, изобрѣтшій хорошій планъ, а во-вторыхъ—люди, которые взялись бы осуществить этотъ планъ. Общественный строй разсматривается какъ какое-нибудь зданіе, которое можно передѣлать механическими средствами; здѣсь отсутствуетъ представленіе объ органическомъ характерѣ общественной жизни.

Марксъ и Энгельсъ — основатели научнаго соціализма — выдвигаютъ діаметрально-противоположное пониманіе общественнаго творчества: здѣсь нѣтъ мѣста изобрѣтательству, общества нельзя перестроить по любому плану, ибо общественная жизнь развивается по извѣстнымъ законамъ; настоящее есть необходимый результатъ прошедшаго и въ свою очередь таитъ въ своихъ нѣдрахъ будущее. Человѣческая воля можетъ лишь облегчить или затруднить рожденіе будущаго строя, но помѣшать его наступленію, замѣнить его другимъ она не можетъ. Соціализмъ возникнетъ изъ современнаго капиталистическаго строя тогда, когда развитіе производительныхъ силъ перерастетъ рамки этого строя. Борьба новыхъ силъ со старыми формами жизни выражается въ классовой борьбѣ и исторія человѣчества была борьбой классовъ. Задача общественнаго мыслителя не выдумывать, не изобрѣтать какіе-то планы устройства, а понять ходъ развитія, разобраться въ классовыхъ противорѣчіяхъ даннаго времени и содѣйствовать уясненію сознанія того класса, который является носителемъ будущаго.

Къ какому же изъ этихъ двухъ направленій принадлежитъ соціализмъ Герцена? Ни къ одному изъ нихъ.

Въ первой главѣ книги „Съ того берега“—„Передъ грозой“,—возникшей почти одновременно съ „Коммунистическимъ Манифестомъ“ Маркса и Энгельса („Передъ грозой“ написано въ декабрѣ 1847 г., „Манифестъ“—въ ноябрѣ того же года), Герценъ отвергаетъ какъ утопическое представленіе о возможности создавать будущее по нашему плану, такъ и возможность предвидѣть будущее, на чемъ основанъ научный соціализмъ. Жизнь не призвана осуществлять наши планы, она всегда творитъ нѣчто новое, неожиданное, будущаго нѣтъ, оно создается, оно можетъ быть такимъ и инымъ, есть разныя возможности и отъ тысячи причинъ зависитъ, какая возможность будетъ осуществлена, превратится въ будущее. „Кто ограничилъ цивилизацію однимъ прилагаемымъ?—гдѣ у нея заборъ? Она безконечна, какъ мысль, какъ искусство, она чертитъ идеалы жизни, она мечтаетъ апотеозу своего собствен-

наго быта, но на жизни не лежитъ обязанность исполнять ея фантазіи и мысли, тѣмъ болѣе, что это было бы только улучшенное изданіе того же, а жизнь любитъ новое... Будущаго нѣтъ, его образуетъ совокупность тысячи условій необходимыхъ и случайныхъ, да воля человѣческая, придающая неожиданныя драматическія развязки и coups de théatre. Исторія импровизируется, рѣдко повторяется, она пользуется всякой нечаянностью, стучится разомъ въ тысячу воротъ... которыя отопрутся... кто знаетъ... Борьба, взаимное дѣйствіе естественныхъ силъ и силъ воли, которой слѣдствія нельзя знать впередъ, придаетъ поглощающій интересъ каждой исторической эпохѣ. Еслибъ человѣчество шло прямо къ какому-нибудь результату, тогда исторіи не было бы, а была бы логика, человѣчество остановилось бы готовымъ, въ непосредственномъ statu quo, какъ животныя. Все это, по счастью, невозможно, ненужно и хуже существующаго. Животный организмъ мало-по-малу развиваетъ въ себѣ инстинктъ, въ человѣкѣ развитіе идетъ далѣе... Вырабатывается разумъ и вырабатывается трудно, медленно, — его нѣтъ ни въ природѣ, ни внѣ природы, его надобно достигать, съ нимъ улаживать жизнь, какъ придется, потому что libretto нѣтъ. А будь libretto, исторія потеряетъ весь интересъ, сдѣлается ненужна, скучна, смѣшна; горесть Тацита и восторгъ Колумба превратятся въ шалость, въ гаерство; великіе люди сойдутъ на одну доску съ театральными героями, которые, худо ли, хорошо ли играютъ, непремѣнно идутъ и дойдутъ къ извѣстной развязкѣ. Въ исторіи все импровизація, все воля, все ex tempore, впередъ ни предѣловъ, ни маршрутовъ нѣтъ, есть условія, святое безпокойство, огонь жизни, и вѣчный вызовъ бойцамъ пробовать силы, идти вдаль, куда хотятъ, куда только есть дорога,—а гдѣ ея нѣтъ, тамъ ее сперва проложитъ геній".

Геній, о которомъ говоритъ Герценъ, можетъ быть и геніальной личностью, но чаще всего это — геній коллективнаго творчества, геній народа или народовъ. Эту мысль Герценъ развиваетъ въ другой главѣ книги „Съ того берега" („Vixerunt"), написанной годъ спустя. „Вы досадуете, что народы не исполняютъ мысль, дорогую вамъ, ясную для васъ, что они не умѣютъ спастись оружіями, которыя вы имъ даете, и перестать страдать. Но почему вы думаете, что народъ именно долженъ исполнять вашу мысль, а не свою, именно въ это время, а не въ другое? Увѣрены ли вы, что средство, вами придуманное, не имѣетъ неудобствъ, увѣрены ли вы, что онъ понимаетъ его, увѣрены ли вы, что нѣтъ другого средства, что нѣтъ цѣли шире? Вы можете угадать народную мысль, это будетъ удача, но скорѣе вы ошибетесь. Вы и массы принадлежите двумъ разнымъ образованіямъ, между вами вѣка, больше нежели океаны, которые

геперь переплываютъ такъ легко. Массы полны тайныхъ влеченій, полны страстныхъ порывовъ, у нихъ мысль не разъединилась съ фантазіей, у нихъ она не остается по нашему теоріей, она у нихъ тотчасъ переходитъ въ дѣйствіе; и отъ того и трудно привить мысль, что она не шутка для нихъ. Отъ того онѣ иногда обгоняютъ самыхъ смѣлыхъ мыслителей, увлекаютъ ихъ поневолѣ, покидаютъ среди дороги тѣхъ, которымъ поклонялись вчера, и отстаютъ отъ другихъ вопреки очевидности; онѣ дѣти, онѣ женщины, онѣ капризны, бурны, непостоянны".

Здѣсь повторяется мысль, что будущее всегда нѣчто новое, не то, что мы ожидали. „Новое, возникающее изъ борьбы утопій и консерватизма, входитъ въ жизнь не такъ, какъ его ожидала та или другая сторона; оно является переработаннымъ, инымъ, составленнымъ изъ воспоминаній и надеждъ, изъ существующаго и водворяемаго, изъ преданій и возникновеній, изъ вѣрованій и знаній, изъ отжившихъ римлянъ и неживши хъ германцевъ, соединяемыхъ одной церковью, чуждой обоимъ. Идеалы, теоретическія построенія никогда не осуществляются такъ, какъ они носятся въ нашемъ умѣ".

Спустя 10 лѣтъ въ письмѣ къ Тургеневу („Еще варіація на старую тему") Герценъ снова говоритъ о томъ, что въ исторіи есть разныя возможности и нѣтъ необходимой одной какой-нибудь линіи развитія: „Ты знаешь, что я не фаталистъ, и ни въ какія предопредѣленія не вѣрю, ни даже въ пресловутое „совершенствованіе человѣчества". Природа и исторія плетутся себѣ съ дня на день и во вѣки вѣковъ, сбиваясь съ дороги, прокладывая новыя, попадая на старыя, удивляя то быстротой, то медленностью, то умомъ, то глупостью, толкаясь всюду, но входя только туда, гдѣ ворота отперты. Говоря о возможномъ развитіи, я не говорю о его неминуемой необходимости; что изъ возможнаго осуществится, что нѣтъ, — я не знаю, потому что въ жизни народовъ очень много зависитъ отъ лицъ и воли. Я чую сердцемъ и умомъ, что исторія толкается именно въ наши ворота; если мы безсильны ихъ отворить, а сильные не хотятъ или не умѣютъ, дальнѣйшее развитіе прошедшаго найдетъ болѣе способные органы въ Америкѣ, въ Австраліи, гдѣ гражданственность складывается совсѣмъ на иной ладъ. Можетъ, и сама Европа переработается, встанетъ, возьметъ одръ свой и пойдетъ по своей святой землѣ, подъ которой лежатъ столько мучениковъ и на которую пало столько поту и столько крови. Можетъ быть!"

Ту же мысль Герценъ развиваетъ опять, спустя нѣсколько лѣтъ, въ „Концахъ и началахъ" (1862 г.): „При отсутствіи плана и срока, аршина и часовъ — развитіе въ природѣ, въ исторіи не то что не можетъ отклониться, но должно безпрестанно откло-

няться, слѣдуя всякому вліянію и въ силу своей безпечной страдательности, происходящей отъ отсутствія опредѣленныхъ цѣлей. Въ отдѣльномъ организмѣ иногда отклоненіе даетъ себя знать болью, и тутъ часто боль является слишкомъ позднимъ предостереженіемъ. Сложные, сводные организмы сбиваются съ своихъ діагоналей и уносятся по скатамъ, вовсе не замѣчая ни дороги, ни опасности, благодаря смѣнѣ поколѣній. Возможность остановить отклонившееся, удержать забѣжавшее или нагнать его, очень мала и мало желается; желаніе предполагало бы всякій разъ сознаніе и цѣль".

Это представленіе Герцена о творческомъ процессѣ исторіи необходимо имѣть въ виду, чтобы понять его вѣру въ соціалистическое будущее Россіи и его отношеніе къ Западу. Такъ какъ есть разныя возможности, и нѣтъ одной неизбѣжной линіи развитія, то, во-первыхъ, нѣтъ необходимости, чтобы Россія шла непремѣнно тѣмъ же путемъ, что и Западная Европа, а, во-вторыхъ, возможно, что Западная Европа вообще дальше не пойдетъ, что творческія силы западнаго человѣчества истощились:

„Пути развитія очень туги и очень непросты въ природѣ, въ исторіи; они употребляютъ страшное количество силы и формъ. Намъ это мало видно, потому что мы находимся лицомъ къ лицу съ готовымъ результатомъ, съ выработавшимся, съ успѣхомъ. Ряды неудачныхъ формъ были вызваны по дорогѣ, жили не вполнѣ (по сравненію съ послѣдующими) и замѣнялись другими, намъ неизвѣстными. Онѣ не были пожертвованы, потому что онѣ жили для себя, но, отживши, передали наслѣдіе не дѣтямъ, а чужимъ. Мамонты и ихтіозавры—слонамъ и крокодиламъ, Египетъ и Индія—Греціи и Риму. Весьма можетъ быть, что вся творческая способность западныхъ народовъ истратилась, истощилась, создавая свой общественный идеалъ, свою науку, стремясь къ нимъ и осуществляя отдѣльныя, односторонніе фазы ихъ со всею страстностью и увлеченіемъ борьбы, въ которой отъ того людямъ такъ легко умирать, что они на всякомъ шагу думаютъ достигнуть полнаго идеала своего".

Идеалъ будетъ осуществленъ юнымъ, не истощившимъ своего творчества, русскимъ народомъ. Но народъ не призванъ осуществлять идеалы, создаваемые мыслителями: если русскій народъ осуществитъ соціализмъ, то потому, что его влечетъ къ соціализму; объ этомъ говоритъ приверженность русскаго народа къ общинѣ.

Русскому народу незачѣмъ къ соціализму идти черезъ „мѣщанскія" формы западной жизни: „я не считаю мѣщанства окончательной формой русскаго устройства, того устройства, къ которому Россія стремится и, достигая котораго, она, вѣроятно, пройдетъ и мѣщанской полосой. Можетъ, народы европейскіе сами

перейдутъ къ другой жизни, можетъ, Россія вовсе не разовьется, но именно потому, что это можетъ быть, — можетъ быть и другое".

Итакъ, будущее есть результатъ волевого усилія, оно можетъ быть такимъ, можетъ быть инымъ, учесть его впередъ нельзя. Для осуществленія соціализма нуженъ творческій размахъ воли; въ русскомъ народѣ есть этотъ размахъ, есть запасъ творческихъ силъ. Общественная философія Герцена — своеобразная философія творчества.

Созиданіе новыхъ формъ жизни онъ мыслитъ по аналогіи съ художественнымъ творчествомъ, законы котораго не изучены, которое даетъ новое, неожиданное, несетъ много случайнаго и можетъ оборваться, когда истощилось вдохновеніе. Нельзя предвидѣть будущее, нельзя выдумывать планы будущаго соціальнаго строя. Народъ или человѣчество создаетъ будущее, какъ художникъ, слѣдуя своему влеченію, порыву, создаетъ новый образъ, черты котораго выясняются и опредѣляются въ самомъ процессѣ творчества. Если соціалистъ-утопистъ напоминаетъ изобрѣтателя какого-нибудь техническаго усовершенствованія, а представитель научнаго соціализма—ученаго, изучающаго объективный ходъ развитія, то Герценъ-соціалистъ прежде всего—художникъ. „Будущее импровизируется на тему прошедшаго", — говоритъ онъ. Его собственныя идеи о старомъ мірѣ и Россіи были геніальной импровизаціей, въ которую вылилась его ненависть къ мѣщанству. Въ этомъ отвращеніи къ „мѣщанству", которымъ такъ ярко окрашены писанія Герцена, тоже сказывается художникъ. Конечно, Герценъ былъ противъ „мѣщанства", т. е. буржуазіи, потому что слышалъ „горькій плачъ пролетарія", но онъ ненавидитъ мѣщанскій укладъ жизни еще и потому, что послѣдній оскорбляетъ его вкусъ. Въ „Концахъ и Началахъ" Герценъ разсказываетъ, какъ онъ искалъ себѣ квартиру въ мѣщанскомъ Парижѣ.

„Весной 1850 года я искалъ въ Парижѣ квартиру; тогда я уже настолько обжился въ Европѣ, что мнѣ опротивѣла тѣснота и давка цивилизаціи, которая сначала очень нравится намъ, русскимъ; я съ ужасомъ, смѣшаннымъ съ отвращеніемъ, смотрѣлъ уже на безпрестанно двигающуюся, кишащую толпу, предчувствуя, какъ она у меня отнимаетъ полъ-мѣста въ театрѣ, дилижансѣ, какъ она бросится звѣремъ въ вагоны, какъ нагрѣетъ и насытитъ собою воздухъ, — а потому я и квартиру искалъ не на юру, и сколько-нибудь непохожую на уютно-пошлыя и убійственно-однообразныя квартиры—въ три спальни, à trois chambres à coucher de maître.

Мнѣ кто-то указалъ флигель большого стараго дома, по ту сторону Сены, въ самомъ С.-Жерменскомъ предмѣстьи или около.

Я пошелъ туда. Старуха, жена дворника, взяла ключи и повела меня дворомъ. Домъ и флигель стояли за оградой; внутри двора, за домомъ, зеленѣли какія-то деревья. Флигель былъ не убранъ, запущенъ, вѣроятно, въ немъ много лѣтъ никто не жилъ. Полустаринная мебель, времени первой Имперіи, съ римской прямолинейностью и почернѣлой позолотой. Флигель этотъ былъ невеликъ, небогатъ, но расположеніе комнатъ, мебель, все указывало на иное понятіе объ удобствахъ жизни. Возлѣ небольшой гостиной была еще крошечная, совершенно въ сторонѣ, близъ спальной, кабинетъ съ шкапами для книгъ и большимъ письменнымъ столомъ. Я походилъ по комнатамъ и мнѣ показалось, что я послѣ долгаго скитанія снова встрѣтилъ человѣческое жилье, un chez soi, а не нумеръ, не людское стойло"...

Только въ старомъ домѣ, уцѣлѣвшемъ отъ аристократическихъ временъ, нашелъ Герценъ удовлетворяющую его вкусамъ обстановку. Въ современномъ мѣщанскомъ мірѣ ему все противно: „театры, гулянья, трактиры, книги, картины, платья, все степенью понизилось и страшно возросло числомъ"...

„Характеръ мѣщанства своимъ добромъ и зломъ противенъ, тѣсенъ для искусства; искусство въ немъ вянетъ, какъ зеленый листъ въ хлорѣ".

Этотъ антиэстетическій характеръ мѣщанства оттолкнулъ Герцена отъ буржуазіи еще раньше, чѣмъ онъ возненавидѣлъ ее за кровавое подавленіе іюльскаго возстанія. Уже первыя письма изъ Франціи, писанныя въ 1847 году и напечатанныя въ „Современникѣ" („Письма изъ Avenu Marigny"), полны громовъ противъ буржуазіи.

„Буржуазія явилась на сценѣ самымъ блестящимъ образомъ въ лицѣ хитраго, увертливаго, шипучаго, какъ шампанское, цирюльника и дворецкаго, словомъ, въ лицѣ Фигаро; а теперь она на сценѣ въ видѣ чувствительнаго фабриканта, покровителя бѣдныхъ и защитника притѣсненныхъ. Во время Бомарше Фигаро былъ внѣ закона, въ наше время Фигаро законодатель; тогда онъ былъ бѣденъ, униженъ, стягивалъ понемногу съ барскаго стола и отъ того сочувствовалъ голоду и въ смѣхѣ его скрывалось много злобы; теперь его Богъ благословилъ всѣми дарами земными, онъ обрюзгъ, отяжелѣлъ, ненавидитъ голодныхъ и не вѣритъ въ бѣдность, называя ее лѣнью и бродяжничествомъ. У обоихъ Фигаро общее собственно одно лакейство, но изъ-подъ ливреи Фигаро стараго видѣнъ человѣкъ, а изъ-подъ чернаго фрака Фигаро новаго проглядываетъ ливрея, и, что хуже всего, онъ не можетъ сбросить ее, какъ его предшественникъ, она приросла къ нему такъ, что ее нельзя снять безъ его кожи".

„Буржуазія не имѣетъ великаго прошедшаго и никакой будущности. Она была минутно хороша, какъ отрицаніе, какъ переходъ, какъ противоположность, какъ отстаиваніе себя. Ея силъ стало на борьбу и на побѣду; но сладить съ побѣдой она не могла: не такъ воспитана. Дворянство имѣло свою общественную религію; правилами политической экономіи нельзя замѣнить догматы патріотизма, преданія мужества, святыню чести; есть, правда, религія, противоположная феодализму, но буржуа оставленъ между этими двумя религіями.

Наслѣдникъ блестящаго дворянства и грубаго плебеизма, буржуа соединилъ въ себѣ самые рѣзкіе недостатки обоихъ, утративъ достоинства ихъ. Онъ богатъ, какъ вельможа, но скупъ, какъ лавочникъ. Онъ вольноотпущенный. Французское дворянство погибло величественно и прекрасно; оно, какъ могучій гладіаторъ, видя неминуемую смерть, хотѣло пасть со славой; памятникъ этого героизма — 4 августа 1879 г.; что ни толкуй, а въ добровольномъ отреченіи отъ феодальныхъ правъ есть много величественнаго".

И вотъ этому сословію, которое отказывалось отъ своихъ правъ, Герценъ противоставляетъ „классъ людей, который при общей потерѣ пріобрѣтаетъ; дворянство лишается правъ,—они усугубляютъ свои; народъ умираетъ съ голоду, они — сыты; народъ вооружается и идетъ громить враговъ, — они поставляютъ сукна, провіантъ"...

Герценъ не могъ не чувствовать нравственнаго величія въ добровольномъ и безкорыстномъ отказѣ и не могъ не презирать тѣхъ, кто при общей потерѣ пріобрѣталъ: вѣдь самъ онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ лучшихъ представителей аристократіи, которые умѣли отказаться отъ своихъ привиллегій; этотъ благородный жестъ аристократическаго отказа былъ близокъ его душѣ. Сынъ, хотя и незаконный, богатаго и знатнаго русскаго барина, Герценъ по своему воспитанію, связямъ и богатству былъ несомнѣнно русскимъ бариномъ. Онъ былъ одинъ изъ самыхъ яркихъ представителей русскаго барства, порвавшихъ со своей средой, сознавшихъ неправду дворянскихъ привиллегій.

„На нашей душѣ лежитъ великій грѣхъ, — писалъ Герценъ, обращаясь къ русскому дворянству, — и мы въ этомъ невиноваты, но мы удерживаемъ неправо-унаслѣдованное, оно стягиваетъ насъ, какъ тяжелый камень, на дно и съ нимъ на шеѣ мы не выплывемъ".

Въ этомъ сознаніи грѣха привиллегій, въ этомъ призывѣ къ правдѣ, Герценъ напоминаетъ Толстого. Дѣйствительно, много общаго въ этихъ двухъ великихъ представителяхъ русскаго барства. Они пошли разными путями, но въ своемъ уходѣ отъ барства, въ своемъ разрывѣ съ міромъ привиллегій оба были прямолинейны и

послѣдовательны. Оба сходились въ жаждѣ коренного обновленія жизни и въ нелюбви къ среднему сословію,—„мѣщанству“.

Толстой, уйдя отъ помѣщичьей усадьбы, пришелъ къ крестьянской избѣ, къ мужику, минуя третье сословіе. Герценъ, порвавъ съ дворянствомъ, отчаливъ отъ русскаго консервативнаго берега, тоже прошелъ мимо третьяго сословія прямо къ западно-европейскому рабочему, а когда въ 1848 г. послѣдній оказался побѣжденнымъ, то онъ перенесъ надежды свои на русскій народъ. Отъ дворянства къ народу, отъ крѣпостного строя къ идеалу свободной жизни трудящихся—этотъ путь прошли и Герценъ и Толстой.

Пути ихъ расходятся, когда заходитъ рѣчь о средствахъ, ведущихъ къ цѣли. Толстой проповѣдуетъ непротивленіе злу насиліемъ и индивидуальный отказъ отъ зла; онъ вѣритъ, что достаточно массамъ не участвовать въ насиліи и оно исчезнетъ. Герцена влекло къ революціямъ, онъ любилъ, какъ мы уже говорили, воздухъ революціи, атмосферу грозы, онъ признавалъ и мирный путь развитія, путь реформы, но всегда общественныя реформы, къ которымъ Толстой былъ равнодушенъ, при своемъ отрицаніи всего современнаго общественнаго строя.

Иногда, правда, Герценъ высказываетъ объ общественномъ пути мысли, которыя кажутся совсѣмъ толстовскими, такъ, напримѣръ, въ книгѣ „Съ того берега“ онъ говоритъ:

„Когда бы люди захотѣли, вмѣсто того, чтобы спасать міръ, спасать себя, вмѣсто того, чтобы освобождать человѣчество, себя освобождать,—какъ много бы они сдѣлали для спасенія міра и для освобожденія человѣка“.

Но такія „толстовскія“ мысли не характерны для Герцена, не выражаютъ основного характера его міросозерцанія. Оно было общественнымъ, оно основано на вѣрѣ въ обновленіе жизни путемъ общественнаго переустройства, а не путемъ личнаго спасенія.

Сближаетъ же Герцена съ Толстымъ непріятіе современнаго буржуазнаго міра. Въ этомъ отношеніи Герценъ, сходясь съ Толстымъ, рѣзко расходился съ Тургеневымъ, который, порвавъ съ дворянствомъ, мирился съ западно-европейскими формами жизни. Критика мѣщанства въ „Концахъ и Началахъ“ и была полемикой Герцена съ Тургеневымъ, котораго онъ упрекалъ въ боязни разрыва съ настоящимъ, въ желаніи покоя и отдыха: — „ты рѣшительно дальше не ѣдешь, тебѣ хочется отдохнуть въ тучной осенней жатвѣ, въ тѣнистыхъ паркахъ, лѣниво колеблющихъ свои листья, послѣ долгаго знойнаго лѣта. Тебя не страшитъ, что дни уменьшаются, вершины горъ бѣлѣютъ и дуетъ иногда струя воздуха зловѣщая и холодная; ты больше боишься нашей весенней распу-

тицы, грязи по колѣно, дикаго разлива рѣкъ, голой земли, выступающей изъ-подъ снѣга, да и вообще нашего упованія на будущій урожай, отъ котораго мы отдѣлены бурями и градомъ, ливнями, засухами и всѣмъ тяжелымъ трудомъ, котораго мы еще не сдѣлали"...

Но, стремясь къ коренному обновленію жизни, вѣря въ революціонное творчество, Герценъ не отрицалъ и пути реформъ, не былъ такъ непримиримъ въ своихъ требованіяхъ, какъ Толстой. Въ этомъ сказалась его нелюбовь къ догмѣ. Для него нѣтъ единаго пути, а есть разныя возможности. Путь мирнаго постепеннаго развитія можетъ быть тоже однимъ изъ путей, на который можетъ вступить страна. Говоря въ статьѣ „Революція въ Россіи" („Колоколъ" № 2),—что преобразованіе Россіи можетъ произойти путемъ уступокъ правительства общественному мнѣнію, Герценъ замѣчаетъ: „Артисты революціонеры не любятъ этого пути, мы это знаемъ, но намъ до этого дѣла нѣтъ, мы просто люди, глубоко убѣжденные, что нынѣшнія государственныя формы Россіи никуда негодны, и отъ души предпочитаемъ путь мирнаго человѣческаго развитія пути развитія кроваваго, но съ тѣмъ вмѣстѣ также искренно предпочитаемъ самое бурное и необузданное развитіе—застою николаевскаго statu quo". Исходя изъ этого положенія, Герценъ выставилъ въ „Колоколѣ" пріемлемую для правительства программу, программу minimum, на которой могли сойтись всѣ, желавшіе обновленія,— освобожденіе крестьянъ, свобода слова, отмѣна тѣлесныхъ наказаній.

Для того, чтобы правильно оцѣнить позицію, занятую Герценомъ въ „Колоколѣ", нужно еще принять во вниманіе и то, что онъ всегда придавалъ неизмѣримо большее значеніе экономическимъ переворотамъ, чѣмъ политическимъ (въ этомъ сказывалось вліяніе французской соціалистической литературы). Въ Россіи происходилъ экономическій переворотъ съ освобожденіемъ крестьянъ съ землей и съ сохраненіемъ общины, создавался, по мнѣнію Герцена, экономическій базисъ для другого соціальнаго строя.

Освобожденіе крестьянъ съ землей, осуществленное въ полномъ объемѣ, могло бы, по мнѣнію Герцена, предохранить Россію отъ мѣщанской фазы развитія. Такимъ образомъ, не было противорѣчія между Герценомъ-революціонеромъ, осуждавшимъ старый мѣщанскій міръ, и Герценомъ, защищавшимъ практическую программу крестьянской реформы.

Эта крестьянская реформа могла бы, по мнѣнію Герцена, положить основу „новому міру". Это былъ „коренной переворотъ, который тихо и незамѣтно, sans phrase, входилъ глубже и глубже въ землю и поднимался надъ озимью полей".

И въ борьбѣ за крестьянскую реформу, и въ проповѣди соціалистическаго будущаго Россіи и въ критикѣ мѣщанства западной жизни былъ одинъ и тотъ же Герценъ—русскій баринъ, отказавшійся отъ барства, отвернувшійся отъ мѣщанства и возложившій надежды свои на народъ. Великій русскій писатель—Герценъ воплотилъ въ себѣ безкорыстный духъ русской литературы, выросшей на почвѣ крѣпостного права. Съ душой, „открытой для новаго міра", онъ благословлялъ новую жизнь:

„И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть".

Этотъ пушкинскій мотивъ съ рѣдкой силой звучалъ и въ душѣ и въ писаніяхъ Герцена.

„Послѣднія звенья, связующія два міра, не принадлежащія ни къ тому, ни къ другому, люди, отвязавшіеся отъ рода, разлученные со средою, покинутые на себя; люди ненужные, потому-что не можемъ дѣлить ни дряхлости однихъ, ни младенчества другихъ, намъ нѣту мѣста ни за однимъ столомъ. Люди отрицанія для прошедшаго, люди отвлеченныхъ построеній въ будущемъ, мы не имѣемъ достоянія ни въ томъ, ни въ другомъ и въ этомъ равно свидѣтельство нашей силы и ея ненужности".

Такъ писалъ Герценъ въ книгѣ „Съ того берега" въ минуту остраго разочарованія въ свободной Западной Европѣ, въ которую онъ бѣжалъ изъ крѣпостной Россіи. Онъ не былъ, конечно, „ненужнымъ человѣкомъ", не былъ человѣкомъ однихъ „отвлеченныхъ построеній въ будущемъ", онъ много сдѣлалъ для освобожденія русскаго народа, но войти въ новую жизнь ему не суждено было. Уйдя изъ крѣпостной Россіи, онъ не могъ вернуться въ Россію пореформенную, онъ не сочувствовалъ „мѣщанскому" Западу, но и не расчитывалъ увидѣть своими глазами торжество соціализма. Онъ не могъ не чувствовать, поэтому, одиночества и отчужденности въ современномъ ему мірѣ. Но въ сознаніи этого одиночества онъ не проклиналъ, а благословлялъ жизнь. Въ этой безкорыстной любви къ жизни, въ этой душѣ, съ дѣтства до старости „раскрытой для новаго міра",—тайна того обаянія, которое исходитъ отъ его твореній.

Л. Козловскій.

Москва.
Сентябрь, 1913 г.

ЧАСТЬ I.

Герценъ въ Россіи.

Дилетантизмъ въ наукѣ.

Статьи Герцена „Дилетантизмъ въ наукѣ“ написаны въ 1842—1843 гг. и являются краснорѣчивымъ памятникомъ умственной жизни Россіи того времени. Впечатлѣніе ихъ на современниковъ было огромно. Грановскій „ѣздилъ изъ дома въ домъ съ Отечественными Записками, гдѣ статьи эти печатались, самъ читалъ вслухъ, комментировалъ и серьезно сердился, если онѣ кому не нравились“ („Былое и Думы“). Боткинъ называлъ первую изъ этихъ статей „героической симфоніей“. Для того, чтобы вполнѣ оцѣнить эти статьи и понять восторгъ, вызванный ими у современниковъ, надо вспомнить условія, въ какихъ онѣ писались. Считаясь съ требованіями цензуры, Герценъ долженъ былъ прибѣгать къ несвойственному ему, отвлеченному, условному языку: такъ, напримѣръ, говоря объ отношеніи души и тѣла, онъ, чтобъ не возбудить подозрѣнія цензора, долженъ былъ душу называть „безвиднымъ, внутреннимъ“, а тѣло—„наружнымъ, внѣшнимъ“. Онъ не могъ касаться вопросовъ политической и соціальной жизни, пояснять свои мысли конкретными примѣрами изъ дѣйствительной жизни, а между тѣмъ въ этихъ статьяхъ, по его же словамъ, „вопросъ науки сочлененъ со всѣми соціальными вопросами“.

На насъ эти статьи производятъ впечатлѣніе очень отвлеченныхъ и отрѣшенныхъ отъ соціальныхъ вопросовъ, но современники, пріученные къ философскимъ спорамъ на отвлеченныя темы въ кружкахъ и къ условному языку журнальныхъ статей, отлично понимали въ чемъ дѣло. Для нихъ статьи Герцена были такъ близки въ жизни, какъ только могли быть. О жизни и о живой человѣческой личности говорили онѣ современникамъ. Рѣчь идетъ о томъ, чтобы при помощи знанія выработать такое міросозерцаніе, которое дало бы, задавленной николаевскимъ режимомъ, человѣческой личности силу жить для будущаго и переносить настоящее. „Когда настанетъ время, молнія событій раздеретъ тучи, сожжетъ препятствія, и будущее, какъ Паллада, родится въ полномъ вооруженіи. Но вѣра въ будущее — наше благороднѣйшее право, наше неотъемлемое благо; вѣруя въ него, мы полны любви къ настоящему. И эта вѣра въ будущее спасетъ насъ въ тяжкія минуты отъ отчаянія; и эта любовь къ настоящему

будетъ жива благими дѣяніями". Такъ заканчиваетъ Герценъ свои статьи о „Дилетантизмѣ". А приблизительно въ это же время онъ писалъ въ своемъ дневникѣ: „Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія? И между тѣмъ наши страданія — почка, изъ которой разовьется ихъ счастье".

Надеждами на будущее, вѣрой въ то, что страданія настоящаго превратятся въ радости грядущаго, жило поколѣніе Герцена, и такъ какъ эта вѣра сильно звучала въ статьяхъ о „Дилетантизмѣ", то читателю-современнику казалось, что онъ слушаетъ „героическую симфонію". Въ этихъ статьяхъ нѣтъ еще Герценовскаго языка во всей его мощи, нѣтъ тѣхъ громовыхъ раскатовъ которыми позже гремѣла Герценовская рѣчь въ „Полярной Звѣздѣ", въ „Колоколѣ", въ „Письмахъ изъ Франціи и Италіи", въ книгѣ „Съ того берега", но здѣсь, подобно нѣмымъ зарницамъ въ душную ночь, вспыхиваютъ образы-мысли, уже предвѣщающіе будущаго Герцена-публициста.

Здѣсь уже основные элементы публицистической мысли Герцена: любовь къ живой и цѣльной человѣческой личности, вѣра въ освобождающую силу знанія и убѣжденіе, что „мы живемъ на рубежѣ двухъ міровъ". Эта фраза, которою начинается статья о „Дилетантизмѣ", таитъ въ себѣ одно изъ самыхъ основныхъ и глубокихъ его убѣжденій. Онъ, дѣйствительно, чувствовалъ себя на рубежѣ двухъ міровъ: стараго отживающаго міра буржуазнаго и новаго, рождающагося міра—соціализма.

Мы приводимъ здѣсь первую статью о „Дилетантизмѣ" (съ пропускомъ средней части), два отрывка изъ третьей статьи, озаглавленной „Дилетанты и цехъ ученыхъ" и конецъ послѣдней статьи—„Буддизмъ въ наукѣ".

Статья 1-ая.

Мы живемъ на рубежѣ двухъ міровъ,—оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящихъ людей. Старыя убѣжденія, все прошедшее міросозерцаніе потрясены, но они дороги сердцу. Новыя убѣжденія, многообъемлющія и великія, не успѣли еще принести плода; листы, почки пророчатъ могучіе цвѣты, но этихъ цвѣтовъ нѣтъ, и они чужды сердцу. Множество людей осталось безъ прошедшихъ убѣжденій и безъ настоящихъ. Другіе механически спутали долю того и другого и погрузились въ печальныя сумерки. Люди внѣшніе предаются въ такомъ случаѣ ежедневной суетѣ; люди созерцательные страдаютъ, во что-бъ ни стало ищутъ примиренія, потому что съ внутреннимъ раздоромъ, безъ краеугольнаго камня нравственному бытію человѣкъ не можетъ жить. Между тѣмъ, всеобщее примиреніе въ сферѣ мышленія провозгласилось міру наукой. И жаждавшіе примиренія раздвоились. *Одни* не вѣрятъ наукѣ, не хотятъ ею заняться, не хотятъ обслѣдовать, почему она такъ говоритъ, не хотятъ итти ея трудпымъ путемъ; «наболѣвшія души наши», говорятъ они, «требуютъ утѣшеній, а наука на горячія просьбы о хлѣбѣ подаетъ камни, на вопль и стонъ растерзаннаго сердца, на его плачъ, молящій объ участіи, предлагаетъ холодный разумъ

и общія формулы; въ логической неприступности своей она равно не удовлетворяетъ ни практическихъ людей, ни мистиковъ. Она намѣренно говоритъ языкомъ неудобопонятнымъ, чтобы за лѣсомъ схоластики скрыть сухость основныхъ мыслей — elle n'a pas d'entrailles». *Другіе,* совсѣмъ напротивъ, нашли внѣшнее примиреніе и отвѣтъ всему какимъ-то незаконнымъ процессомъ, усвоивая себѣ букву науки и не касаясь до живого духа ея. Они до того поверхностны, что имъ кажется все ужасно легкимъ, на всякій вопросъ они знаютъ разрѣшеніе; когда слушаешь ихъ, то кажется, что наукѣ больше ничего не осталось дѣлать. У нихъ свой алькоранъ, они вѣрятъ въ него и цитируютъ мѣста, какъ послѣднее доказательство. Эти мухаммедане въ наукѣ чрезвычайно вредятъ ея успѣхамъ. Генрихъ IV говаривалъ: «лишь бы Провидѣніе меня защитило отъ друзей, а съ врагами я самъ справлюсь»; такіе друзья науки, смѣшиваемые съ самой наукой, оправдываютъ ненависть враговъ ея;—и наука остается въ маломъ числѣ избранныхъ.

Но хотя бы она была въ одномъ человѣкѣ,—она фактъ, великое событіе не въ возможности, а въ дѣйствительности; отрицать событіе нельзя. Такого рода факты никогда не совершаются не въ свое время; время для науки настало, она достигла до истиннаго понятія своего; духу человѣческому, искусившемуся на всѣхъ ступеняхъ лѣстницы самопознанія, начала раскрываться истина въ стройномъ наукообразномъ организмѣ и притомъ въ живомъ организмѣ. За будущность науки нечего бояться. Но жаль поколѣнія, которое, имѣя, если не совершенное освѣщеніе дня, то навѣрное утреннюю зарю, страдаетъ во тьмѣ или тѣшится пустяками, оттого что стоитъ спиною къ востоку. За что изъяты стремящіеся отъ блага обоихъ міровъ: прошедшаго умершаго, вызываемаго ими иногда, но являющагося въ саванѣ, и настоящаго, для нихъ не родившагося?

Массами философія теперь принята быть не можетъ. Философія, *какъ наука,* предполагаетъ извѣстную степень развитія самомышленія, безъ котораго нельзя подняться въ ея сферу. Массамъ вовсе недоступны безтѣлесныя умозрѣнія; ими принимается имѣющее плоть. А для того, чтобы перейти во всеобщее сознаніе потерявъ свой искусственный языкъ, и сдѣлаться достояніемъ площади и семьи, живоначальнымъ источникомъ дѣйствованія и воззрѣнія всѣхъ и каждаго,—она слишкомъ юна, она не могла еще имѣть такого развитія въ жизни, ей много дѣла дома, въ сферѣ абстрактной; кромѣ философовъ—мухаммеданъ, никто не думаетъ, что въ наукѣ все совершенно, несмотря ни на выработанность формы, ни на полноту развертывающагося въ ней содержанія, ни на діалектическую методу, ясную и прозрачную для самой себя. Но если массамъ недоступна наука, то до нихъ не дошли и страданія душнаго состоянія пустоты и натянутаго бѣснующагося піэтизма. Массы не внѣ истины; онѣ знаютъ ее божественнымъ откровеніемъ. Въ несчастномъ и безотрадномъ положеніи находятся люди, попавшіе въ промежутокъ между *естественною* простотою массъ и *разумной* простотою науки.

На первый случай да будетъ позволено намъ не разрушать на нѣкоторое время спокойствія и квіетизма, въ которомъ почиваютъ формалисты, и заняться

исключительно врагами современной науки; ихъ мы понимаемъ подъ общимъ именемъ дилетантовъ и романтиковъ. Формалисты не страдаютъ, а эти больны,—имъ жить тошно.

Враговъ собственно наука въ Европѣ не имѣетъ, развѣ за исключеніемъ какихъ-нибудь кастъ, доживающихъ въ безсмыслiи свой вѣкъ, да и тѣ такъ нелѣпы, что съ ними никто не говоритъ. Дилетанты вообще тоже друзья науки, nos amis les ennemis, какъ говоритъ Беранже, но непріятели современному состоянію ея. Всѣ они чувствуютъ потребность пофилософствовать между прочимъ, легко и пріятно, въ извѣстныхъ границахъ; сюда принадлежатъ нѣжныя мечтательныя души, оскорбленныя положительностью нашего вѣка; онѣ, жаждавшія вездѣ осуществленія своихъ милыхъ, но несбыточныхъ фантазій, не находятъ ихъ и въ наукѣ, отворачиваются отъ нея и, сосредоточенныя въ тѣсныхъ сферахъ личныхъ упованій и надеждъ, безплодно выдыхаются въ какую-то туманную даль. И, съ другой стороны, сюда принадлежатъ истые поклонники позитивизма, потерявшіе духъ за подробностями и упорно остающіеся при разсудочныхъ теоріяхъ и аналитическихъ трупоразъятіяхъ. Наконецъ, толпа этого направленія составляется изъ людей, вышедшихъ изъ дѣтскаго возраста и вообразившихъ, что наука легка (въ ихъ смыслѣ), что стоитъ захотѣть знать—и узнаешь, а между тѣмъ наука имъ не далась, за это они и разсердились на нее; они не вынесли съ собою ни укрѣпленныхъ дарованій, ни постояннаго труда, ни желанія чѣмъ бы то ни было пожертвовать для истины. Они попробовали плодъ древа познанія и грустно повѣдали о кислотѣ и гнилости его, похожіе на тѣхъ добрыхъ людей, которые со слезами разсказываютъ о порокахъ друга,—и имъ вѣрятъ добрые люди, потому что они друзья.

Возлѣ дилетантовъ доживаютъ свой вѣкъ романтики, запоздалые представители прошедшаго, глубоко скорбящіе объ умершемъ мірѣ, который имъ казался вѣчнымъ; они не хотятъ съ новымъ имѣть дѣла иначе, какъ съ копьемъ въ рукѣ; вѣрные преданію среднихъ вѣковъ, они похожи на Донъ-Кихота и скорбятъ о глубокомъ паденіи людей, завернувшись въ одежды печали и сѣтованія. Они, впрочемъ, готовы признать науку; но для этого требуютъ, чтобы наука признала за абсолютное, что Дульцинея Тобозская—первая красавица. Пришло время, въ которое должно безъ увлеченія и предразсудковъ смотрѣть на людей; начинается совершеннолѣтіе, и потому не одно сладкое должно высказываться, но и горькое. Надобно для того начать рѣчь противъ дилетантовъ науки, что они клевещутъ на нее, и для того, что ихъ жаль; наконецъ, всего болѣе необходимо говорить о нихъ *у насъ*.

Одно изъ существеннѣйшихъ достоинствъ русскаго характера—чрезвычайная легкость принимать и усвоивать себѣ плодъ чужого труда. И не только легко, но и ловко; въ этомъ состоитъ одна изъ гуманнѣйшихъ сторонъ нашего характера. Но это достоинство вмѣстѣ съ тѣмъ и значительный недостатокъ; мы рѣдко имѣемъ способность выдержаннаго, глубокаго труда. Намъ понравилось загребать жаръ чужими руками, намъ показалось, что это въ порядкѣ вещей, чтобъ Европа кровью и потомъ вырабатывала каждую истину и открытіе: ей

всѣ мученія тяжелой беременности, трудныхъ родовъ, изнурительнаго кормленія грудью,—а дитя намъ. Мы проглядѣли, что ребенокъ будетъ у насъ—пріемышъ, что органической связи между нами и имъ нѣтъ... Все шло хорошо. Но когда мы приблизились къ современной наукѣ, ея упорство должно было удивить насъ. Эта наука вездѣ дома, но только она нигдѣ не даетъ жатвы, гдѣ не посѣяна, она должна не только въ каждомъ принимающемъ народѣ, но въ каждой личности прозябнуть и возрасти. Намъ хотѣлось бы взять результатъ, поймать его, какъ ловятъ мухъ, и, раскрывая руку, мы или обманываемъ себя, думая, что абсолютное тутъ, или съ досадой видимъ, что рука пуста.

Дѣло въ томъ, что эта наука существуетъ, какъ наука, и тогда она имѣетъ великій результатъ; а результатъ отдѣльно вовсе не существуетъ: такъ голова живого человѣка кипитъ мыслями, пока шеей прикрѣплена къ туловищу, а безъ него она — пустая форма. Все это должно было удивить и оскорбить нашихъ дилетантовъ гораздо болѣе, нежели иностранныхъ, ибо у насъ гораздо менѣе развито понятіе науки и путей ея. Наши дилетанты съ плачемъ засвидѣтельствовали, что они обманулись въ коварной наукѣ Запада, что ея результаты темны, сбивчивы, хотя и есть порядочныя мысли, принадлежащія «такому-то и такому-то». Такія рѣчи у насъ вредны, потому что нѣтъ нелѣпости, обветшалости, которая не высказывалась бы нашими дилетантами съ увѣренностью, приводящею въ изумленіе; а слушающіе готовы вѣрить оттого, что у насъ не установились самыя общія понятія о наукѣ; есть предварительныя истины, которыя въ Германіи, напримѣръ, впередъ идутъ, а у насъ нѣтъ. О нихъ тамъ уже никто не говоритъ, а у насъ никто *еще* не говорилъ о нихъ. На Западѣ война противъ современной науки представляетъ извѣстные элементы духа народнаго, развившіеся вѣками и окрѣпнувшіе въ упрямой самобытности; имъ вспять итти не позволяютъ воспоминанія: таковы, напримѣръ, піэтисты въ Германіи, порожденные односторонностью протестантизма. Какъ ни жалко ихъ положеніе—быть изъятыми изъ жизни современной, но нельзя отрицать въ нихъ особый характеръ упругости и послѣдовательности, съ которой они ведутъ отчаянный бой. Наши дилетанты, если и принимаютъ эти чужеземныя болѣзни, то, не имѣя предшествующихъ фактовъ, они дивятъ поверхностью и неразумѣемъ. Имъ не стыдно отступить, потому что они еще не сдѣлали ни одного шага впередъ. Они были всегда праздношатающимися въ сѣняхъ храма науки, у нихъ нѣтъ своего дома. И если-бъ они могли побѣдить восточную лѣнь и въ самомъ дѣлѣ обратить вниманіе на науку, они помирились бы съ нею. Но тутъ-то и бѣда. Мы сердились на науку въ совершенныхъ годахъ такъ, какъ сердились на грамматику, будучи восьми лѣтъ. Трудность, темнота—главное обвиненіе; къ нему присовокупляются, какъ къ существенному, другія возраженія, піэтическія, моральныя, патріотическія, сентиментальныя. Гете давнымъ-давно сказалъ: «когда толкуютъ о темнотѣ книги, слѣдуетъ спросить, въ книгѣ ли темнота или въ головѣ». Вообще ссылаться вѣчно на трудность—это что-то неблагопристойное, лѣнивое и незаслуживающее возраженія. Наука не достается безъ труда—правда; въ наукѣ нѣтъ другого способа пріобрѣтенія, какъ на потѣ лица; ни порывы, ни фантазіи, ни стремленіе

всѣмъ сердцемъ не замѣняютъ труда. Но трудиться не хотятъ, и утѣшаются мыслью, что современная наука есть разработка матеріаловъ, что надобны нечеловѣчьи усилія для того, чтобы понять ее, и что скоро упадетъ съ неба или выйдетъ изъ-подъ земли другая *легкая* наука.

. . . . . .

При первомъ шагѣ дилетанты предъявляютъ допросные пункты, труднѣйшіе вопросы науки хотятъ впередъ узнать, чтобъ имѣть залогъ, что такое духъ, абсолютное... Да такъ, чтобъ опредѣленіе было коротко и ясно, т. е., дайте содержаніе всей науки въ нѣсколькихъ сентенціяхъ,—это была бы легкая наука! Что сказали-бы о томъ человѣкѣ, который, собираясь заняться математикой, потребовалъ бы впередъ яснаго изложенія диференцированія и интегрированія, и притомъ на его собственномъ языкѣ? Въ спеціальныхъ наукахъ рѣдко услышите такіе вопросы: страхъ показаться невѣждой держитъ въ уздѣ. Въ философіи дѣло другое: тутъ никто не женируется! Предметы все знакомые—умъ, разумъ, идея и проч. У всякаго есть палата ума, разума и *не одна,* а *много* идей. Я еще здѣсь предположилъ темную наслышку о результатахъ философіи, хотя и нельзя угадать, что именно допрашивающіе разумѣютъ подъ абсолютнымъ духомъ и проч.; но болѣе отважные дилетанты идутъ дальше; они дѣлаютъ вопросы, на которые рѣшительно нечего сказать, потому что вопросъ заключаетъ въ себѣ нелѣпость. Для того, чтобы сдѣлать дѣльный вопросъ, надобно непремѣнно быть сколько-нибудь знакому съ предметомъ, надобно обладать своего рода предугадывающею проницательностью. Между тѣмъ, когда наука молчитъ изъ снисхожденія или старается, вмѣсто отвѣта, показать невозможность требованія, ее обвиняютъ въ несостоятельности и въ употребленіи уловокъ.

Приведу, для примѣра, одинъ вопросъ, разнымъ образомъ, но чрезвычайно часто предлагаемый дилетантами: «какъ безвидное внутреннее превратилось въ видимое внѣшнее, и что оно было прежде существованія внѣшняго?» Наука потому не обязана на это отвѣчать, что она и не говорила, что два момента, существующіе какъ внутреннее и внѣшнее, можно разъять такъ, чтобы одинъ моментъ имѣлъ дѣйствительность безъ другого. Въ абстракціи, разумѣется, мы можемъ отдѣлить причину отъ дѣйствія, силу отъ проявленія, субстанцію отъ наружнаго. Но имъ не того хочется: имъ хочется *освободить* сущность, внутреннее—такъ, чтобы можно было посмотрѣть на него; они хотятъ какого-то предметнаго существованія его, забывая, что предметное существованіе внутренняго есть именно внѣшнее: внутреннее, не имѣющее внѣшняго, просто—безразличное ничто.

Nichts ist drinnen, nichts ist draussen:
Denn was innen, das ist aussen.

Goethe.

Словомъ, внѣшнее есть обнаруженное внутреннее, и внутреннее потому внутреннее, что имѣетъ свое внѣшнее. Внутреннее безъ внѣшняго—какая-то дурная возможность, потому что нѣтъ ему проявленія; внѣшнее безъ внутренняго—

безсмысленная форма, не имѣющая содержанія. Такимъ объясненіемъ дилетанты недовольны: у нихъ кроется мысль, что во внутреннемъ спрятана тайна, которая разуму непостижима, а между тѣмъ вся сущность его въ томъ только и состоитъ, чтобы *обнаружиться*,—и для чего, для кого была бы эта *тайная тайна?* Безконечное, безначальное отношеніе двухъ моментовъ, другъ друга опредѣляющихъ, другъ въ друга *утягивающихъ*, такъ сказать, составляютъ жизнь истины; въ этихъ вѣчныхъ переливахъ, въ этомъ вѣчномъ движеніи, въ которое увлечено все сущее, живетъ истина; это ея вдыханіе, и выдыханіе ея систола и діастола. Но истина жива, какъ все органически живое, только какъ цѣлостность; при разъятіи на части, душа ея отлетаетъ и остаются метрвыя абстракціи съ запахомъ трупа. Но живое движеніе, это всемірное діалектическое біеніе пульса, находитъ чрезвычайное сопротивленіе со стороны дилетантовъ. Они не могутъ допустить, чтобы *порядочная* истина, не сдѣлавшись нелѣпостью, могла перейти въ противоположное. Разумѣется, что внѣ науки нельзя передать ясно и отчетливо необходимость вѣчнаго, неуловимаго перехода внутренняго во внѣшнее, такъ что наружное есть внутреннее, а внутреннее—наружное. Но причина, почему именно такіе выводы философіи возмущаютъ—очевидна. Разсудочныя теоріи пріучили людей до такой степени къ анатомическому способу, что только неподвижное, мертвое, т. е. неистинное, они считаютъ за истину, заставляютъ мысль оледениться, застыть въ какомъ-нибудь одностороннемъ опредѣленіи, полагая, что въ этомъ омертвѣломъ состояніи легче разобраться. Встарь учились физіологіи въ анатомическомъ театрѣ: оттого наука о жизни такъ далеко отстоитъ отъ науки о трупѣ. Какъ только взятъ одинъ моментъ,—невидимая сила влечетъ въ противоположный; это первое жизненное сотрясеніе мысли; субстанція влечетъ къ проявленію, безконечное въ конечное, они такъ необходимы другъ другу, какъ полюсы магнита. Но недовѣрчивые и осторожные пытатели хотятъ раздѣлить полюсы: безъ полюсовъ магнита нѣтъ; какъ только они вонзаютъ скальпель, требуя *того* или *другого*,—дѣлается разъятіе нераздѣльнаго, и остаются двѣ мертвыя абстракціи, кровь застываетъ, движеніе остановлено. Да пусть бы знали, что то или другое отдѣльно—абстракціи, такъ какъ математикъ, отвлекая линію отъ площади и площадь отъ тѣла, знаетъ, что реально одно тѣло, а линія и площадь—абстракціи. Нѣтъ, эти люди, не понимающіе объективности разума, отрицающіе ее, именно тутъ требуютъ незаконной объективности, дѣйствительности своимъ отвлеченностямъ.

Здѣсь время напомнить третье условіе пониманія науки, о которомъ сказано, *живую душу*. Только живой душой понимаются живыя истины; у нея нѣтъ ни пустого внутри формализма, на который она растягиваетъ истину, какъ на прокрустовомъ ложѣ, ни твердыхъ застылыхъ мыслей, отъ которыхъ отступить не можетъ. Эти застылыя мысли составляютъ массу аксіомъ и теоремъ, которая впередъ идетъ, когда приступаетъ къ философіи; съ ихъ помощью составляются готовыя понятія, опредѣленія, Богъ вѣсть на чемъ основанныя, безъ всякой связи между собою. Начать знаніе надобно съ того, чтобы забыть всѣ эти сбивчивыя, невѣрныя понятія; они вводятъ въ обманъ; извѣстнымъ пола-

гается именно то, что неизвѣстно; надобно смерти и уничтоженію предоставить мертвыхъ, отказаться отъ всѣхъ неподвижныхъ привидѣній. Живая душа имѣетъ симпатію къ живому, какое-то ясновидѣніе облегчаетъ ей путь, она трепещетъ, вступая въ область родную ей, и скоро знакомится съ нею. Конечно, наука не имѣетъ такихъ торжественныхъ пропилей, какъ религія. Путь достиженія къ наукѣ идетъ, повидимому, безплодной степью; это отталкиваетъ нѣкоторыхъ. Потери видны, пріобрѣтеній нѣтъ; поднимаемся въ какую-то изрѣженную среду, въ какой-то міръ безплотныхъ абстракцій, важная торжественность кажется суровою холодностью; съ каждымъ шагомъ уносишься болѣе и болѣе въ это воздушное море; становится *страшно просторно,* тяжело дышать и безотрадно, берега отдаляются, исчезаютъ,—съ ними исчезаютъ всѣ образы, навѣянные мечтами, съ которыми сжилось сердце; ужасъ объемлетъ душу: Lascaite ogni speranza voi che entrate!

Гдѣ бросить якорь? Все разрѣшается, теряетъ твердость, улетучивается. Но вскорѣ раздается громкій голосъ, говорящій подобно Юлію Цезарю: «чего боишься? ты *меня* везешь!» Этотъ Цезарь—безконечный духъ, живущій въ груди человѣка; въ ту минуту, какъ отчаяніе готово вступить въ права свои, онъ встрепенулся; духъ найдется въ этомъ мірѣ: это его родина, та, къ которой онъ стремился и звуками, и статуями, и пѣснопѣніями, по которой страдалъ, это Jenseits, къ которому онъ рвался изъ тѣсной груди; еще шагъ—и міръ начинаетъ возвращаться; но онъ не чужой уже: наука даетъ на него инвеституру. Поблекли мечты, основанныя на раздраженной фантазіи, чрезъ посредство которой духъ прорывался къ знанію; но зато дѣйствительность просвѣтлѣла, взоръ проникаетъ глубоко, и видитъ, что нѣтъ тайны, которую хранили бы сфинксы и грифы, что внутренняя сущность готова раскрыться дерзающему. Но за мечты именно и держатся всего болѣе дилетанты. Они не могутъ найти силъ перенести съ самопожертвованіемъ начала и дойти до той оборотной точки, съ которой боль скептицизма и лишеній замѣняется предчувствіемъ знанія успокоеннаго. Они знаютъ, что боготворимыя мечты, всѣ идеалы ихъ какъ-то не истинны, чувствуютъ неловкость, несвязность, и остаются при этой неловкости, могутъ остаться. Но человѣкъ, поднявшійся до современности съ живой душой, не можетъ удовлетвориться внѣ науки. Глубоко прострадавъ пустоту субъективныхъ убѣжденій, постучавшись во всѣ двери, чтобъ утолить жгучую жажду возбужденнаго духа, и нигдѣ не находя истиннаго отвѣта, измученный скептицизмомъ, обманутый жизнью, онъ идетъ нагой, бѣдный, одинокій и бросается въ науку.

«Неужели онъ страдательно склонится подъ ярмо чужого авторитета?» Наука не требуетъ ничего впередъ, не даетъ никакихъ началъ на вѣру, а какія начала у нея, которыя впередъ можно было бы передать? Ея начала—это конецъ ея, это послѣднее слово, итогъ всего движенія, до нихъ она достигаетъ; самое развитіе ихъ есть неопровержимое доказательство. Если же подъ началомъ разумѣть первую страницу, то въ ней истины науки потому не можетъ быть, что она первая страница, и все развитіе еще впереди. Наука начинается съ какого-нибудь общаго мѣста, а не съ изложенія своего profession de foi. Она не говоритъ:

«допусти то и то, а я дамъ тебѣ истину, спрятанную у меня, ты можешь получить ее рабски повинуясь»; въ отношеніи къ лицу, она только направляетъ внутренній процессъ развитія, прививаетъ индивидуальности совершенное родомъ, пріобщаетъ ее къ современности; она сама есть процессъ углубленія въ себя природы, и развитіе полнаго сознанія космоса о себѣ; ею вселенная *приходитъ въ себя* послѣ бореній матеріальнаго бытія, жизни, погруженной въ непосредственность. Его фантастическое упоеніе *образнаго* видѣнія становится, по выраженію Аристотеля, *трезвымъ знаніемъ*. Но для того, чтобъ достигнуть дѣйствительно до трезвости, надобенъ былъ трудъ 3.000 лѣтъ. Сколько прожилъ скорбнаго, страдалъ, унывалъ, лилъ слезъ и крови духъ человѣчества, пока отрѣшилъ мышленіе отъ всего временнаго и односторонняго, и началъ понимать себя сознательной сущностью міра! Величественную и огромную эпопею исторіи надобно было прожить человѣчеству, чтобъ великій поэтъ, опередившій свою эпоху и предузнавшій нашу, могъ спросить:

Menschen im Herzen?
Ist nicht der Kern der Natur

О какомъ чужомъ авторитетѣ говорятъ дилетанты, гдѣ возможность его въ наукѣ? Дѣло въ томъ, что они науку принимаютъ не за послѣдовательное развитіе разума и самопознанія, а за разные опыты, выдуманные разными особами въ разныя времена, безъ связи и отношенія между собою. Они не могутъ понять, что истина не зависитъ отъ личности трудящихся, что они только органы развивающейся истины; они не могутъ никакъ постигнуть ея высокое объективное достоинство; имъ все кажется, что это субъективные помыслы и капризы. Наука имѣетъ свою автономію и свой генезисъ; свободная, она не зависитъ отъ авторитетовъ; освобождающая, она не подчиняетъ авторитетамъ. Но въ самомъ дѣлѣ, она имѣетъ право требовать впередъ настолько довѣрія и уваженія, чтобъ къ ней не приступили съ заготовленными скептическими и мистическими возраженіями, потому что и они—добровольныя принятія на вѣру. Гдѣ? по какому праву? на чемъ основываясь, заготовляютъ возраженія на науку внѣ ея? Откуда эта твердая масса, отталкивающая свѣтъ? Въ душѣ, чистой отъ предразсудковъ, наука можетъ опереться на свидѣтельство духа о своемъ достоинствѣ, о своей возможности развить въ себѣ истину; отъ этого зависитъ смѣлость знать, святая дерзость сорвать завѣсу съ Изиды и вперить горящій взоръ на обнаженную истину, хотя бы то стоило жизни, лучшихъ упованій.

Но какая эта истина, которую намъ обѣщаютъ за покрываломъ?.. Въ самомъ дѣлѣ *какая?* Тѣ, которые желали ее пламенно, скорбѣли и лили слезы по ней, тайкомъ заглянули, и были поражены,—кто страхомъ, кто негодованіемъ. Бѣдная истина! Хорошо, что древніе ваяли покрывало изъ мрамора: его нельзя было поднять; глаза людей недостаточно окрѣпли, чтобъ вынести ея черты. Или *не той* истины хотѣли они? А сколько же истинъ? Люди добрые, разсудочные знаютъ *много,* очень много истинъ,—но *одна* истина имъ недоступна; какой-то оптическій обманъ представляетъ имъ истину въ уродливомъ видѣ и притомъ

каждому на свой ладъ. Если собрать обвиненія, безрерывно слышимыя, когда рѣчь идетъ о наукѣ, т. е. о истинѣ, раскрывающейся въ правильномъ организмѣ, то можно, употребляя извѣстное средство астрономіи для полученія истиннаго мѣста свѣтила, наблюдаемаго съ разныхъ точекъ, т. е. вычитывая противоположные углы (теорія пареллаксовъ), вывести справедливое заключеніе. Одни говорятъ — атеизмъ, другіе — пантеизмъ; одни говорятъ — трудность, ужасная трудность, другіе—пустота, просто ничего нѣтъ. Матеріалисты улыбаются надъ мечтательнымъ идеализмомъ науки; идеалисты находятъ въ анализѣ науки хитро-скрытый матеріализмъ. Піэтисты убѣждены, что современная наука безрелигіознѣе Эразма, Вольтера и Гольбаха съ компаніей, и считаютъ ее вреднѣе вольтеріанизма. Люди нерелигіозные упрекаютъ науку въ ортодоксіи. И главное, всѣ недовольны, —требуютъ опять завѣсы. Кого поразилъ свѣтъ, кого простота, кому стыдно стало наготы истины, кому черты ея не понравились, потому что въ нихъ много земного. Всѣ обманулись,—а обманулись отъ того, что хотѣли не истины.

Но дѣло сдѣлано. Событіе вспять не пойдетъ; однажды начавъ разоблачаться и показавъ намъ торсъ поразительной прелести, истина не надѣнетъ снова покрывала изъ ложнаго стыда; она знаетъ силу, славу и красоту наготы своей.

Изъ статьи 3-й.

(„Дилетанты и цехъ ученыхъ“).

I.

Каста ученыхъ (die Fachgelehrten), ученыхъ по званію, по диплому, по чувству собственнаго достоинства составляетъ совершенную противоположность дилетантовъ. Главнѣйшій недостатокъ этой касты состоитъ въ томъ, что она каста; второй недостатокъ—спеціализмъ, въ которомъ обыкновенно затеряны ученые. Чтобы разомъ выразить отношеніе касты ученыхъ къ наукѣ, вспомнимъ, что она развивалась болѣе, нежели гдѣ-нибудь, въ Китаѣ. Китай считается многими очень благоденствующимъ патріархальнымъ царствомъ, это можетъ быть; ученыхъ тамъ бездна. Преимущества ученыхъ въ службѣ у нихъ споконъ вѣка, но науки слѣда нѣтъ... «Да у нихъ своя наука!» И противъ этого не будемъ спорить; но мы говоримъ о наукѣ, человѣчеству принадлежащей, а не Китаю, не Японіи и другимъ ученымъ государствамъ. У насъ мальчишекъ отдаютъ въ *науку* къ кузнецамъ, столярамъ: думать надобно, что и у нихъ есть *своя* наука. Впрочемъ, и для *истинной науки* былъ возрастъ, въ которомъ каста ученыхъ какъ *каста*, была необходима,—въ періодъ неразвитости, когда наука была отринута, ея права непризнаны, она сама подчинена авторитетамъ. Но это время прошло. Такъ, у касты ученыхъ, у людей знанія въ среднихъ вѣкахъ, даже до XVII столѣтія, окруженныхъ грубыми и дикими понятіями, хранилось и святое наслѣдіе древняго міра, и воспоминаніе прошедшихъ дѣяній, и мысль эпохи; они въ тиши работали, боясь гоненій, преслѣдованій,—и слава послѣ озарила скрытый

трудъ ихъ. Ученые хранили тогда науку, какъ тайну, и говорили объ ней языкомъ, недоступномъ толпѣ, намѣренно скрывая свою мысль, боясь грубаго непониманія. Тогда было доблестно принадлежать къ левитамъ науки; тогда званіе ученаго чаще вело на костеръ, нежели въ академію. И они шли, вдохновенные истиной. Джордано Бруно былъ ученый и Галилей былъ ученый. Тогда ученые, какъ сословіе, были своевременны; тогда въ аудиторіяхъ обсуживались величайшіе вопросы того вѣка; кругъ занятій ихъ былъ пространенъ, и ученые озарялись первые восходящими лучами разума, какъ нагорные дубы—гордые и мощные. Съ тѣхъ поръ все перемѣнилось; науки никто не гонитъ, общественное сознаніе доросло до уваженія къ наукѣ, до желанія ея и справедливо стало протестовать противъ монополіи ученыхъ; но ревнивая каста хочетъ удержать свѣтъ за собою, окружаетъ науку лѣсомъ схоластики, варварской терминологіи, тяжелымъ и отталкивающимъ языкомъ. Такъ огородники сажаютъ около грядъ своихъ колючее растеніе, чтобы дерзкій, намѣревающейся перелѣзть, сперва десять разъ укололся и изорвалъ платье въ клочки. Все тщетно! Время аристократіи знанія миновало. Изобрѣтеніе книгопечатанія, безъ всѣхъ остальныхъ содѣйствовавшихъ причинъ, должно было нанести рѣшительный ударъ спрятанности вѣдѣнія, пріобщая къ нему всѣхъ желающихъ. Наконецъ, послѣдняя возможность удержать науку въ цехѣ была основана на разрабатываніи чисто теоретическихъ сторонъ, не вездѣ недоступныхъ профанамъ. Но современная наука, сверхъ теоретическихъ отвлеченностей, имѣетъ иныя притязанія; она, будто забывая свое достоинство, хочетъ съ своего трона сойти въ жизнь. Ученымъ ея не удержать; это не подвержено сомнѣнію.

II.

Наука—открытый столъ для всѣхъ и каждаго, лишь бы былъ голодъ, лишь бы потребность манны небесной развилась. Стремленіе къ истинѣ, къ знанію не исключаетъ никакимъ образомъ частнаго употребленія жизни; можно равно быть при этомъ химикомъ, медикомъ, артистомъ, купцомъ. Никакъ не можно думать, чтобъ спеціально-ученый имѣлъ бо́льшія права на истину; онъ имѣетъ только бо́льшія притязанія на нее. Отчего человѣку, проводящему жизнь въ монотонномъ и одностороннемъ занятіи какимъ-нибудь исключительнымъ предметомъ, имѣть болѣе ясный взглядъ, болѣе глубокую мысль, нежели другому, искусившемуся самыми событіями, встрѣтившемуся въ тысячѣ разныхъ столкновеній съ людьми? Напротивъ, цеховой ученый внѣ своего предмета за что ни примется, примется лѣвой рукой. Онъ ненуженъ во всякомъ живомъ вопросѣ. Онъ всѣхъ менѣе подозрѣваетъ великую важность науки: онъ ея не знаетъ изъ-за своего частнаго предмета, онъ свой предметъ считаетъ наукой. Ученые въ крайнемъ развитіи своемъ заняли въ обществѣ мѣсто второго желудка животныхъ, жующихъ жвачку; въ него никогда не попадаетъ свѣжая пища,—одна пережеванная, такая, которую жуютъ изъ удовольствія жевать. Массы дѣйствуютъ, проливаютъ кровь и потъ, а ученые являются послѣ разсуждать о происшествіи.

Поэты, художники творятъ, массы восхищаются ихъ твореніями,—ученые пишутъ комментаріи, грамматическіе и всяческіе разборы. Все это имѣетъ свою пользу, но несправедливость въ томъ, что они себя считаютъ по праву головою выше насъ, жрецами Паллады, ея любовниками, хуже—мужьями ея. Съ другой стороны, было бы еще страннѣе, если-бы мы сказали, что ученые не могутъ знать истины, что они внѣ ея. Духъ, стремящій человѣка къ истинѣ, не исключаетъ никого. Не всѣ ученые принадлежатъ къ *цеховымъ* ученымъ; многіе *истинно-ученые* дѣлаются, подавляя въ себѣ школьность, *образованными* людьми [1]), выходятъ изъ цеха въ человѣчество. *Безнадежные* цеховые —это рѣшительные и отчаянные спеціалисты и схоластики, тѣ, на которыхъ намекалъ Жанъ-Поль, говоря: «скоро поваренное искусство разовьется до того, что жарящій форели не будетъ умѣть жарить карпа». Вотъ эти-то повара карповъ и форелей составляютъ массу ученой касты, въ которой творятся всякаго рода лексиконы, таблицы, наблюденія и все то, что требуетъ долготерпѣнія и душу мертву. Ихъ въ людей развить трудно; они крайность односторонняго направленія учености; мало того, что они умрутъ въ своей односторонности,—они бревнами лежатъ на дорогѣ всякаго великаго усовершенія, не потому, чтобъ не хотѣли улучшенія науки, а потому, что они только то усовершеніе признаютъ, которое вытекло съ соблюденіемъ ихъ ритуала и формы, или которое они сами обработали. У нихъ метода одна—анатомическая: для того, чтобъ понять организмъ, они дѣлаютъ аутопсію. Кто убилъ ученіе Лейбница и далъ ему труповый видъ школьности, какъ не ученые прозекторы? Кто изъ живого, всеобъемлющаго ученія Гегеля стремился сдѣлать схоластическій, безжизненный, страшный скелетъ?—Берлинскіе профессора.

Греція, умѣвшая развить индивидуальности до какой-то художественной оконченности и высоко-человѣческой полноты, мало знала въ цвѣтущія времена свои ученыхъ въ нашемъ смыслѣ: ея мыслители, ея историки, ея поэты были прежде всего граждане, люди жизни общественнаго совѣта, площади, военнаго стана: оттого это гармонически уравновѣшанное, прекрасное своимъ аккордомъ, многостороннее развитіе великихъ личностей, ихъ науки и искусства—Сократа, Платона, Эсхила, Ксенофонта и другихъ. А наши ученые? Сколько профессоровъ въ Германіи спокойно читали свой схоластическій бредъ во время наполеоновской драмы и спокойно справлялись на картѣ, гдѣ Ауерштетъ, Ваграмъ, съ тѣмъ любознательнымъ бездушіемъ, съ которымъ на другой картѣ отмѣчали они путь Одиссея, читая Гомера! Одинъ Фихте, вдохновенный и глубокій, громко сказалъ, что отечество въ опасности, и бросилъ на время книгу. А Гете... прочтите его переписку того времени! Конечно, Гете недосягаемо выше школьной односторонности: мы доселѣ стоимъ передъ его грозной и величественной тѣнью съ глубокимъ удивленіемъ, съ тѣмъ удивленіемъ, съ которымъ останавливаемся передъ Ауксор-

---

[1]) Разумѣется, слово *образованный* принято въ истинномъ смыслѣ его, а не въ томъ, въ которомъ его употребляетъ, напримѣръ, жена городничаго въ „Ревизорѣ“.

скимъ обелискомъ—великимъ памятникомъ какой-то иной эпохи, великой, но прошлой, не нашей! Ученый [1]) до такой степени разобщился съ современностью, до такой степени завялъ, вымеръ съ трехъ сторонъ, что надобно почти нечеловѣческія усилія, чтобъ ему войти живымъ звеномъ въ живую цѣпь. Образованный человѣкъ не считаетъ ничего человѣческаго чуждымъ себѣ: онъ сочувствуетъ всему окружающему; для ученаго—наоборотъ: ему все человѣческое чуждо, кромѣ избраннаго имъ предмета, какъ бы этотъ предметъ самъ въ себѣ ни былъ ограниченъ. Образованный человѣкъ мыслитъ по свободному побужденію, по благородству человѣческой природы, и мысль его открыта, свободна; ученый мыслитъ по обязанности, по возложенному на себя обѣту, и оттого въ его мысли есть что-то ремесленническое, и она всегда подъ-авторитетна. Ученый имѣетъ часть, и въ ней онъ долженъ быть уменъ; образованный человѣкъ не имѣетъ права быть глупымъ ни въ чемъ. Образованный человѣкъ можетъ знать и не знать по латыни, ученый долженъ знать по-латыни... Не смѣйтесь надъ этимъ замѣчаніемъ: я и здѣсь вижу слѣдъ окостенѣлаго духа касты. Есть великія творенія, имѣющія всемірное значеніе,—вѣчныя пѣсни, завѣщеваемыя изъ вѣка въ вѣкъ; нѣтъ сколько-нибудь образованнаго человѣка, который бы не зналъ ихъ, не читалъ ихъ, не прожилъ ихъ; цеховой ученый навѣрное не читалъ ихъ, если онѣ не относятся прямо къ его предмету. На что химику «Гамлетъ?» На что физику «Донъ-Жуанъ?» Есть еще болѣе странное явленіе, особенно часто встрѣчающееся между германскими учеными: нѣкоторые изъ нихъ все читали и все читаютъ,—но понимаютъ только по одной своей части; во всѣхъ же другихъ они изумляютъ сочетаніемъ огромныхъ свѣдѣній со всесовершеннѣйшей тупостью, напоминающею иногда наивность ребяческаго возраста: «они прослушали всѣ звуки, но гармоніи не слыхали», какъ сказалъ Гегель. Степень цеховой учености опредѣляется рѣшительно памятью и трудолюбіемъ: кто помнитъ наибольшій запасъ вовсе ненужныхъ свѣдѣній объ одномъ предметѣ, у кого въ груди не бьется сердце, не кипятъ страсти, требующія не книжнаго удовлетворенія, а подѣйствительнѣе; кто имѣлъ терпѣніе лѣтъ двадцать твердить частности и случайности, относящіяся къ одному предмету,—тотъ и ученѣе. Безъ сомнѣнія, господинъ, котораго привозили къ князю Потемкину и который зналъ на память мѣсяцесловъ, былъ ученый—и еще болѣе: самъ изобрѣлъ *свою* науку. Ученые трудятся, пишутъ только для ученыхъ; для общества, для массъ пишутъ образованные люди; большая часть писателей, произведшихъ огромное вліяніе, потрясавшихъ, двигавшихъ массы, не принадлежитъ къ ученымъ: Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Руссо. Если же изъ среды ученыхъ какой-нибудь гигантъ пробьется и вырвется въ жизнь, они отрекаются отъ него, какъ отъ блуднаго сына, какъ отъ ренегата. Копернику не могли простить геніальность, надъ Колум-

---

[1]) Считаю необходимымъ еще разъ сказать, что дѣло идетъ единственно и исключительно *о цеховыхъ ученыхъ* и что все сказанное только справедливо въ антитетическомъ смыслѣ; истинный ученый всегда будетъ просто человѣкъ,—ичеловѣчество всегда съ уваженіемъ поклонится ему.

бомъ смѣялись, Гегеля обвиняли въ невѣжествѣ. Ученые пишутъ съ ужаснымъ трудомъ; одинъ трудъ только тягостнѣе и есть: это чтеніе ихъ doctes écrits [1]). Впрочемъ, такого труда никто и не предпринимаетъ: ученыя общества, академіи, библіотеки покупаютъ ихъ фоліанты; иногда нуждающіеся въ нихъ справляются,—но никогда никто не читаетъ ихъ отъ доски до доски. Собраніе ученыхъ какой-нибудь академіи было-бы похоже на нашу роговую музыку, гдѣ каждый музыкантъ всю жизнь дудитъ одну и ту же ноту, если-бъ у нихъ былъ капельмейстеръ и ensemble (а въ ensemble и состоитъ наука). Они похожи на роговыхъ музыкантовъ, спорящихъ между собою каждый о превосходствѣ своей ноты и дудящій, для доказательства, во всю силу легкихъ. Имъ въ голову не приходитъ, что музыка будетъ только тогда, когда всѣ звуки поглотятся, уничтожатся въ одной ихъ объемлющей гармоніи.

Различіе ученыхъ съ дилетантами весьма ярко. Дилетанты любятъ науку, но не занимаются ею; они разсѣиваются по лазури, носящейся надъ наукой, которая точно такъ же ничего, какъ лазурь земной атмосферы. Для ученыхъ наука—бархина, на которой они призваны обработать указанную полосу; занимаясь кочками, мелочами, они рѣшительно не имѣютъ досуга бросить взглядъ на все поле. Дилетанты смотрятъ въ телескопъ; оттого видятъ только тѣ предметы, которые по меньшей мѣрѣ далеки, какъ луна отъ земли,—а земного и близкаго ничего не видятъ. Ученые смотрятъ въ микроскопъ, и потому не могутъ видѣть ничего большаго; для того, чтобъ быть ими замѣченнымъ, надобно быть незамѣтнымъ глазу человѣческому; для нихъ существуетъ не кристальный ручей, а капля, наполненная гомеопатическими гадами. Дилетанты любуются наукой такъ, какъ мы любуемся Сатурномъ, на благородной дистанціи, и ограничиваясь знаніемъ, что онъ свѣтится и что на немъ обручъ. Ученые такъ близко подошли къ храму науки, что не видятъ храма и ничего не видятъ, кромѣ кирпича, къ которому пришелся ихъ носъ. Дилетанты—туристы въ областяхъ науки и, какъ вообще туристы, знаютъ о странахъ, въ которыхъ они были, общія замѣчанія, да всякій вздоръ, газетную клевету, свѣтскія сплетни, придворныя интриги. Ученые—фабричные работники и, какъ вообще работники, лишены умственной развязности, что не мѣшаетъ имъ быть отличными мастерами своего дѣла, внѣ котораго они никуда негодны. Каждый дилетантъ занимается всѣмъ sciblle, да еще, сверхъ того, тѣмъ, чего знать нельзя, т. е. мистицизмомъ, магнетизмомъ, физіогномикой, гомеопатіей, гидропатіей и пр. Ученый, наоборотъ, посвящаетъ себя одной главѣ отдѣльной вѣтви какой-нибудь спеціальной науки и, кромѣ нея, ничего не знаетъ и знать не хочетъ. Такія занятія имѣютъ иногда свою пользу, доставляя фактъ для истинной науки. Отъ дилетантовъ, само собою, разумѣется, никому и ничему нѣтъ пользы.

---

[1]) Гегель, говоря гдѣ-то объ гигантскомъ трудѣ читать какую-то ученую нѣмецкую книгу, присовокупилъ, что ее вѣрно было легче писать.

Изъ статьи 4-й.

(„Буддизмъ въ наукѣ“).

Исторія человѣчества—продолженіе исторіи природы; многообразіе, разнородность, встрѣчаемыя въ исторіи, поразительны: область стала шире, вопросъ выше, средства богаче, задняя мысль яснѣе,—какъ же не усложниться путямъ? Развитіе съ каждымъ шагомъ становится глубже и съ тѣмъ вмѣстѣ сложнѣе; всего проще камень, спокойно отдыхающій на начальныхъ ступеняхъ. Гдѣ начинается сознаніе, тамъ начинается нравственная свобода; каждая личность одѣйстворяетъ *по-своему* призваніе, оставляя печать своей индивидуальности на событіяхъ. Народы—эти колоссальныя дѣйствующія лица всемірной драмы—исполняютъ дѣло всего человѣчества, какъ *свое дѣло*, придавая тѣмъ художническую оконченность и жизненную полноту дѣяніямъ. Народы представляли бы нѣчто жалкое, если-бъ они свою жизнь считали только одной ступенью неизвѣстному будущему; они были-бы похожи на носильщиковъ, которымъ одна тяжесть ноши и трудъ пути, а руно несомое другимъ. Природа не поступаетъ такъ со своими безсознательными дѣтьми, какъ мы замѣтили; тѣмъ болѣе въ мірѣ сознанія не можетъ быть ступени, которая не имѣла бы собственнаго удовлетворенія. Но духъ человѣчества, нося въ глубинѣ своей непреложную цѣль, вѣчное домогательство полнаго развитія, не могъ успокоиться ни въ одной изъ былыхъ формъ; въ этомъ тайна его трансценденціи, его перехватывающей личности (übergreifende Subjectivität). Не забудемъ однако, что каждая изъ былыхъ формъ имѣла содержаніемъ его, и не было духу иной формы, какъ той, за грани которой онъ перешелъ, только потому, что онъ доросъ до нея, былъ ею и переросъ ее. Исторія дѣянія духа, такъ сказать, личность его, ибо «онъ есть то, что дѣлаетъ» [1])—стремленіе безусловнаго примиренія, осуществленіе всего, что есть за душою, освобожденіе отъ естественныхъ искусственныхъ путъ. Каждый шагъ въ исторіи, поглощая и осуществляя *весь* духъ своего времени, имѣетъ свою полноту, однимъ словомъ, личность, кипящую жизнью.

Народы, ощущая призваніе выступить на всемірно-историческое поприще, услышавъ гласъ, возвѣщавшій, что часъ ихъ насталъ, проникались огнемъ вдохновенія, оживали двойною жизнью, являли силы, которыя никто не смѣлъ бы предполагать въ нихъ и которыхъ они сами не подозрѣвали; степи и лѣса обстраивались весями, науки и художества расцвѣтали, гигантскіе труды совершались для того, чтобы приготовить караванъ-сарай грядущей идеѣ, а она—величественный потокъ—текла далѣе и далѣе, захватывая болѣе и болѣе пространства. Но эти караванъ-сараи—не внѣшнія гостинницы идеи, а ея плоть, безъ которой она не могла-бы осуществиться,—чрево матери, принявшее прошедшее для будущаго, но и живое своею жизнью; каждая фаза историческаго развитія имѣла сама въ себѣ цѣль и, слѣдственно, награду и удовлетвореніе. Для греческаго міра его призваніе было безусловно; за предѣлами своего міра онъ ничего не видалъ и не

---

[1]) Гегель: „Философія права“.

могъ видѣть, ибо тогда *не было* еще будущаго. Будущее—возможность, а не дѣйствительность: его собственно нѣтъ. Идеалъ для великой эпохи—она сама, очищенная отъ случайности, преображенное созерцаніе настоящаго. Разумѣется, чѣмъ всеобъемлемѣе и полнѣе настоящее, тѣмъ всемірнѣе и истиннѣе его идеалъ. Такова наша эпоха. Народы, глядя на совершеніе судебъ человѣчества, не знали аккорда, связывавшаго ихъ звуки въ единую симфонію; Августинъ на развалинахъ древняго міра возвѣстилъ высокую мысль о веси Господней, къ построенію которой идетъ человѣчество, и указалъ вдали торжественную субботу успокоенія. Это было поэтико-религіозное начало философіи исторіи; оно, очевидно, лежало въ христіанствѣ, но долго не понимали его; не болѣе, какъ вѣкъ тому назадъ, человѣчество подумало и въ самомъ дѣлѣ стало спрашивать отчета въ своей жизни, провидя, что оно не даромъ идетъ и что біографія его имѣетъ глубокій и единый всесвязывающій смыслъ. Этимъ совершеннолѣтнимъ вопросомъ оно указало, что воспитаніе оканчивается. Наука взялась отвѣчать на него; едва она высказала отвѣтъ, явилась у людей потребность выхода изъ науки,—второй признакъ совершеннолѣтія. Но для того, чтобъ своими руками растворить двери, наука должна совершить во всей полнотѣ свое призваніе; пока хоть одна твердая точка останется непокоренною самопознаніемъ,—внѣшнее будетъ противодѣйствовать. Число неподвижныхъ звѣздъ становится менѣе и менѣе, но онѣ еще есть. Воспитаніе предполагаетъ внѣ-сущую, готовую истину; съ того мгновенія, какъ человѣкъ пойметъ истину, она будетъ у него въ груди, и тогда дѣло воспитанія исчерпано,—дѣло сознательнаго дѣянія начнется. Изъ вратъ храма науки человѣчество выйдетъ съ гордымъ и поднятымъ челомъ, вдохновенное сознаніемъ: omnia sua secum portans—на творческое созданіе веси Божіей. Примиреніе науки вѣдѣніемъ сняло противорѣчія. Примиреніе въ жизни сниметъ ихъ блаженствомъ. Примиреніе въ жизни есть плодъ другого древа эдемскаго, его надобно было заслужить Адаму въ кровавомъ потѣ, въ тяжкихъ трудахъ,—и онъ заслужилъ его.

Но *какъ* будетъ это? *Какъ* именно принадлежитъ будущему. Мы можемъ предузнавать будущее, потому что мы—посылки, на которыхъ оснуется его силлогизмъ, но только общимъ, отвлеченнымъ образомъ. Когда настанетъ время, молнія событій раздеретъ тучи, сожжетъ препятствія и будущее, какъ Паллада родится въ полномъ вооруженіи. Но вѣра въ будущее—наше благороднѣйшее право, наше неотъемлемое благо; вѣруя въ него, мы полны любви къ настоящему.

И эта вѣра въ будущее спасетъ насъ въ тяжкія минуты отъ отчаянія; и эта любовь къ настоящему будетъ жива благими дѣяніями.

Изъ повѣсти «Докторъ Круповъ».

Полубеллетристическое, полупублицистическое произведеніе Герцена „Докторъ Круповъ“ написано въ 1846 году и было съ пропусками за подписью Искандера напечатано въ „Современникѣ“ за 1847 годъ. (Изъ сочиненія доктора Крупова: „О душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности“). Отмѣчая это произведеніе въ своемъ

обзорѣ русской литературы 1847 года, Бѣлинскій писалъ: „По мысли и по выполненію это рѣшительно лучшее произведеніе прошлаго года, хотя оно и не произвело на публику особеннаго впечатлѣнія“. А вѣдь въ числѣ новинокъ того года, отмѣченныхъ Бѣлинскимъ, были „Записки охотника“ Тургенева и „Обыкновенная исторія“ Гончарова. Въ „Докторѣ Круповѣ“ сказалось и беллетристическое и публицистическое дарованіе Герцена. Здѣсь—замѣчательный образъ крестьянскаго мальчика (Левка), здѣсь—въ разсужденіяхъ доктора Крупова во всемъ блескѣ, отмѣченная Бѣлинскимъ, иронія Герцена, „иронія, возвышающаяся до сарказма“. Нѣкоторые считаютъ „Доктора Крупова“ лучшимъ изъ всего, написаннаго Герценомъ въ Россіи. Самъ Герценъ любилъ это произведеніе и спустя двадцать лѣтъ написалъ продолженіе къ нему—„Aphorismata—по поводу психіатрической теоріи доктора Крупова“. Мы даемъ здѣсь два публицистическихъ отрывка.

I.

По окончаніи курса меня отправили лекаремъ въ одинъ пѣхотный полкъ. Я не нахожу нужнымъ въ предварительной части говорить о наблюденіяхъ, сдѣланныхъ мною на семъ спеціальномъ поприщѣ. Перехожу къ болѣе разнообразному поприщу. Черезъ нѣсколько лѣтъ, по распоряженію высшаго начальства, которому, пользуясь симъ случаемъ, свидѣтельствую искреннѣйшую благодарность за начальственное вниманіе, получилъ я мѣсто по гражданскому вѣдомству; тутъ съ большимъ досугомъ предался я сравнительной психіатріи. Для занятій и наблюденій я избралъ на первый случай два заведенія—домъ умалишенныхъ и канцелярію врачебной управы.

Добросовѣстно изучая субъекты въ обоихъ заведеніяхъ, я былъ пораженъ сходствомъ чиновниковъ канцеляріи съ больными; разумѣется, наружныя различія тоже бросались въ глаза, но врачъ долженъ идти далѣе, по наружности долгое время кита считали рыбою. Самое важное различіе между писарями и больными состояло въ образѣ поступленія въ заведеніе; первые просились объ опредѣленіи, а вторые были опредѣляемы высшимъ начальствомъ, вслѣдствіе публичнаго испытанія въ губернскомъ правленіи. Но однажды помѣщенные въ канцелярію писаря тотчасъ подвергались психической эпидеміи, весьма быстро заражавшей все нормально-человѣческое и еще быстрѣе развивавшей искаженныя потребности, желанія, стремленія; цѣлые дни работали эти труженики съ усердіемъ; болѣе нежели съ усердіемъ—съ завистью; штаты тогда были еще невѣроятные, едва эти бѣдняки въ будни до сыта наѣдались и въ праздники до пьяна напивались, а ни одинъ не хотѣлъ заняться какимъ-нибудь ремесломъ, считая всякую честную работу несовмѣстною съ человѣческимъ достоинствомъ, дозволяющимъ только брать двугривенные за справки. Признаюсь, когда я вполнѣ убѣдился, что чиновничество (я, разумѣется, далѣе XII класса восходить не смѣю) есть особое специфическое пораженіе мозга, мнѣ опротивѣли всѣ эти журнальныя побасенки, наполненныя насмѣшками надъ чиновниками. Смѣяться надъ больными показываетъ жестокость сердца.

Вліяніе эпидеміи до того сильно, что мнѣ случалось наблюдать ея дѣйствіе на организаціи болѣе крѣпкія и здоровыя, и тутъ-то я увидѣлъ всю силу ея. Какое-то безпокойное чувство, похожее на угрызеніе совѣсти, овладѣвало вновь поступавшими здравыми субъектами; имъ становилось замѣтно тягостно быть здоровыми, они такъ страдали тоскою по безумію, что излечивались отъ умственныхъ способностей разными спиртными напитками, и я замѣтилъ, что при надлежащемъ и постоянномъ употребленіи ихъ они дѣйствительно успѣвали себя поддерживать въ искусственномъ состояніи безумія, которое мало-по-малу становилось естественнымъ.

Отъ чиновниковъ я перешелъ къ прочимъ жителямъ и въ скоромъ времени не осталось ни малѣйшаго сомнѣнія, что всѣ они поврежденные. Предоставляю тѣмъ, которые долго трудились надъ какимъ-нибудь открытіемъ, оцѣнить то чувство радости, которымъ исполнилось сердце мое, когда я убѣдился въ этомъ драгоцѣнномъ фактѣ.

Городокъ нашъ вообще оригиналенъ: это—губернское правленіе, обросшее разными домами и жителями, собравшимися около присутственныхъ мѣстъ; онъ тѣмъ отличается отъ другихъ городовъ, что онъ возникъ собственно для удовольствія и пользы начальства. Начальство составило сущность, цвѣтъ, корень и плодъ города. Остальные жители—какъ купцы, мѣщане—больше находились для порядка, ибо нельзя же быть городу безъ купцовъ и мѣщанъ. Всѣ получали смыслъ только въ отношеніи къ начальству (и къ откупу, впрочемъ); мастеровые, напр., портные, сапожники, шили для чиновниковъ фраки и сапоги; содержатель трактира имѣлъ для нихъ бильярдъ. Прочіе неслужащіе въ городѣ занимались исключительно произведеніемъ тѣхъ средствъ, на которыя чиновники заказывали фраки, сапоги и увеселялись на бильярдѣ.

Въ нашемъ городкѣ считалось 5.000 жителей; изъ нихъ человѣкъ двѣсти повергнуты въ томительнѣйшую скуку отъ отсутствія всякаго занятія, а четыре тысячи семьсотъ человѣкъ повергнуты въ томительнѣйшую дѣятельность отъ отсутствія всякаго отдыха. Тѣ, которые денно и нощно работали, не вырабатывали ничего, а тѣ, которые ничего не дѣлали, безпрерывно вырабатывали и очень много.

II.

Успокоившись насчетъ жителей нашего города, я пошелъ далѣе. Выписалъ себѣ знаменитѣйшія путешествія, древнія и новыя, историческія творенія и подписался на аугсбургскую Всеобщую Газету.

Слезы умиленія не разъ наполняли глаза мои при чтеніи. Я не говорю уже объ аугсбургской газетѣ, на нее я съ самаго начала смотрѣлъ не какъ на суетной дневникъ всякой всячины, а какъ на всеобщій бюллетень разныхъ богоугодныхъ заведеній для несчастныхъ, страждущихъ душевными болѣзнями. Нѣтъ! что-бы историческое я ни начиналъ читать, вездѣ, во всѣ времена открывалъ я разныя безумія, которыя соединялись въ одно всемірное хроническое сумасшествіе. Тита Ливія я бралъ или Муратори, Тацита или Гиббона, никакой

разницы; всѣ они, равно какъ и нашъ отечественный историкъ Карамзинъ, всѣ доказываютъ одно, что исторія не что иное, какъ связный разсказъ родового, хроническаго безумія и его медленнаго излеченія (этотъ разсказъ даетъ по наведенію полное право надѣяться, что черезъ тысячу лѣтъ двумя-тремя безуміями будетъ меньше). Истинно, не считаю нужнымъ приводить примѣры: ихъ милліоны. Разверните, какую хотите, исторію, вездѣ васъ поразитъ, что вмѣсто дѣйствительныхъ интересовъ, всѣмъ заправляютъ мнимые, фантастическіе интересы; вглядитесь, изъ-за чего льется кровь, изъ-за чего несутъ крайность, что восхваляютъ, что порицаютъ,—и вы ясно убѣдитесь въ печальной на первый взглядъ истинѣ, и истинѣ, полной утѣшенія на второй взглядъ, что все это слѣдствіе разстройства умственныхъ способностей. Куда ни взглянешь въ древнемъ мірѣ, вездѣ безуміе почти такое же очевидное, какъ въ новомъ. Тутъ Курцій бросается въ яму для спасенія города, тамъ отецъ приноситъ дочь на жертву, чтобы былъ попутный вѣтеръ, и нашелъ стараго дурака, который прирѣзалъ бѣдную дѣвушку, и этого бѣшенаго не посадили на цѣпь, не свезли въ желтый домъ, а признали за первосвященника. Здѣсь персидскій царь гоняетъ море сквозь строй, такъ же мало понимая нелѣпость поступка, какъ его враги аѳиняне, которые цикутой хотѣли лѣчить отъ разума и сознанія. А что это за бѣлая горячка была, вслѣдствіе которой императоры гнали христіанство? Развѣ трудно было разсудить, что эти средства палачества, тюремъ, крови, истязаній, ничего не могли сдѣлать противъ сильныхъ убѣжденій, а удовлетворяли только животной свирѣпости гонителей?

Какъ только христіанъ домучили, дотравили звѣрями, они сами принялись мучить и гнать другъ друга съ еще большимъ озлобленіемъ, нежели ихъ гнали. Столько невинныхъ нѣмцевъ и французовъ погибло, такъ, изъ вздору, и помѣшанные судьи ихъ думали, что они исполняли свой долгъ и спокойно спали въ нѣсколькихъ шагахъ отъ того мѣста, гдѣ дожаривались еретики.

Кто не видитъ ясныхъ признаковъ безумія въ среднихъ вѣкахъ, тотъ вовсе незнакомъ съ психіатріей. Въ среднихъ вѣкахъ все безумно. Если и выходитъ что-нибудь путное, то совершенно противуположное желанію. Ни одного здороваго понятія не осталось въ средневѣковыхъ головахъ, все перепуталось. Проповѣдывали любовь и жили въ ненависти, проповѣдывали миръ и лили рѣками кровь. Къ тому же цѣлыя сословія подверглись эпидемической дури,—каждое на свой ладъ; напримѣръ, одного человѣка въ латахъ считали сильнѣе тысячи человѣкъ, вооруженныхъ дубьемъ, а рыцари сошли съума на томъ, что они дикіе звѣри, и сами себя содержали по селлюлярному порядку новыхъ тюремъ въ укрѣпленныхъ сумасшедшихъ домахъ по скаламъ, лѣсамъ и пр.

Исторія доселѣ остается непонятною отъ ошибочной точки зрѣнія. Историки, будучи большею частью не врачами, не знаютъ, на что обращать вниманіе; они стремятся вездѣ выставить послѣ придуманную разумность и необходимость всѣхъ народовъ и событій; совсѣмъ напротивъ, надобно на исторію взглянуть съ точки зрѣнія патологіи, надобно взглянуть на историческія лица съ точки зрѣнія безумія, на событія съ точки зрѣнія нелѣпости и ненужности.

Исторія—горячка, производимая благодѣтельной натурой, посредствомъ

которой человѣчество пытается отдѣлываться отъ излишней животности; но какъ бы реакція ни была полезна, все же она болѣзнь. Впрочемъ, въ нашъ образованный вѣкъ стыдно доказывать простую мысль, что исторія—автобіографія сумасшедшаго.

Интересъ лѣтописей и путешествій тотъ же самый, который мы находимъ въ анатомико-патологическомъ кабинетѣ. Кстати о путешествіяхъ. Они не менѣе исторіи принесли мнѣ подтвержденій и тѣмъ пріятнѣйшихъ, что всѣ описываемыя въ нихъ безумія дѣлались не за тысячу лѣтъ, а совершаются теперь, сейчасъ, въ ту минуту, какъ я пишу, и будутъ совершаться въ ту минуту, какъ вы, любезный читатель, займетесь чтеніемъ моего отрывка. Доказательства и здѣсь совершеннѣйшая роскошь; разверните Магелана, разверните Дюмонъ д'Юрвиля и читайте первое, что раскроется,—будетъ хорошо; вамъ или индѣецъ попадется какой-нибудь, который во славу Вишны сидитъ двадцать лѣтъ съ поднятой рукой и не утираетъ носу для пріобрѣтенія безконечной радости на томъ свѣтѣ, или женщина, которая изъ учтивости и приличія бросается на костеръ, на которомъ жгутъ трупъ ея мужа. Востокъ, классическая страна безумія, но, впрочемъ, и въ Европѣ очень удовлетворительные симптомы и въ ирландскомъ вопросѣ, и въ вопросѣ о пауперизмѣ и во многихъ другихъ. Да, сверхъ того въ Европѣ остались нѣсколько видоизмѣненными и всѣ азіатскія глупости, собственно перемѣнились только названія.

ЧАСТЬ II.

Герценъ за границей.

Письма изъ Франціи и Италіи.

Герценъ уѣхалъ изъ Россіи въ 1847 году, почти наканунѣ той исторической грозы, которая пронеслась надъ Западной Европой въ 1848 году. 24-го февраля вспыхнула революція въ Парижѣ и послужила сигналомъ къ революціонно-освободительнымъ движеніямъ въ Италіи, Австріи, Германіи. Собирались парламенты и возникали временныя правительства; въ Римѣ и въ Венгріи были провозглашены республики. Герценъ „съ душой открытой для новаго міра", конечно, всецѣло былъ на сторонѣ этихъ освободительныхъ движеній. Онъ былъ съ парижскими пролетаріями противъ буржуазіи, съ итальянцами и венграми, возставшими за національную свободу, противъ Австріи, съ австрійскими и германскими демократами противъ монархіи. Онъ дѣлилъ надежды и разочарованія западныхъ революціонеровъ. Разочарованіями скоро смѣнились надежды. Реакція восторжествовала. Во Франціи новорожденная республика вступила на путь реакціи, и кровавое подавленіе рабочаго возстанія въ Парижѣ въ іюнѣ 1849 г. разбило соціальныя надежды, какія связывались со второй французской республикой. 1849 годъ былъ годомъ повсемѣстнаго и кроваваго торжества реакціи. Въ Римѣ, взятомъ французскими войсками, уничтожена республика и возстановлена власть папы; прусскія войска подавляютъ революціонныя движенія въ южной Германіи; Вѣна взята Виндишгрецомъ, Венгрія замирена при помощи русскихъ войскъ. Всюду слѣдуютъ репрессіи, осадныя положенія, суды, казни, разстрѣлы... Это торжество достигаетъ своего апогея въ государственномъ переворотѣ, совершенномъ Наполеономъ III 2-го декабря 1851 года. Во Франціи, съ которой началось броженіе, возстановляется имперія. Вотъ это-то время—съ 1847 по 1852 г.—и обнимаютъ „Письма изъ Франціи и Италіи".

„Въ нихъ,—говоритъ Герценъ,—первая встрѣча съ Европой, веселая сначала, да и какъ было не веселиться, вырвавшись изъ Россіи послѣ двухъ ссылокъ и одного полицейскаго надзора. Веселый тонъ писемъ скоро тускнѣетъ,—начинается зловѣщее раздумье и патологическій разборъ. Пестрыя декораціи конституціонной Франціи не надолго могли скрыть внутреннюю болѣзнь, глубоко разъѣдающую ее. Чѣмъ пристальнѣе я всматривался, тѣмъ яснѣе видѣлъ, что Францію можетъ воскресить только

коренной экономическій переворотъ—93 годъ соціализма. Но гдѣ силы на него?.. гдѣ люди?.. а пуще всего, гдѣ мозгъ? Съ горькимъ сомнѣніемъ и нерѣшенными вопросами покинулъ я Францію и сразу наткнулся въ Италіи на первые свѣтлые дни ея пробужденія... Я шелъ отъ одной народной побѣды къ другой, я видѣлъ только восторженныя лица, ликующіе взоры, — вдругъ громовой ударъ 24 февраля. Иронической духъ революціи снова привелъ западнаго человѣка на гору, показалъ ему республику во Франціи, баррикады въ Вѣнѣ, Италію въ Ломбардіи [1]) — и снова столкнулъ его въ тюрьму, гдѣ ему за дерзкій сонъ прибавили новый обручъ. Я слышалъ, какъ его заклепывали,—и опять письма мои, отразившія увлеченіе 1848 года, становятся мрачны, и этотъ мракъ растетъ и растетъ до тѣхъ поръ, пока 2 декабря 1851 года вырывается крикъ: „Vive la mort!“

Мы приводимъ это письмо (XIV), которое и начинается со словъ „Vive la mort!“ и письмо болѣе раннее—(XI). Если первое замѣчательно своимъ мрачнымъ паѳосомъ, то второе цѣнно анализомъ современнаго Герцену революціоннаго движенія.

Письмо одиннадцатое.

Парижъ, 1 іюня, 1849 г.

Наше время, мои друзья, при всей своей тягости, полно глубокаго поученія. Послѣдній годъ довоспиталъ насъ. Мы лучше знаемъ нашъ станъ, наши силы, мы стали гораздо бѣднѣе, но зато ближе къ пониманію. Оставаться съ нами становится труднѣе,—все слабое, неопредѣленное, хрупкое торопится отстать. Даже многіе изъ откровенныхъ и преданныхъ людей, людей, которые всю жизнь работали для революціи, жаждали ея, разглядѣвши теперь, куда она идетъ, пріостановились; иные не покидаютъ насъ только отъ стыда, отъ привычки; другіе составляютъ особые легіоны—въ ожиданіи, пока какой-нибудь Кавеньякъ ихъ поведетъ по своему...

Года за два было дешево либеральничать, стоило толковать о прогрессѣ, о самодержавіи народа, о демократическихъ симпатіяхъ, сидѣть въ лѣвомъ центрѣ, пугнуть иногда мѣщанъ воспоминаніемъ о конвентѣ, травить министровъ par force невозможными вопросами,—и все это, оставаясь не только защитникомъ правъ, но и порядка, т. е. существующаго.

Все перемѣнилось и серьезно теперь нельзя быть революціонеромъ не только по двумъ-тремъ фразамъ, рѣчамъ, но и по благороднымъ воспоминаніямъ о прошлыхъ бояхъ, строивши и защищая баррикады. Ни личная храбрость, ни доблестный нравъ не могутъ сдѣлать человѣка революціонеромъ, если онъ не революціонеръ *въ смыслѣ современной эпохи.*

Революціонеры XVIII вѣка были велики и сильны именно потому, что они такъ хорошо поняли, въ чемъ имъ слѣдовало быть революціонерами, и, однажды, понявши, безбоязненно и безпощадно шли своей дорогой. Быть теперь революціо-

[1]) Австрійскія войска были вытѣснены изъ Ломбардіи возставшими итальянцами и въ ней было образовано временное правительство.

нерами, въ смыслѣ конвента, было бы почти то же, что явиться въ конвентъ гугенотомъ. Въ XVIII столѣтіи достаточно было быть республиканцемъ, чтобы быть революціонеромъ; теперь можно очень легко быть республиканцемъ и отчаяннымъ консерваторомъ. Соціалисту въ наше время нельзя не быть революціонеромъ.

По счастью, въ послѣднее время революція и консерватизмъ такъ раздвинулись, что какимъ колоссомъ Родосскимъ ни будь, но все невозможно стоять разомъ на обоихъ берегахъ,—въ этомъ любимомъ положеніи людей *сильныхъ*, какъ Ламартинъ. Время политическаго эклектизма прошло, надобно стоять на томъ берегу или на этомъ. Кто желаетъ сохранить что бы то ни было изъ основаній христіанскихъ, феодальныхъ, римскихъ, у того въ душѣ дремлетъ консерватизмъ и реакція; обстоятельства непремѣнно его обойдутъ. Дѣло очень просто: революціонная идея нашего времни *несовмѣстна* съ европейскимъ государственнымъ устройствомъ; они другъ къ другу идутъ такъ, какъ англійскіе законы къ Японіи или брандебургское право къ древней Греціи. Чисто политическіе агитаторы въ сущности все-таки ближе къ Гизо, нежели къ намъ.

Все въ Европѣ стремится съ необычайной быстротой къ коренному перевороту или къ коренной гибели; нѣтъ точки, на которую бы можно опереться; все горитъ, какъ на огнѣ—преданія и теоріи, религія и наука, новое и старое. Въ одинъ годъ Франція износила блестящую мечту политической республики, а Германія всѣ остальныя мечтанія.

Но гдѣ предѣлы? Кто ихъ провелъ, начертилъ? Гдѣ оканчивается политическая республика, гдѣ начинается соціальная?

Политическая республика не оканчивается въ соціальной, а переходитъ въ нее; соціальная республика есть исполненіе, осуществленіе политической; онѣ противуположны только въ антитетическомъ смыслѣ и это не значитъ смутность понятій,—таково все движущееся, живое, развивающееся. Гдѣ предѣлы между растеніями и животными, между химизмомъ и организмомъ? Разница между розой и медвѣдемъ страшная, бросается въ глаза, а углубитесь въ міръ зоофитовъ и криптогаміи, и вы увидите, что животное царство смѣшивается съ растительнымъ, что одно переходитъ въ другое едва замѣтными тропинками... Соціализмъ предполагаетъ республику, какъ необходимо уже пройденный путь. Республика имѣетъ идеалъ, стремленіе; она не есть дѣйствительность пока она ограничивается *представительствомъ* народнаго самодержавія. Она можетъ при хорошихъ условіяхъ быть свободнѣе конституціонной монархіи, но она не можетъ быть совершенно свободна до тѣхъ поръ, пока она принимаетъ неизмѣнными основы существующаго историческаго общественнаго устройства. А въ ту минуту, когда она ихъ переступитъ, она становится соціальной,—названіе условное и присвоенное именно для значенія этого перехода.

Обыкновенно думаютъ, что соціализмъ имѣетъ исключительною цѣлью разрѣшеніе вопроса о капиталѣ, рентѣ и заработной платѣ. Это не совсѣмъ такъ. Экономическіе вопросы чрезвычайно важны, но они составляютъ одну сторону цѣлаго воззрѣнія, стремящагося, наравнѣ съ уничтоженіемъ злоупотребленій

собственности, уничтожить на тѣхъ основаніяхъ и все монархическое, религіозное—въ судѣ, въ правительствѣ, во всемъ общественномъ устройствѣ, и всего болѣе, въ семьѣ, въ частной жизни, около очага, въ поведеніи, въ нравственности.

Республика, остающаяся при монархическомъ устройствѣ и съ монархическими нравами, всегда можетъ сдѣлаться монархіей или, еще хуже, попасть подъ деспотическую власть плута или солдата, подъ самовластіе предательскаго, но самодержавнаго собранія, подъ гнетъ проданнаго министерства и его агентовъ.

Съ мѣсяцъ тому назадъ въ засѣданіи Прудоновскаго банка были произнесены замѣчательныя слова, тѣмъ болѣе замѣчательныя, что ихъ произнесъ не негодующій юноша, не оскорбленный реакціей французъ, а спокойный гражданинъ Сѣверо-Американскихъ штатовъ. «Я, гражданинъ республики, сказалъ Брейсбенъ, существующей болѣе семидесяти лѣтъ при самыхъ блестящихъ условіяхъ; но я скажу вамъ откровенно, потому что вамъ это нужно знать, республика вамъ не поможетъ (онъ говорилъ работникамъ). Все, что политическая республика можетъ дать, она дала въ Америкѣ, но она безсильна осуществить то общественное состояніе, къ которому стремится современный человѣкъ».

Само по себѣ слово «республика» чрезвычайно неопредѣленно и тягуче; говоря «республика», мы еще ничего не сказали, кромѣ отрицанія наслѣдственной власти и признанія *какого-нибудь* участія народа въ общественныхъ дѣлахъ.

Именно такая республика теперь во Франціи, она освободила государство отъ орлеанской династіи; но не освободила лицо отъ государства, она, напротивъ, оставила лицо слабымъ, безпомощнымъ передъ призракомъ репрезентаціи, облеченной въ царскую порфиру. Она можетъ сдѣлаться сноснѣе, оставаясь при томъ же монархическомъ принципѣ; но дойти до «истиннаго равенства, до свободы», какъ говоритъ Брейсбенъ, не можетъ. Все, что могла дать конституціонная республика въ разумнѣйшемъ развитіи своемъ, все осуществилось по ту сторону океана. Сѣверо-Американскіе штаты, что ни толкуютъ болѣзненно романтическія души, которымъ все простое и здоровое противно, государство возмужалое, трезвое, умное. Политическая республика, къ которой стремился либерализмъ XVIII столѣтія, тамъ водворена, права, о которыхъ столько говорили французы, тамъ пріобрѣтены. Вы можете быть оскорблены въ Сѣверо-Американскихъ штатахъ общественнымъ мнѣніемъ, ихъ образомъ жизни, но не властью; тамъ никогда не считали правительственное святымъ; тамъ почти нѣтъ бюрократіи, этого бича, обмокнутаго въ чернила, которымъ на дняхъ хвастался король прусскій; тамъ нѣтъ шпіонства, нѣтъ марсоманіи и бѣшенства къ мундирамъ; тамъ не понимаютъ, что такое стѣсненія книгопечатанія,—и при всемъ томъ гражданинъ Сѣверо-Американскихъ штатовъ говоритъ работникамъ: «Республика, существующая на тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ она существуетъ, не имѣетъ средствъ помочь вамъ; тутъ предѣлъ, далѣе котораго она не идетъ».

Въ XVIII столѣтіи республика была пламеннымъ вѣрованіемъ, религіей, ея имя тогда была цѣлая революція. Въ 92 году республика являлась на гори-

зонтѣ свѣтлою и торжественной вѣстью освобожденія, какъ нѣкогда царство небесное.

Бабефъ, прежде нежели сложить голову на плаху, сказалъ Франціи, что ея революція только начало, l'avant-courreur, другого переворота и что этотъ грядущій переворотъ дотронется не до формъ, а до сущности, до нервной пульпы гражданскихъ обществъ. Его не поняли, да и тогда не время было понимать его; развитыя силы первымъ освобожденіемъ были еще такъ велики, что разгулъ ихъ чуть не разбилъ старую Европу и что двадцать лѣтъ безпрерывныхъ войнъ едва могли привести Францію въ русло. Съ Наполеоновской эпохи прошли вѣка,—безуміе Бабефа, безуміе Сенъ-Симона и Фурье выросли съ своей стороны въ религію.

Революція двадцать четвертаго февраля была дѣйствительно соціальная, отсталые люди, люди тупые и злонамѣренные свели ее на политическую; она вышла блѣдною, потому что была ниже обстоятельствъ, потому что была копіей, а не оригиналомъ. Вотъ отчего сказанія о времени первой революціи при двадцатомъ повтореніи все такъ же захватываютъ душу, отчего въ понятіи каждаго изъ насъ навѣки врѣзались пластическія лица, событія, слова, взятіе Бастиліи, отвѣтъ Мирабо, 10 августа, Дантонъ, Робеспьеръ и всѣ эти гиганты войны и гиганты цивизма. Вспомните рядомъ съ ними эти стертыя, блѣдныя половинчатыя, осторожныя личности Ламартина и К°,—вамъ сдѣлается смѣшно. Не думайте, чтобы одно отдаленіе придало тѣмъ ихъ величіе; черезъ сто лѣтъ члены временнаго правительства будутъ болѣе забыты, нежели второстепенные дѣятели девяностыхъ годовъ; въ то время какъ личность Сантера, Эксельмана будетъ жива для дальнѣйшаго потомства, имена, прошлогднихъ львовъ революціи едва останутся въ памяти какого-нибудь компилятора. Событія бываютъ велики, когда они совпадаютъ съ высшей потребностью своего вѣка, тогда люди приносятъ на совершеніе всю силу свою, ихъ дѣяніе до того исчерпываютъ на ту минуту всю сознанную возможность дѣйствованія, что за предѣлами его ничего не видать, что душа удовлетворена. Якобинцы вѣровали, что они спасаютъ міръ, что ихъ спасеніе есть единое возможное. Разумѣется, съ абсолютной точки зрѣнія они не были правы, они увлекались, ошибались въ размѣрѣ дѣлаемаго, но это увлеченіе и эти ошибки находятся во всемъ геніальномъ и великомъ. Для того, чтобы быть дѣятелемъ въ исторіи, скорѣе надобно нѣсколько мономаніи, сумасшествія, нежели холоднаго безпристрастія; люди, захватившіе власть послѣ 24 февраля, конечно, не были сумасшедшіе; они заслуживаютъ премію за умѣренность и благоразуміе, но за это не дается лавровыхъ вѣнковъ.

Провозглашеніе республики было необходимо. Соціализмъ предполагалъ, ставилъ, требовалъ республику, какъ необходимую гражданскую ступень и шелъ далѣе въ критикѣ, въ отрицаніи существующаго и въ довѣріи къ будущему, къ человѣку, къ жизни; его протестъ было пророчество.

Зачѣмъ, говорятъ люди очень добросовѣстные, зачѣмъ соціализмъ усложнилъ вопросъ? Надобно было дать время упрочиться республикѣ, а потомъ начать пропаганду соціализма. Онъ многихъ испугалъ, отстращалъ отъ республики.

Съ другой стороны, работники не хотятъ драться просто за республику. Можно быть очень добросовѣстнымъ человѣкомъ и плохимъ историкомъ, еще худшимъ психологомъ. У человѣчества другая экономія, нежели у кухарокъ: оно починаетъ всѣ круги сыра разомъ, а не ждетъ, чтобы первый былъ съѣденъ, оно портитъ со всѣхъ концовъ. Когда является въ сознаніи новая, великая мысль и поражаетъ сильнѣйшія разумѣнія своего времени, ее остановить или задержать невозможно; массы какъ-будто предчувствуютъ ее; каждое слово, которое въ другое время прошло бы незамѣченнымъ, безпокоитъ, волнуетъ. И кто же въ самомъ дѣлѣ можетъ сказать людямъ, какъ Гамлетъ говорилъ себѣ: «Сердце, погоди, не бейся, я выжду, что скажетъ Горацію». Развѣ мысль не такой же фактъ, какъ всѣ другіе факты? Развѣ она не имѣетъ своего необходимаго рожденія и развитія, непреложнаго, неотвратимаго? Соціализмъ долженъ былъ поднять свое знамя при первомъ кликѣ республики и заявить свое существованіе; обманутый два раза временнымъ правительствомъ, обманутый собраніемъ, онъ потребовалъ сначала словомъ, потомъ баррикадами исполненія обѣщаннаго. Ему отвѣчали четырехдневной канонадой; онъ былъ побѣжденъ, и посмотрите, республика не можетъ держаться, сохраненіе *такой* республики не имѣетъ больше интереса для народа. Да и республика эта сама-по-себѣ не имѣетъ мысли, или укажите ее въ конституціи 48 г., въ засѣданіяхъ собранія, въ журналахъ несоціальныхъ?.. Я ничего въ мірѣ не знаю жалче положенія Reforme.

И сбылись, мой другъ, пророчества
Пылкой юности ея...

и ей нечего сказать... Тамъ, гдѣ-то борьба, великія сомнѣнія, работа будущаго, а тутъ въ камерѣ, правительствѣ, въ журналахъ жуютъ себѣ жвачку, пережевывая ее въ сотый разъ. Прудонъ, Пьеръ Леру, Консидеранъ не идутъ въ примѣръ, потому что ихъ не слушаютъ, они иностранцы въ собраніи, ихъ слова вызываютъ только вопль негодованія.

«Да республика организовала-бы свободу»... Что такое свобода, господа Горы?—Не та ли это свобода, которая, по предложенію Паскаля Дюпра, отдала Парижъ въ осадное положеніе? Нѣтъ, время либеральной партіи и политическихъ республиканцевъ прошло, имъ нечего сказать, имъ нечего дѣлать, ихъ республика оттого и не стоитъ, что не можетъ стоять, она обойдена, народу до нея нѣтъ дѣла.

Работникъ, отчаянно дравшійся 24 февраля, ждалъ не того. Это было своего рода journée des dupes. Какъ только хмель торжества прошелъ, всѣ проснулись удивленные, испуганные; люди, не хотѣвшіе ронять тронъ, вспомнили, что они его уронили; люди, хотѣвшіе политической республики, вспомнили, что они лепетали всенародно о соціализмѣ; красные республиканцы бѣсились, что выпустили изъ рукъ власть, что допустили правительство слабое и ретроградное; работники оплакивали свое знамя, оскорбленное Ламартиномъ для удовольствія мѣщанъ. Словомъ, никто не видалъ исполненія своей мысли, никто не былъ доволенъ; одни съ досадой вспоминали, что надѣлали, другіе съ ужасомъ, на

чемъ остановились. Смѣшеніе понятій росло и дошло, наконецъ, до того, что въ іюньскіе дни враги нападали другъ на друга съ ожесточенной злобой и при крикѣ Vive la RépuBlique! съ обѣихъ сторонъ; это было страшнымъ доказательствомъ, что слово республика не могло удовлетворять новой борьбы, что борьба и вопросъ перешли за предѣлы этого слова.

Это слѣдовало понять прежде кровавыхъ событій временному правительству, но, лишенное иниціативы и энергіи, оно было похоже не на диктатора, а на цѣломудреннаго человѣка, который нашелъ корону и держитъ ее въ рукахъ, спрашивая каждаго встрѣчнаго, не онъ ли обронилъ ее и не имѣетъ ли онъ надлежащіе документы, чтобъ взять ее назадъ. Это было честно, но очень глупо. Два мѣсяца реакція не вѣрила своимъ глазамъ, люди биржи и интригъ были побѣждены наивностью Ламартина, они не могли понять, какъ можно, имѣя такую власть, никуда не употребить ее. Когда же они убѣдились, что власть эта только и употребляется на удержаніе источника, который ее питалъ, тогда, заглушая внутренній хохотъ, они прокричали 4 марта свое Vive la RépuBlique! Люди положительные, они поняли, что съ такой республикой первенство буржуазіи не погибло.

Письмо четырнадцатое.

Ницца, 31 декабря 1851 г.

Vive la mort, друзья! И съ новымъ годомъ! Теперь будемъ послѣдовательны, не измѣнимъ собственной мысли, не испугаемся осуществленія того, что мы предвидѣли, не отречемся отъ знанія, до котораго дошли скорбнымъ путемъ. Теперь будемъ сильны и постоимъ за наши убѣжденія.

Мы давно видѣли приближающуюся смерть; мы можемъ печалиться, принимать участіе, но не можемъ ни удивляться, ни отчаиваться, ни понурить голову. Совсѣмъ напротивъ, намъ надобно ее поднять,—мы оправданы. Насъ называли зловѣщими воронами, накликающими бѣды, насъ упрекали въ расколѣ, въ незнаніи народа, въ гордомъ удаленіи, въ дѣтскомъ негодованіи, а мы были только виноваты въ истинѣ и въ откровенномъ высказываніи ея. Рѣчь наша, оставаясь та же, становится утѣшеніемъ, ободреніемъ устрашенныхъ событіями въ Парижѣ.

Когда люди, стоявшіе во главѣ движенія, шутили надъ своей слабостью, когда они принимали предсмертную болѣзнь за минутный сонъ, за мимолетную усталь, когда эмпирики и шарлатаны увѣряли, что болѣзнь пройдетъ, и тратили лучшія силы на врачеваніе трупа, когда они ждали, что больной возьметъ одръ и пойдетъ по ихъ приказанію, тогда было необходимо проповѣдывать, «что у воротъ ихъ стоитъ не Катилина, а смерть», какъ это и дѣлалъ Прудонъ изъ своего заточенія. Теперь она ихъ растворила, взошла, теперь ошибиться трудно... Вотъ она между нами коситъ направо, коситъ налѣво... Подрѣзанная трава такъ и валится.

Рухнулся, наконецъ, этотъ міръ призрачный, дряхлый, пережившій самого себя, міръ распадающійся, двуначальный, неоткровенный, дошедшій до лжи и смѣшенія всѣхъ понятій, какъ все выживающее изъ ума, остановившійся на не-

возможныхъ сочетаніяхъ, на несовмѣстныхъ перемиріяхъ, на слабодушныхъ уступкахъ. Все, что онъ лѣпилъ, придумывалъ, выстроилъ изъ прошедшаго и выбѣлилъ новой краской, всѣ произведенія его старческаго ребячества,—все разсыпалось, какъ карточный домъ. Противныя сумерки пропали. Нѣтъ больше двусмысленныхъ недоговорокъ, поддерживавшихъ пустыя надежды съ обѣихъ сторонъ. Темная ночь, которую ждали, настала,—мы шагомъ ближе къ утру.

Все кончено: представительная республика и конституціонная монархія, свобода книгопечатанія и неотъемлемыя права человѣка, публичный судъ и избранный парламентъ. Дыханіе становится легче, воздухъ чище; все стало страшно просто, рѣзко... Куда ни посмотришь, отовсюду вѣетъ варварствомъ, снизу и сверху, изъ дворцовъ и мастерскихъ. Кто покончитъ, довершитъ? *Дряхлое ли варварство скипетра,* или буйное варварство коммунизма? кровавая сабля, или красное знамя?...

Варварствомъ новая цивилизація насильственно вводится во владѣніе старой почвой, или отрывается отъ нея, если она неспособна и истощена. Это безпорядокъ похоронъ, грубая опека надъ малолѣтними.

Намъ жаль теперешнее паденіе народа, который такъ славно жилъ, который мы такъ любили, можетъ больше, нежели сознаемъ. Мы чувствуемъ, по выраженію Мишле, что съ паденіемъ Франціи температура земного шара понизилась.

Трудно было свыкаться съ мыслью, что Франція разошлась съ революціей. Второе декабря, несмотря на то, что всѣ его ждали, поразило всѣхъ. Предвидитъ-ли человѣкъ несчастіе или нѣтъ,—оно все приходитъ врасплохъ. Горесть наша искренняя, она наше право, наше личное участіе въ современномъ дѣлѣ. Но, сверхъ связи съ настоящимъ, мы имѣемъ связь и съ будущимъ.

Теперь, когда мы пережили первыя минуты безсильной злобы, стыда, тревожной неизвѣстности,—пора изъ-за развалинъ и труповъ взглянуть вдаль. Если сердцу мало одного пониманія, то и пониманію мало одной грусти. Мысль всходитъ, какъ луна на кладбищѣ, и ищетъ своимъ свѣтомъ привесть въ ясность совершившееся, связываетъ порванные концы и указываетъ красную нитку революціи, идущую черезъ императорскій скипетръ черезъ весь шаръ земной—вмѣстѣ съ телеграфической проволокой.

Мы не бѣжали ни отъ опасности, ни отъ печали, случайно остались мы цѣлы; но теперь нечего больше дѣлать, сраженіе кончено, падшіе зарыты,—не жить же намъ у ихъ кургана, не довольствоваться же одной скорбью объ утраченномъ. *Жизнь обязываетъ!*

Въ груди нашей, еще здоровой послѣ всѣхъ ударовъ, есть титаническій голосъ непокорности, даже ироніи надъ побѣдителемъ. Они побѣдили насъ,—покажемъ, что они намъ побѣдили. У насъ отняли настоящее,—отнимемъ у нихъ будущее, отравимъ нашимъ пророчествомъ ихъ ликующую радость.

Конечно, потери станутъ яснѣе отъ разбора, несомнѣннѣе,—кто боится знанія, тотъ пропалъ, тотъ консерваторъ.

«Оставьте мертвымъ погребать мертвыхъ», говорилъ Христосъ. Дѣйствительно, весь вопросъ при такихъ переворотахъ въ томъ только и состоитъ,

мертвецы ли мы, принадлежащіе прошедшему и повторяющіе съ воплемъ «свершилось», или люди будущаго, которые, съ умиленіемъ задергивая царскій покровъ, говорятъ le roi est mort—vive le roi!

Горе тому, кто теперь съ насмѣшливой улыбкой броситъ холодное слово Франціи,—пора укора и упрековъ прошла, для нея настаетъ прошедшее. Религія будущаго родилась середь потоковъ французской крови, въ груди французскихъ мыслителей, среди страданія французскаго пролетаріата.

Да не посмѣетъ ни одинъ народъ радоваться ея паденію. Съ опущеннымъ взоромъ пусть они преклонятся передъ ея несчастіемъ. Они такъ не падутъ: пусть будутъ довольны этимъ. Посредственность имѣетъ великія льготы, но она обязываетъ къ скромности. Если Франція во многомъ виновата,—она много наказана...

...То, что не удалось революціонерамъ 15 мая, бѣлымъ днемъ, во имя свободы, то удалось Людовику Наполеону и полицейскимъ сыщикамъ темной ночью, во имя насилія. Республика пала, зарѣзанная по корсикански, по разбойничьи, обманомъ изъ-за угла.

Бланки оправданъ Бонапартомъ.

Собраніе разогнали,—какъ хотѣлъ его разогнать Гюберъ.

Вмѣсто диктатуры революціонной водворилась диктатура управы благочинія,—и все пало передъ ней; потому что все было шатко, неглубоко, неистинно, потому что въ каждомъ новомъ учрежденіи былъ оставленъ старый, отравлявшій его элементъ.

Чего же намъ-то удивляться, что нашлись добровольные палачи для того, чтобы казнить осужденное нами. Второе декабря, лишенное всякой творческой силы, всякаго живого начала, подъ предлогомъ спасенія, разрушаетъ государство, противъ котораго борется соціализмъ.

Франція традиціонная, историческая, монархическая была казнена во время террора. Съ тѣхъ поръ является рядъ неустоявшихся формъ правленія, рядъ переложеній и сочетаній незрѣлыхъ мыслей съ отжившими формами. Дикій деспотизмъ Наполеона такъ же мало могъ удержаться, какъ царства двухъ хартій. Представительная система была цѣла во Франціи, пока исполнительная власть и революціонеры ее терпѣли. Не только Людовикъ Филиппъ, но и Людовикъ XVIII и Карлъ X были настолько люди прошлаго вѣка, что боялись открыто изорвать хартію, они вѣрили въ нее.

Республиканское изданіе хартіи, сдѣланное въ 1848 году, отличалось отъ прежнихъ тѣмъ, что въ него никто не вѣрилъ, а всѣ употребляли какъ маску или какъ щитъ. Прудонъ не хотѣлъ его вотировать, соціалисты презирали его, роялисты ненавидѣли, республиканцы находили недостаточнымъ и нелѣпымъ. Одинъ Людовикъ Наполеонъ присягалъ ему и былъ обязанъ вѣрностью; онъ-то ему и измѣнилъ, но онъ не измѣнилъ своему избранію.

Его избраніе *совершенно свободное* въ 1848 г. было плебисцитомъ, которымъ Франція отрекалась отъ свободы.

Онъ исполнилъ волю народную. Интриганъ по семейному преданію, онъ

исполнялъ ее изъ-подтишка, въ то время какъ могъ то же дѣлать открыто. Человѣка этого ничего не связывало. Иностранецъ, выросшій внѣ Франціи, онъ не дѣлилъ ни хорошихъ, ни дурныхъ качествъ французовъ, онъ ихъ подсматривалъ и хладнокровно помѣчалъ. Постоянно изучая жизнь своего дяди, онъ въ ней не могъ найти ничего, кромѣ безпредѣльнаго презрѣнія къ французамъ и къ людямъ вообще. Терять этому человѣку было нечего, ожидать—всего. Три года присматривался онъ и рискнулъ на-вѣрное.

Ему удалось, потому что его coup d'état отвѣчалъ необходимой потребности выйти куда бы то ни было, хоть въ полную гибель, но не оставаться въ ложномъ положеніи. Второе декабря лишено всякаго другого нравственнаго смысла. Это былъ выходъ. Парижскій народъ, хорошо понимая это, не защищалъ баррикадъ, потому что онъ былъ радъ перемѣнѣ; но скоро увидѣлъ, что онъ ничего не выигралъ. Умные консерваторы, съ своей стороны, поняли также, что побѣда не ихъ.

Но кто же побѣдилъ?

Переворотъ второго декабря, какъ іюньскіе дни, не имѣетъ знамени; онъ имѣетъ только собственное имя, бунтующую полицію, пьяныхъ солдатъ, подкупленныхъ генераловъ. Смерть явилась, какъ всегда въ острыхъ болѣзняхъ, безсмысленно, съ видомъ случайности, безъ разумнаго слова.

Говорятъ, что побѣдилъ *порядокъ*. Нѣтъ идеи бѣднѣе, жальче, слабѣе, какъ идея порядка quand même, порядка въ смыслѣ полицейской тишины.

И, дѣйствительно, Людовикъ Наполеонъ долженъ все переказнить для того, чтобъ остаться на мѣстѣ; онъ не можетъ иначе удержаться. Что вы думаете, онъ оставитъ въ покоѣ орлеанистовъ, синихъ и красныхъ республиканцевъ?.. Литература, поэзія, журналистика—все будетъ убито, словоохотливая Франція замолчитъ.

Далѣе ему необходима война. На войну надобно много денегъ,—гдѣ ихъ взять, пока контрибуціи не раззорили цѣлыхъ племенъ?.. Гдѣ? У капиталистовъ! И тутъ начнется цезарскій коммунизмъ!

А! господа, вы продали ваши человѣческія права за блюдо чечевицы,—и воображаете, что вамъ его оставятъ. Нѣтъ! Куда вы пойдете жаловаться? Развѣ есть гласность, судъ, защита?—Нѣтъ! *Порядокъ* слишкомъ хорошо торжествуетъ; за крамолу въ тюрьму, за возраженіе въ Нука-Иву, въ Каену.

На этой стремнинѣ, при войнѣ, будетъ труднѣе удержать Францію, нежели взять корону изъ рукъ префекта полиціи. Но какое дѣло, спасется она или нѣтъ, побѣдитъ она или нѣтъ. Кто бы ни побѣдилъ, отъ монархическо-христіанской Европы, отъ старыхъ формъ не уцѣлѣетъ и половины.

Вся Европа выйдетъ изъ фугъ своихъ, будетъ втянута въ общій разгромъ; предѣлы странъ измѣнятся, народы соединятся другими группами, національности будутъ сломлены и оскорблены. Города, взятые приступомъ, ограбленные, обѣднѣютъ, образованіе падетъ, фабрики остановятся, въ деревняхъ будетъ пусто, земля останется безъ рукъ, какъ послѣ Тридцатилѣтней войны; усталые, заморенные народы покорятся всему, военный деспотизмъ замѣнитъ всякую закон-

ность и всякое управленіе. Тогда побѣдители начнутъ драку за добычу. Испуганная цивилизація, индустрія побѣгутъ въ Англію, въ Америку, унося съ собой отъ гибели кто деньги, кто науку, кто начатый трудъ. Изъ Европы сдѣлается нѣчто въ родѣ Богеміи послѣ гусситовъ.

И тутъ, на краю гибели и бѣдствій, начнется другая война—домашняя.

Напрасно жать плечами, негодовать и клясть. Развѣ вамъ этого не предсказалъ Ромье? «Или безвыходный цезаризмъ, или красный призракъ». Онъ только не договорилъ одного, что цезаризмъ приведетъ къ коммунизму; если же нѣтъ, то въ самомъ дѣлѣ въ Европѣ не только правительство и общественныя формы умерли, но и народы.

И чѣмъ эта война несправедливѣе войны мѣщанъ противъ дворянъ, либерализма противъ феодальной и монастырской собственности?

Мѣщане заработали свое достояніе трудомъ, дворяне кровью, оба насиліемъ, потому что тѣмъ и другимъ помогало правительство. Революціонное правительство поможетъ и третьимъ.

Да и какая тутъ справедливость! Мы видимъ, куда несется потокъ; доказывать юридически водопаду, чтобъ онъ не разливался, не топилъ бы чужихъ береговъ, ни къ чему не ведетъ.

Современный государственный бытъ съ своей *цивилизаціей* погибнутъ, будутъ, какъ учтиво выражается Прудонъ, *ликвидированы*.

Вамъ жаль цивилизаціи?

Жаль ее и мнѣ.

Но ея не жаль массамъ.

Смиреніе передъ неотвратимыми судьбами! И твердымъ шагомъ войдемъ въ новый годъ!

Съ того берега.

Посвящая книгу „Съ того берега“ сыну Александру, Герценъ писалъ:

„Я посвящаю тебѣ эту книгу, потому что я ничего не писалъ лучшаго и, вѣроятно, ничего лучшаго не напишу; потому что я люблю эту книгу, какъ памятникъ борьбы, въ которой я пожертвовалъ многимъ, но не отвагой знанія; потому, наконецъ, что я нисколько не боюсь дать въ твои отроческія руки этотъ, мѣстами дерзкой, протестъ независимой личности противъ воззрѣнія устарѣлаго, рабскаго и полнаго лжи, противъ нелѣпыхъ идоловъ, принадлежащихъ иному времени и безсмысленно доживающихъ свой вѣкъ между нами, мѣшая однимъ, пугая другихъ“... „Не ищи рѣшеній въ этой книгѣ,—ихъ нѣтъ въ ней, ихъ вообще нѣтъ у современнаго человѣка. То, что рѣшено, то кончено, а грядущій переворотъ только что начинается. Мы не строимъ, мы ломаемъ, мы не возвѣщаемъ новаго откровенія, а устраняемъ старую ложь. Современный человѣкъ, печальный Pontifex Maximus, ставитъ только мостъ,—иной, неизвѣстный, будущій пройдетъ по немъ. Ты, можетъ, увидишь его... Не останься на с т а р о м ъ

берегу... Лучше съ нимъ погибнуть, нежели спастись въ богадѣльнѣ реакціи".

Герценъ не ошибался, называя „Съ того берега" лучшею изъ написанныхъ имъ книгъ. Рожденная въ атмосферѣ исторической грозы [первая ея глава—„Передъ грозой"—написана незадолго до взрыва февральской революціи, вторая—„Послѣ грозы"—подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ разгрома революціонныхъ надеждъ], она запечатлѣна необычайнымъ подъемомъ духа. Это книга страстной любви, жгучей ненависти и великой скорби. „Я ничего не люблю въ этомъ мірѣ, кромѣ того, что онъ преслѣдуетъ, ничего не уважаю, кромѣ того, что онъ казнитъ", говоритъ Герценъ въ предисловіи къ книгѣ, которую онъ писалъ, слушая „горькій плачъ пролетарія". Есть пѣсни и поэмы, рожденныя великою національною скорбью, оплакивающія безсиліе въ борьбѣ за свободу родины. Книга Герцена напоминаетъ эти пѣсни и поэмы, но только скорбь его соціальная, а не національная, но только родина его не имѣетъ географическихъ границъ; это—новая земля, гдѣ живетъ новое, свободное, не мѣщанское человѣчество. Одинъ изъ враждебныхъ критиковъ Герцена, назвавшій его „русскимъ Іереміей", плачущимъ на развалинахъ іюньскихъ баррикадъ, думая сострить, сказалъ правду: сочувствующій читатель „Съ того берега" услышитъ плачъ Іереміи, плачъ надъ развалинами Іерусалима грядущаго. Но не одинъ плачъ: жалобы заглушаются гимнами въ честь новой весны, въ честь вѣчнаго развитія жизни и неоскудѣвающаго творчества человѣка. Не отчаяніе, а вѣра въ будущее кладетъ послѣднюю печать на книгу Герцена: въ ней религіозный пафосъ,—пафосъ той религіи, которую онъ самъ назвалъ „религіей общественнаго пересозданія".

Вышедшая сначала на нѣмецкомъ языкѣ [„Vom andern Ufer"] въ 1850 г., книга Герцена произвела сильное впечатлѣніе на передовые умы западной интеллигенціи, хотя и вызвала много рѣзкихъ критическихъ замѣчаній. На русскомъ языкѣ она появилась въ 1855 г. и показалась немногимъ русскимъ читателямъ непонятной и чуждой. Русская интеллигенція мечтала хотя бы о такихъ формахъ жизни, которыя, какъ отжившія, громилъ Герценъ. Опередившая свое время книга Герцена зато не устарѣла для нашего и вполнѣ справедливо пожеланіе одного изъ біографовъ Герцена—Ч. Вѣтринскаго,—чтобы книга эта стала однимъ изъ „вѣчныхъ спутниковъ" русскихъ людей.

Мы даемъ II главу „Послѣ грозы", VI—„Эпилогъ 1849 года" и отрывки изъ послѣдней „Omnia mea mecum porto". „Послѣ грозы" написано подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ кровавыхъ іюньскихъ дней въ Парижѣ. О событіяхъ 1849 года, которому Герценъ посылаетъ проклятіе, мы говорили въ объясненіяхъ къ „Письмамъ изъ Франціи и Италіи". Въ „Быломъ и Думахъ" Герценъ разсказываетъ о настроеніи, въ какомъ онъ писалъ эту главу книги „Съ того берега": „Печально сидѣлъ я разъ въ мрачномъ непріятномъ Цюрихѣ въ столовой у моей матери; это было въ концѣ Декабря 1849 года. Я ѣхалъ на другой день въ Парижъ; день былъ холодный, снѣжный, два-три полѣна, нехотя дымясь и треща, горѣли въ каминѣ; всѣ были заняты укладкой, я сидѣлъ одинъ-одинехонекъ: женевская жизнь носилась передъ

глазами, впереди все казалось темно, я чего-то боялся и мнѣ было такъ невыносимо, что, если-бъ я могъ, я бросился бы на колѣни и плакалъ бы, и молился бы, но я не могъ и, вмѣсто молитвы, написалъ проклятіе—*мой Эпилогъ къ 1849*".

I.

Послѣ грозы.

Женщины плачутъ, чтобы облегчить душу, мы не умѣемъ плакать. Взамѣнъ слезъ я хочу писать—не для того, чтобъ описывать, объяснять кровавыя событія, а просто, чтобъ говорить объ нихъ, дать волю рѣчи, слезамъ, мысли, желчи. Гдѣ тутъ описывать, собирать свѣдѣнія, обсуживать! Въ ушахъ еще *раздаются* выстрѣлы, топотъ несущейся кавалеріи, тяжелый, густой звукъ лафетныхъ колесъ по мертвымъ улицамъ; въ памяти мелькаютъ отдѣльныя подробности: раненый на носилкахъ держитъ рукой бокъ и нѣсколько капель крови течетъ по ней; омнибусы, наполненные трупами, плѣнные съ связанными руками, пушки на place de la Bastille, лагерь у Porte St. Denis, на Елисейскихъ поляхъ, и мрачное ночное Sentinelle: prenez garde à vous!.. Какія тутъ описанія, мозгъ слишкомъ воспаленъ, кровь слишкомъ остра.

Сидѣть у себя въ комнатѣ, сложа руки, не имѣть возможности выйти за ворота и слышать возлѣ, кругомъ, вблизи, вдали, выстрѣлы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возлѣ льется кровь, рѣжутся, колютъ, что возлѣ умираютъ,—отъ этого можно умереть, сойти съ ума. Я не умеръ, но я состарѣлся, я оправляюсь послѣ іюньскихъ дней, какъ послѣ тяжкой болѣзни.

А торжественно начались они. Двадцать третьяго числа, часа въ четыре передъ обѣдомъ, шелъ я берегомъ Сены къ Hôtel de Ville, лавки запирались, колонны національной гвардіи съ зловѣщими лицами шли по разнымъ направленіямъ, небо было покрыто тучами, шелъ дождикъ. Я остановился на Pont neuf, сильная молнія сверкнула изъ-за тучи, удары грома слѣдовали другъ за другомъ и середь всего этого раздался мѣрный протяжный звукъ набата съ колокольни св. Сульпиція, которымъ еще разъ обманутый пролетарій звалъ своихъ братьевъ къ оружію. Соборъ и всѣ зданія по берегу были необыкновенно освѣщены нѣсколькими лучами солнца, ярко выходившими изъ-подъ тучи, барабанъ раздавался съ разныхъ сторонъ, артиллерія тянулась съ Карусельской площади.

Я слушалъ громъ, набатъ и не могъ насмотрѣться на панораму Парижа, будто я съ нимъ прощался; я страстно любилъ Парижъ въ эту минуту; это была послѣдняя дань великому городу,—послѣ іюньскихъ дней онъ мнѣ опротивѣлъ.

Съ другой стороны рѣки, на всѣхъ переулкахъ и улицахъ строились баррикады. Я какъ теперь вижу эти сумрачныя лица, таскавшія камни, дѣти, женщины помогали имъ. На одну баррикаду, повидимому оконченную, взошелъ молодой политехникъ, водрузилъ знамя и запѣлъ тихимъ, печально торжественнымъ голосомъ марсельезу, всѣ работавшіе запѣли и хоръ этой пѣсни, раздававшійся

изъ-за камней баррикадъ, захватывалъ душу... Набатъ все раздавался. Между тѣмъ по мосту простучала артиллерія и генералъ Бедо осматривалъ съ моста въ трубу *непріятельскую* позицію...

Въ это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умѣло этого сдѣлать, собраніе не хотѣло, реакціонеры искали мести, крови, искупленія за 24 февраля, закормы National'я дали имъ исполнителей.

Ну что вы скажете, любезный князь Радецкій и сіятельнѣйшій графъ Паскевичъ-Эриванскій? Вы не годитесь въ помощники Кавеньяку. Меттернихъ и всѣ члены третьяго отдѣленія собственной канцеляріи—дѣти кротости, des bons enfants, въ сравненіи съ собраніемъ осерчалыхъ лавочниковъ.

Вечеромъ 26 іюня мы услышали, послѣ побѣды National'я надъ Парижемъ, правильные залпы, съ небольшими разстановками... Мы всѣ взглянули другъ на друга, у всѣхъ лица были зеленыя... «Вѣдь это разстрѣливаютъ», сказали мы въ одинъ голосъ и отвернулись другъ отъ друга. Я прижалъ лобъ къ стеклу окна...

Послѣ бойни, продолжавшейся четверо сутокъ, наступила тишина и миръ осаднаго положенія. Улицы были еще оцѣплены; рѣдко-рѣдко гдѣ-нибудь встрѣчался экипажъ; надменная національная гвардія, съ свирѣпой и тупой злобой на лицѣ, берегла свои лавки, грозя штыкомъ и прикладомъ; ликующія толпы пьяной мобили сходили по бульварамъ, распѣвая Mourir pour la patrie; мальчишки 16—17 лѣтъ хвастались кровью своихъ братій, запекшейся на ихъ рукахъ, на нихъ бросали цвѣты мѣщанки, выбѣгавшія изъ-за прилавка, чтобы привѣтствовать побѣдителей. Кавеньякъ возилъ съ собою въ коляскѣ какого-то изверга, убившаго десятки французовъ. Буржуазія торжествовала. А дома предмѣстья св. Антонія еще дымились, стѣны, разбитыя ядрами, обваливались, раскрытая внутренность комнатъ представляла каменныя раны, сломанная мебель тлѣла, куски разбитыхъ зеркалъ мерцали... А гдѣ же хозяева, жильцы? Объ нихъ никто и не думалъ... Мѣстами посыпали пескомъ, но кровь все таки выступала... Къ Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварамъ стояли палатки, лошади глодали береженыя деревья Елисейскихъ полей, на Place de la Concorde вездѣ было сѣно, кирасирскія латы, сѣдла, въ Тюльерійскомъ саду солдаты у рѣшетки варили супъ. Парижъ этого не видалъ и въ 1814 году.

Прошло нѣсколько дней,—и Парижъ сталъ принимать обычный видъ, толпы праздношатающихся снова явились на бульварахъ, нарядныя дамы ѣздили въ коляскахъ и кабріолетахъ *смотрѣть* развалины домовъ и слѣды отчаяннаго боя... Одни частые патрули и партіи арестантовъ напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описаніе ночной битвы; кровавыя подробности ея скрыты темнотою; при разсвѣтѣ, когда битва давно кончена, видны ея остатки, клинокъ, окровавленная одежда. Вотъ этотъ-то разсвѣтъ наставалъ теперь въ душѣ, онъ освѣтилъ страшное опустошеніе. Половина надеждъ, половина вѣрованій была убита, мысли отрицанія, отчаянія бро-

дили въ головѣ, укоренялись. Предполагать нельзя было, чтобъ въ душѣ нашей, прошедшей черезъ столько опытовъ, испытанной современнымъ скептицизмомъ, оставалось такъ много истребляемаго.

Послѣ такихъ потрясеній, живой человѣкъ не остается по старому. Душа его или становится еще религіознѣе, держится съ отчаяннымъ упорствомъ за свои вѣрованія, находитъ въ самой безнадежности утѣшеніе и человѣкъ вновь зеленѣетъ, обожженный грозою, нося смерть въ груди, или онъ мужественно и скрѣпя сердце отдаетъ послѣднія упованія, становится еще трезвѣе и не удерживаетъ послѣдніе слабые листья, которые уноситъ рѣзкій весенній вѣтеръ.

Что лучше? Мудрено сказать.

Одно ведетъ къ блаженству безумія.

Другое—къ несчастію знанія.

Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимаетъ все. Другое ничѣмъ не обезпечено, зато многое даетъ. Я избираю знаніе, и пусть оно лишитъ меня послѣднихъ утѣшеній, я пойду нравственнымъ нищимъ по бѣлому свѣту, но съ корнемъ вонъ дѣтскія надежды, отроческія упованія! Всѣхъ ихъ подъ судъ неподкупнаго разума.

Внутри человѣка есть постоянный революціонный трибуналъ, есть безпощадный Фукье-Тенвиль и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпаетъ, гильотина ржавѣетъ, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимаетъ голову, обживается и вдругъ какой-нибудь дикій ударъ будитъ оплошный судъ, дремлющаго палача и тогда начинается свирѣпая расправа,—малѣйшая уступка, пощада, сожалѣніе ведутъ къ прошедшему, оставляютъ цѣпи. Выбора нѣтъ: или казнить и итти впередъ, или миловать и запнуться на полдорогѣ.

Кто не помнитъ своего логическаго романа, кто не помнитъ, какъ въ его душу попала первая мысль сомнѣнія, первая смѣлость изслѣдованія, и какъ она захватила потомъ болѣе и болѣе и дотрагивалась до святѣйшихъ достояній души? Это-то и есть страшный судъ разума. Казнить вѣрованія не такъ легко, какъ кажется; трудно разставаться съ мыслями, съ которыми мы выросли, сжились, которыя насъ лелѣяли, утѣшали,—пожертвовать ими кажется неблагодарностью. Да, но въ этой средѣ, въ которой стоитъ трибуналъ, тамъ нѣтъ благодарности, тамъ неизвѣстно святотатство, и если революція, какъ Сатурнъ, ѣстъ своихъ дѣтей, то отрицаніе, какъ Неронъ, убиваетъ свою мать, чтобы отдѣлаться отъ прошедшаго. Люди боятся своей логики и, опрометчиво вызвавъ передъ ея судъ церковь и государство, семью и нравственность, добро и зло, стремятся спасти клочки, отрывки стараго. Отказываясь отъ христіанства, берегутъ безсмертіе души, идеализмъ, провидѣніе. Люди, шедшіе вмѣстѣ, тутъ расходятся, одни идутъ направо, другіе налѣво; одни замираютъ на полдорогѣ, какъ верстовые столбы, показывая, сколько пройдено, другіе бросаютъ послѣднюю ношу прошедшаго и идутъ бодро впередъ. Переходя изъ стараго міра въ новый, ничего нельзя взять съ собой.

Разумъ безпощаденъ, какъ конвентъ, нелицепріятенъ и строгъ; онъ ни на чемъ не останавливается и требуетъ на лавку подсудимыхъ самое верховное

бытіе, для добраго короля теологіи настаетъ 21 января. Этотъ процессъ, какъ процессъ Людовика XVI-го, пробный камень для жирондистовъ; все слабое, половинчатое или бѣжитъ, или лжетъ, не подаетъ голоса, или падаетъ безъ вѣры. Между тѣмъ, люди, произнесшіе приговоръ, думаютъ, что, казнивши короля, нечего больше казнить, что 22-го января республика готова и счастлива. Какъ будто достаточно атеизма, чтобъ не имѣть религіи, какъ будто достаточно убить Людовика XVI-го, чтобы не было монархіи. Удивительное сходство феноменологіи террора и логики. Терроръ именно начался послѣ казни короля, вслѣдъ за нимъ явились на помостѣ благородные отроки революціи, блестящіе, краснорѣчивые, слабые. Жаль ихъ, но спасти невозможно, и головы ихъ пали, а за ними покатилась львиная голова Дантона и голова баловня революціи, Камиль-Демулена.

Ну теперь, теперь, по крайней мѣрѣ, кончено? Нѣтъ, теперь чередъ неподкупныхъ палачей, они будутъ казнены за то, что вѣрили въ возможность демократіи во Франціи, за то, что казнили во имя равенства,—да, казнены, какъ Анахарсисъ Клооцъ, мечтавшій о братствѣ народовъ за нѣсколько дней до Наполеоновской эпохи, за нѣсколько лѣтъ до Вѣнскаго конгресса.

Не будетъ міру свободы, пока все религіозное, политическое не превратится въ человѣческое, простое, подлежащее критикѣ и отрицанію. Возмужалая логика ненавидитъ канонизированныя истины, она ихъ разстригаетъ изъ ангельскаго чина въ людской, она изъ священныхъ таинствъ дѣлаетъ явныя истины, она ничего не считаетъ неприкосновеннымъ и, если республика присваиваетъ себѣ такія же права, какъ монархія,—презираетъ ее. Монархія сама по себѣ религія, у республики нѣтъ мистическихъ отговорокъ, нѣтъ божественнаго права, она съ нами стоитъ на одной почвѣ. Мало не признавать преступленіемъ оскорбленіе величества, надобно признавать преступнымъ Salus populi. Пора человѣку потребовать къ суду: республику, законодательство, представительство, всѣ понятія о гражданинѣ и его отношеніяхъ къ другимъ и къ государству. Казней будетъ много. Близкимъ, дорогимъ надобно пожертвовать,—мудрено не жертвовать ненавистнымъ? Въ томъ-то и дѣло, чтобъ отдать дорогое, если мы убѣдимся, что оно не истинно. И въ этомъ наше дѣйствительное дѣло. Мы не призваны собирать плодъ, но призваны быть палачами прошедшаго, казнить, преслѣдовать его, узнавать его во всѣхъ одеждахъ и приносить на жертву будущему. Оно торжествуетъ фактически, погубимъ его въ идеѣ, въ убѣжденіи, во имя человѣческой мысли. Уступокъ дѣлать некому,—трехцвѣтное знамя уступокъ слишкомъ замарано, оно долго не просохнетъ отъ іюньской крови. И кого въ самомъ дѣлѣ щадить? Всѣ элементы разрушающейся веси являются во всей жалкой нелѣпости, во всемъ отвратительномъ безуміи своемъ.—Что вы уважаете? *Народное* правительство, что ли?—Кого вамъ жаль? Можетъ быть Парижъ?

Три мѣсяца люди, избранные всеобщей подачей голосовъ, люди выборные всей земли французской ничего не дѣлали и вдругъ стали во весь ростъ, чтобъ показать міру зрѣлище невиданное—восьмисотъ человѣкъ, дѣйствующихъ какъ одинъ злодѣй, какъ одинъ извергъ. Кровь лилась рѣками, а они не нашли слова любви, примиренія; все великодушное, человѣческое покрывалось воплемъ мести

и негодованія, голосъ умирающаго Афра не могъ тронуть этого многоголоваго Калигулу, этого Бурбона, размѣненнаго на гроши; они прижали къ сердцу національную гвардію, разстрѣливавшую безоружныхъ, Сенаръ благословлялъ Кавеньяка и Кавеньякъ умильно плакалъ, исполнивъ всѣ злодѣйства, указанныя адвокатскимъ пальцемъ представителей. А грозное меньшинство притаилось, *гора* скрылась за облаками довольная, что ее не разстрѣляли, не сгноили въ подвалахъ, молча смотрѣла она, какъ отбираютъ оружіе у гражданъ, какъ декретируютъ депортацію, какъ сажаютъ въ тюрьму людей за все на свѣтѣ,—за то, что они не стрѣляли въ своихъ братій.

Убійство въ эти страшные дни сдѣлалось обязанностью, человѣкъ, не омочившій себѣ рукъ въ пролетарской крови, становился подозрителенъ для мѣщанъ... По крайней мѣрѣ большинство имѣло твердость быть злодѣемъ. А эти жалкіе друзья народа, риторы, пустыя сердца!.. Одинъ мужественный плачъ, одно великое негодованіе и раздалось, и то внѣ камеры. Мрачное проклятіе старца Ламене останется на головѣ бездушныхъ каннибаловъ, и всего ярче выступитъ на лбу малодушныхъ, которые, произнося слово республика, испугались смысла его.

Парижъ! Какъ долго это имя горѣло путеводной звѣздой народовъ; кто не любилъ, кто не поклонялся ему,—но его время миновало, пускай онъ идетъ со сцены.

Въ іюньскіе дни онъ завязалъ великую борьбу, которую ему не развязать. Парижъ состарѣлся, и юношескія мечты ему больше не идутъ; для того, чтобъ оживиться, ему нужны сильныя потрясенія, Варѳоломеевскія ночи, сентябрскіе дни. Но іюньскіе ужасы не оживили его. Откуда же возьметъ дряхлый Вампиръ еще крови, крови праведниковъ, той крови, которая 27 іюня отражала огонь плошекъ, зажженныхъ ликующими мѣщанами? Парижъ любилъ играть въ солдаты, онъ посадилъ императоромъ счастливаго солдата, онъ рукоплескалъ злодѣйствамъ, называемымъ побѣдою, онъ воздвигалъ статуи, онъ мѣщанскую фигуру маленькаго капрала опять поставилъ, черезъ пятнадцать лѣтъ, на колонну, онъ съ благоговѣніемъ переносилъ прахъ водворителя рабства, онъ и теперь надѣялся найти въ солдатахъ якорь спасенія отъ свободы и равенства, онъ позвалъ дикія орды одичалыхъ африканцевъ противъ братій своихъ, чтобъ не дѣлиться съ ними, и зарѣзалъ ихъ бездушной рукой убійцъ по ремеслу. Пусть же онъ несетъ послѣдствіе своихъ дѣлъ, своихъ ошибокъ... Парижъ разстрѣливалъ безъ суда... Что выйдетъ изъ этой крови?—кто знаетъ; но что бы ни вышло, довольно, что въ этомъ разгарѣ бѣшенства, мести, раздора, возмездія, погибнетъ міръ, тѣснящій новаго человѣка, мѣшающій ему жить, мѣшающій возвратиться будущему.

Парижъ, 24 іюля, 1848 г.

II.

Эпилогъ 1849 года.

Opfer fallen hier,
Weder Lamm noch Stier,
Aber Menschenopfer—unerhoert.
(Goethe) *Braut v. Corinth.*

— Проклятіе тебѣ, годъ крови и безумія, годъ торжествующей пошлости, звѣрства, тупоумія. Проклятіе тебѣ!

Отъ перваго до послѣдняго дня, ты былъ несчастіемъ, ни одной свѣтлой минуты, ни одного покойнаго часа, нигдѣ не было въ тебѣ. Отъ возстановленной гильотины въ Парижѣ, отъ буржскаго процесса до кефалонійскихъ висѣлицъ, поставленныхъ англичанами для дѣтей; отъ пуль, которыми разстрѣливалъ баденцевъ братъ короля прусскаго, отъ Рима, падшаго передъ народомъ, измѣнившимъ человѣчеству, до Венгріи, проданной врагу полководцемъ, измѣнившимъ отечеству,—все въ тебѣ преступно, кроваво, гадко, все заклеймено печатью отверженія. И это только первая ступень, начало, введеніе,—слѣдующіе годы будутъ и отвратительнѣе, и свирѣпѣе, и пошлѣе...

До какого времени слезъ и отчаянія мы дожили!.. Голова идетъ кругомъ, грудь ломится, страшно знать, что дѣлается и страшно не знать, что еще за неистовства случались. Лихорадочная злоба подстрекаетъ на ненависть и презрѣніе; униженіе разъѣдаетъ грудь... И хочется бѣжать, уйти... отдохнуть, уничтожиться безслѣдно, безсознательно.

Послѣдняя надежда, которая согрѣвала, поддерживала, надежда на месть—на месть безумную, дикую, ненужную, но которая бы доказала, что въ груди у современнаго человѣка есть сердце—исчезаетъ; душа остается безъ зеленаго листа, все облетѣло... и все затихло... мгла и холодъ распространяются... только порой топоръ палача стукнетъ, падая; да пуля, тоже палача, просвищетъ, отыскивая благородную грудь юноши, разстрѣливаемаго за то, что онъ вѣрилъ въ человѣчество.

И *они* не будутъ отомщены?..

Развѣ у нихъ не было друга, брата? Развѣ нѣтъ людей, дѣлящихъ ихъ вѣру?

Все было, только мести не будетъ!

Вмѣсто Марія изъ ихъ праха родилась цѣлая литература застольныхъ рѣчей, демагогическихъ разглагольствованій—мое въ томъ числѣ—и прозаическихъ стиховъ.

Они этого не знаютъ. Какое счастіе, что ихъ нѣтъ и что нѣтъ жизни за гробомъ. Вѣдь *они* вѣрили въ людей, вѣрили, что есть за что умереть, и умерли прекрасно, свято, искупая разслабленное поколѣніе кастратовъ. Мы едва знаемъ ихъ имена—убійство Роберта Блума ужаснуло, удивило, потомъ мы обдержались...

Я краснѣю за наше поколѣніе, мы какіе-то бездушные риторы, у насъ кровь холодна, а горячи одни чернила; у насъ мысль привыкла къ безслѣдному раздраженію, а языкъ къ страстнымъ словамъ, не имѣющимъ никакого вліянія на дѣло. Мы размышляемъ тамъ, гдѣ надобно разить, обдумываемъ тамъ, гдѣ надобно увлечься, мы отвратительно благоразумны, на все смотримъ свысока, мы все переносимъ, мы занимаемся однимъ *общимъ, идеей, человѣчествомъ*. Мы заморили наши души въ отвлеченныхъ и общихъ сферахъ такъ, какъ монахи обезсиливали ее въ мірѣ молитвы и созерцанія. Мы потеряли вкусъ къ дѣйствительности, вышли изъ нея вверхъ, такъ какъ мѣщане вышли внизъ.

А вы что дѣлали, революціонеры, испугавшіеся революціи? Политическіе шалуны, паяцы свободы, вы играли въ республику, въ терроръ, въ правительство, вы дурачились въ клубахъ, болтали въ камерахъ, одѣвались шутами съ пистолетами и саблями, цѣломудренно радовались, что заявленные злодѣи, удивляясь, что живы, хвалили ваше милосердіе. Вы ничего не предупредили, ничего не предвидѣли. А тѣ, лучшіе изъ васъ, заплатили головой за ваше безуміе. Учитесь теперь у вашихъ враговъ, которые васъ побѣдили, потому что они умнѣе васъ. Посмотрите, боятся ли они реакціи, боятся ли они идти слишкомъ далеко, замарать себѣ кровью руки? Они по локоть, по горло въ крови. Погодите немного, они васъ всѣхъ переказнятъ, вы не далеко ушли. Да что, переказнятъ,—они васъ пересѣкутъ всѣхъ.

Меня просто ужасаетъ современный человѣкъ. Какая безчувственность и ограниченность, какое отсутствіе страсти, негодованія, какая слабость мысли, какъ скоро стынетъ въ немъ порывъ, какъ рано изношено въ немъ увлеченье, энергія, вѣра въ собственное дѣло!—И гдѣ? чѣмъ? когда эти люди истратили свою жизнь, когда они успѣли потерять силы? Они растлились въ школѣ, гдѣ ихъ одурачили; они истаскались въ пивныхъ лавкахъ, съ студентской одичалости; они ослабли отъ маленькаго, грязнаго разврата; родившіеся, выросшенные въ больничномъ воздухѣ, они мало принесли силъ и завяли потомъ, прежде, нежели расцвѣли; они истощились не страстями, а страстными мечтами. И тутъ, какъ всегда, литераторы, идеалисты, теоретики, они мыслію постигли развратъ, они прочитали страсть. Право, иной разъ становится досадно, что человѣкъ не можетъ перечислиться въ другого рода звѣрей,—разумѣется, быть осломъ, лягушкой, собакой пріятнѣе, честнѣе и благороднѣе, нежели человѣкомъ XIX вѣка.

Винить некого, это не ихъ, не наша вина, это несчастіе рожденія тогда, когда цѣлый міръ умираетъ?

Одно утѣшеніе и остается,—весьма вѣроятно, что будущія поколѣнія выродятся еще больше, еще больше обмелѣютъ, обнищаютъ умомъ и сердцемъ, имъ уже и наши дѣла будутъ недоступны и наши мысли будутъ непонятны. Народы, какъ царскіе дома, передъ паденіемъ тупѣютъ, ихъ пониманіе помрачается, они выживаютъ изъ ума,—какъ Меровинги, зачинавшіеся въ развратѣ и кровосмѣшаніяхъ и умиравшіе въ какомъ-то чаду, ни разу не пришедши въ себя, какъ аристократія, выродившаяся до болѣзненныхъ кретиновъ, измельчавшая Европа изживетъ свою бѣдную жизнь въ сумеркахъ тупоумія, въ вя-

лыхъ чувствахъ, безъ убѣжденій, безъ изящныхъ искусствъ, безъ мощной поэзіи. Слабыя, хилыя, глупыя поколѣнія потянутся какъ-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая ихъ покроетъ каменнымъ покрываломъ и предастъ забвенію—лѣтописей.

А тамъ?

А тамъ настанетъ весна, молодая жизнь закипитъ на ихъ гробовой доскѣ, варварство младенчества, полное неустроенныхъ, но здоровыхъ силъ, замѣнитъ старческое варварство; дикая, свѣжая мощь распахнется въ молодой груди юныхъ народовъ и начнется новый кругъ событій и третій томъ всеобщей исторіи.

Основной тонъ его мы можемъ понять и теперь. Онъ будетъ принадлежать соціальнымъ идеямъ. Соціализмъ разовьется во всѣхъ фазахъ своихъ до крайнихъ послѣдствій, до нелѣпостей. Тогда снова вырвется изъ титанической груди революціоннаго меньшинства крикъ отрицанія, и снова начнется смертная борьба, въ которой соціализмъ займетъ мѣсто нынѣшняго консерватизма и будетъ побѣжденъ грядущею, неизвѣстною намъ революціей...

Вѣчная игра жизни, безжалостная, какъ смерть, неотразимая, какъ рожденіе, corsi e ricorsi исторіи, regrediunt toÞile маятника!

Къ концу XVIII вѣка европейскій Сизифъ докатилъ тяжелый камень свой, составленный изъ развалинъ и осколковъ трехъ разнородныхъ міровъ, до вершины; камень качнулся въ сторону, въ другую, казалось, хотѣлъ установиться,—не тутъ то было; онъ перекатился, и сталъ тихо, незамѣтно склоняться; быть можетъ, онъ запнулся бы за что-нибудь, остановился-бы съ помощію такихъ тормазовъ и пороговъ, какъ представительное правленіе, конституціонная монархія, потомъ вывѣтривался бы вѣка цѣлые, принимая всякую перемѣну за совершенствованіе и всякую перестановку за развитіе—такъ, какъ этотъ европейскій Китай, называемый Англіей, такъ, какъ это допотопное государство, стоящее между допотопныхъ горъ, называемое Швейцаріей. Но для этого надобно было, чтобы вѣтеръ не вѣялъ, чтобъ не было ни толчка, ни потрясенія; но вѣтеръ повѣялъ и толчекъ пришелъ. Февральская буря потрясла всю наслѣдственную почву. Буря іюньскихъ дней окончательно сдвинула весь римско-феодальный наплывъ, и онъ понесся подъ гору съ усиливающейся быстротою, ломая по дорогѣ все встрѣчное и ломаясь самъ въ осколки... А бѣдный Сизифъ смотритъ и не вѣритъ своимъ глазамъ, лицо его осунулось, потъ устали смѣшался съ потомъ ужаса, слезы отчаянія, стыда, безсилія, досады, остановились на глазахъ; онъ такъ вѣрилъ въ совершенствованіе, въ человѣчество, онъ такъ философски, такъ умно и учено уповалъ на современнаго человѣка. И все-таки обманулся.

Французская революція и германская наука—геркулесовскіе столбы міра европейскаго. За ними по другую сторону открывается океанъ, виднѣется новый свѣтъ, что-то другое, а не исправленное изданіе старой Европы. Онѣ сулили міру освобожденіе отъ церковнаго насилія, отъ гражданскаго рабства, отъ нравственнаго авторитета. Но, провозглашая искренно свободу мысли и свободу жизни, люди переворота не сообразили всю несовмѣстность ея съ католическимъ устрой-

ствомъ Европы. Отречься отъ него они еще не могли. Чтобъ идти впередъ, имъ пришлось свернуть свое знамя, измѣнить ему, имъ пришлось дѣлать уступки.

Руссо и Гегель—христіане.

Робеспьеръ и С. Жюстъ—монархисты.

Германская наука—спекулятивная религія; республика конвента—пентархическій абсолютизмъ и вмѣстѣ съ тѣмъ церковь. Вмѣсто символа вѣры явились гражданскіе догматы. Собраніе и правительство священнодѣйствовали мистерію народнаго освобожденія. Законодатель сдѣлался жрецомъ, прорицателемъ и возвѣщалъ, добродушно и безъ ироніи, неизмѣнные, непогрѣшительные приговоры во имя самодержавія народнаго.

Народъ, какъ разумѣется, оставался попрежнему «мирянином», *управляемымъ;* для него ничего не измѣнилось, и онъ присутствовалъ при политическихъ литургіяхъ, также ничего не понимая, какъ при религіозныхъ.

Но страшное имя *Свободы* замѣшалось въ мірѣ привычки, обряда и авторитета. Оно запало въ сердца; оно раздалось въ ушахъ и не могло оставаться страдательнымъ; оно бродило, разъѣдало основы общественнаго зданія, лиха бѣда была привиться въ одной точкѣ, разложить одну каплю старой крови. Съ этимъ ядомъ въ жилахъ нельзя спасти ветхое тѣло. Сознаніе близкой опасности сильно выразилось послѣ безумной эпохи императорства; всѣ глубокіе умы того времени ждали катаклизмъ, боялись его. Лигитимистъ Шатобріанъ и Ламене, тогда еще аббатъ, указывали его. Кровавый террористъ католицизма Местръ, боясь его, подавалъ одну руку папѣ, другую палачу. Гегель подвязывалъ паруса своей философіи, такъ гордо и свободно плывшей по морю логики, боясь далеко уплыть отъ береговъ и быть захваченному шкваломъ. Нибуръ, томимый тѣмъ же пророчествомъ, умеръ, увидя 1830 г. и іюльскую революцію. Цѣлая школа образовалась въ Германіи, мечтавшая остановить будущее прошедшимъ; трупомъ отца припереть дверь новорожденному.—Vanitas vanitatum!

Два исполина пришли, наконецъ, торжественно заключить историческую фазу.

Старческая фигура Гете, не дѣлящая интересовъ, кипящихъ вокругъ, отчужденная отъ среды, стоитъ спокойно, замыкая два прошедшихъ у входа въ нашу эпоху. Онъ тяготитъ надъ современниками и примиряетъ съ былымъ. Старецъ былъ еще живъ, когда явился и исчезъ единственный поэтъ XIX столѣтія. Поэтъ сомнѣнія и негодованія, духовникъ, палачъ и жертва вмѣстѣ; онъ наскоро прочелъ скептическую отходную дряхлому міру и умеръ 37 лѣтъ въ возрождавшейся Греціи, куда бѣжалъ, чтобъ только не видѣть «береговъ своей родины».

За нимъ замолкло все. И никто не обратилъ вниманія на безплодность вѣка, на совершенное отсутствіе творчества. Сначала онъ еще былъ освѣщенъ заревомъ XVIII столѣтія, онъ блисталъ его славой, гордился его людьми. По мѣрѣ, какъ эти звѣзды другого неба заходили, сумерки и мгла падали на все; повсюду—безсиліе, посредственность, мелкость, и едва замѣтная полоска на востокѣ, намекающая на дальнее утро, передъ наступленіемъ котораго разразится не одна туча.

Явились пророки, наконецъ, возвѣщавшіе близкое несчастіе и дальнее искупленіе. На нихъ смотрѣли, какъ на юродивыхъ, ихъ новый языкъ возмущалъ, ихъ слова принимались за бредъ. Толпа не хочетъ, чтобъ ее будили, она проситъ, чтобъ ее оставили въ покоѣ съ ея жалкимъ бытомъ, съ ея прошлыми привычками; она хочетъ, какъ Фридерикъ II, умереть, не мѣняя грязнаго бѣлья. Ничто въ мірѣ не могло такъ удовлетворить этому скромному желанію, какъ мѣщанская монархія.

Но разложеніе шло своимъ чередомъ, «подземный кротъ» работалъ неутомимо. Всѣ власти, всѣ учрежденія были разъѣдаемы скрытымъ ракомъ; 24 февраля 1848 г. болѣзнь сдѣлалась острой изъ хронической. Французская республика была возвѣщена міру трубою послѣдняго суда. Немощь, хилость стараго общественнаго устройства становились очевидны, все стало распускаться, развязываться, все перемѣшалось и именно держится на этой путаницѣ. Революціонеры сдѣлались консерваторами, консерваторы анархистами; республика убила послѣднія свободныя учрежденія, уцѣлѣвшія при королях; родина Вольтера бросилась въ ханжество. Всѣ побѣждены, все побѣждено, а побѣдителя нѣтъ...

Когда многіе надѣялись, мы говорили имъ, это не выздоровленіе, это румянецъ чахотки. Смѣлые мыслію, дерзкіе на языкъ, мы не побоялись ни изслѣдовать зло, ни высказать его, а теперь выступаетъ холодный потъ на лбу. Я первый блѣднѣю, трушу передъ темной ночью, которая наступаетъ; дрожь пробѣгаетъ по кожѣ при мысли, что наши предсказанія сбываются—такъ скоро, что ихъ совершеніе—такъ неотразимо...

Прощай отходящій міръ, прощай Европа!

— А мы что сдѣлаемъ изъ себя?

...Послѣднія звенья, связующія два міра, не принадлежащія ни къ тому, ни къ другому, люди, отвязавшіеся отъ рода, разлученные со средою, покинутые на себя; люди не нужные, потому что не можемъ дѣлить ни дряхлости однихъ, ни младенчества другихъ, намъ нѣту мѣста ни за однимъ столомъ. Люди отрицанія для прошедшаго, люди отвлеченныхъ построеній въ будущемъ, мы не имѣемъ достоянія ни въ томъ, ни въ другомъ и въ этомъ равно свидѣтельство нашей силы и ея ненужности.

— Идти бы прочь... Своею жизнью начать освобожденіе, протестъ, новый бытъ... Какъ будто мы въ самомъ дѣлѣ такъ свободны отъ стараго? Развѣ наши добродѣтели и наши пороки, наши страсти и, главное, наши привычки не принадлежатъ этому міру, съ которымъ мы развелись только въ убѣжденіяхъ?

Что же мы сдѣлаемъ въ дѣвственныхъ лѣсахъ? Мы, которые не можемъ провести утра, не прочитавъ пяти журналовъ, мы, у которыхъ только и осталось поэзіи въ боѣ съ старымъ міромъ, что... Сознаемся откровенно, мы плохіе Робинзоны.

Развѣ ушедшіе въ Америку не снесли съ собой туда старую Англію?

И развѣ вдали мы не будемъ слышать стоны, развѣ можно отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши, — преднамѣренно не знать, упорно молчать, т. е.

признаться побѣжденнымъ, сдаться? Это невозможно! Наши враги должны знать, что есть независимые люди, которые ни за что не поступятся свободной рѣчью.

Итакъ, пусть раздается наше слово!

...А кому говорить?.. о чемъ?—Я право не знаю, только это сильнѣе меня...

Парижъ, 21 декабря, 1849 г.

III.

Omnia mea mecum porto.

(Отрывки).

Видимая, старая, офиціальная Европа не спитъ,—она умираетъ!

Послѣдніе слабые и болѣзненные остатки прежней жизни едва достаточны, чтобы удержать на нѣсколько времени распадающіяся части тѣла, которыя стремятся къ новымъ сочетаніямъ, къ развитію иныхъ формъ.

Повидимому, еще многое стоитъ прочно, дѣла идутъ своимъ чередомъ, судьи судятъ, церкви открыты, биржи кипятъ дѣятельностью, войска маневрируютъ, дворцы блестятъ огнями,—но духъ жизни отлетѣлъ, на сердцѣ у всѣхъ неспокойно, смерть за плечами и въ сущности ничего не идетъ. Въ сущности нѣтъ ни церкви, ни войска, ни правительства, ни суда,—все превратилось въ полицію. Полиція хранитъ, спасаетъ Европу, подъ ея кровомъ стоятъ троны и алтари, это гальваническая струя, которою насильственно поддерживаютъ жизнь, чтобъ выиграть настоящую минуту. Но разъѣдающій огонь болѣзни не потушенъ, его вогнали только внутрь, онъ скрытъ.

Многіе не видятъ смерти только потому, что они подъ смертью воображаютъ какое-то уничтоженіе. Смерть не уничтожаетъ составныхъ частей, а развязываетъ ихъ отъ *прежняго* единства, даетъ имъ волю существовать при иныхъ условіяхъ. Разумѣется, цѣлая часть свѣта не можетъ сгинуть съ лица земли; она остается такъ, какъ Римъ остался въ среднихъ вѣкахъ; она разойдется, распустится въ грядущей Европѣ и потеряетъ свой теперешній характеръ, подчиняясь новому и съ тѣмъ вмѣстѣ вліяя на него. Наслѣдство, оставленное отцомъ сыну, въ физіологическомъ и гражданскомъ смыслѣ продолжаетъ жизнь отца за гробомъ; тѣмъ не менѣе, между ними *смерть*—такъ, какъ между Римомъ Юлія Цезаря и Римомъ Григорія VII.

Смерть современныхъ формъ гражданственности скорѣе должна радовать, нежели тяготить душу. Но страшно то, что отходящій міръ оставляетъ не наслѣдника, а беременную вдову. Между смертію одного и рожденіемъ другого утечетъ много воды, пройдетъ длинная ночь хаоса и запустѣнія.

Мы не доживемъ до того, до чего дожилъ Симеонъ Богопріимецъ. Какъ ни тяжела эта истина, надобно съ ней примириться, сладить, потому что измѣнить ее невозможно.

Мы довольно долго изучали хилый организмъ Европы, во всѣхъ слояхъ, и вездѣ находили вблизи перстъ смерти и только изрѣдка вдали слышалось пророчество. Мы сначала тоже надѣялись, вѣрили, старались вѣрить. Предсмертная

борьба такъ быстро искажала одну черту за другой, что нельзя было обманываться. Жизнь потухала, какъ послѣднія свѣчи въ окнахъ, прежде разсвѣта. Мы были поражены, испуганы. Сложа руки, мы смотрѣли на страшные успѣхи смерти. Что мы видѣли съ февральской революціи?.. Довольно сказать, мы были молоды два года тому назадъ и стары теперь.

Чѣмъ ближе мы подходили къ партіямъ и людямъ, тѣмъ пустыня около насъ дѣлалась больше, тѣмъ больше становились мы одни. Какъ было дѣлить безуміе однихъ, бездушіе другихъ? Тутъ лѣнь, апатія, тамъ ложь и ограниченность,—силы, мощи нигдѣ; развѣ у нѣсколькихъ мучениковъ, умершихъ за людей, не принеся имъ никакой пользы; у нѣсколькихъ страдальцевъ, распинающихся за толпу, готовыхъ отдать кровь, голову и принужденныхъ беречь то и другое, видя хоръ, которому не нужны эти жертвы.

Потерянные, безъ дѣла въ этомъ мірѣ, который рушился со всѣхъ сторонъ, оглушенные безмысленными спорами, ежедневными оскорбленіями,—мы предавались горю и отчаянію, намъ хотѣлось одного — сложить гдѣ-нибудь усталую голову, не справляясь о томъ, есть-ли сновидѣніе, или нѣтъ.

Но жизнь взяла свое, и вмѣсто отчаянія, вмѣсто желанія гибели, я теперь хочу жить; я не хочу больше признавать себя въ такой зависимости отъ міра, не хочу оставаться на всю жизнь у изголовья умирающаго вѣчнымъ плакальщикомъ.

Неужели въ насъ самихъ совершенно ничего нѣтъ и мы только и были чѣмъ-нибудь—этимъ міромъ, въ немъ, такъ что теперь, когда онъ, попорченный совсѣмъ иными законами, гибнетъ, намъ нѣтъ другого занятія, какъ печально сидѣть на его развалинахъ, другого значенія, какъ служить ему надгробнымъ памятникомъ?

Довольно грустить. Мы отдали міру, что ему принадлежало, мы не скупились, отдавъ ему лучшіе годы наши, полное, сердечное участіе; мы страдали больше него его страданіями. Теперь оботремъ слезы и будемъ мужественно смотрѣть на окружающее. Чтобы намъ, наконецъ, ни представило оно, перенести можно, *должно*. Худшее пережили, а пережитое несчастіе—несчастіе оконченное. Мы успѣли ознакомиться съ нашимъ положеніемъ, мы ни на что не надѣемся, ничего не ждемъ, или, пожалуй, ждемъ всего; это сводится на одно. Насъ можетъ многое оскорбить, сломать, убить,—удивить *ничего*... или всѣ наши думы и слова были только на губахъ.

Корабль идетъ ко дну. Страшна была минута сомнѣнія, когда рядомъ съ опасностью были надежды; теперь положеніе ясно, корабль не можетъ быть спасенъ, остается гибнуть, или спасать себя. Долой съ корабля, на лодки, бревна,—пусть каждый пытаетъ свое счастіе, пробуетъ свои силы. Point d'honneur моряковъ намъ не идетъ.

Вонъ изъ душной комнаты, гдѣ оканчивается длинная, бурная жизнь! Выйдемъ на чистый воздухъ изъ тяжелой, заразительной атмосферы, на поле изъ больничной палаты. Много найдется мастеровъ бальзамировать покойника; еще больше червей, которые поживутъ на счетъ гнили. Оставимъ имъ трупъ, не потому что они хуже или лучше насъ, а потому что они этого хотятъ, а мы не

хотимъ; потому что они въ этомъ живутъ, а мы страдаемъ. Отойдемъ свободно и безкорыстно, зная, что намъ нѣтъ наслѣдства, и не нуждаясь въ немъ.

Въ старые годы этотъ гордый разрывъ съ современностію назвали-бы *бѣгствомъ;* неизлѣчимые романтики и теперь, послѣ всего ряда событій, совершившихся передъ ихъ глазами, назовутъ его такъ.

Но свободный человѣкъ не можетъ бѣжать, потому что онъ зависитъ только отъ своихъ убѣжденій и больше ни отъ чего; онъ имѣетъ право оставаться или идти, вопросъ можетъ быть не о бѣгствѣ, а о томъ, свободенъ ли человѣкъ, или нѣтъ?

Сверхъ того, слово *бѣгство* становится невыразимо смѣшно, обращенное къ тѣмъ, которые имѣли несчастіе заглянуть дальше, уйти впередъ больше, нежели надобно другимъ, и не хотятъ воротиться. Они могли бы сказать людямъ à la Coriolan, не мы бѣжимъ, а вы отстаете, но то и другое нелѣпо. Мы дѣлаемъ свое, люди, окружающіе насъ, свое. Развитіе лица и массъ дѣлается такъ, что они не могутъ взять всей отвѣтственности на себя за послѣдствія. Но извѣстная степень развитія, какъ бы она ни случилась и чѣмъ бы ни была приведена,—обязываетъ. Отрекаться отъ своего развитія, значитъ отрекаться отъ самихъ себя.

Человѣкъ свободнѣе, нежели обыкновенно думаютъ.

Онъ много зависитъ отъ среды, но не настолько, какъ кабалитъ себя ей. Большая доля нашей судьбы лежитъ въ нашихъ рукахъ, стоитъ понять ее и не выпускать изъ рукъ. Понявши, люди допускаютъ окружающій міръ насиловать ихъ, увлекать противъ воли; они отрекаются отъ своей самобытности, опираясь во всѣхъ случаяхъ не на себя, а на него, затягивая крѣпче и крѣпче узы, связующія съ нимъ. Они ожидаютъ отъ міра всего добра и зла въ жизни, они надѣются на себя, на послѣднихъ. При такой ребяческой покорности, роковая сила внѣшняго становится непреодолимой, вступить съ нею въ борьбу кажется человѣку безуміемъ. А между тѣмъ, грозная мощь эта блѣднѣетъ съ того мгновенія, какъ въ душѣ человѣка, вмѣсто самоотверженія и отчаянія, вмѣсто страха и покорности, возникаетъ простой вопросъ: «въ самомъ-ли дѣлѣ онъ такъ скованъ на жизнь и смерть со средою, что онъ и тогда не имѣетъ возможности отъ нея освободиться, когда дѣйствительно съ нею распался, когда ему ничего не нужно отъ нея, когда онъ равнодушенъ къ ея дарамъ?»

Я не говорю, чтобъ этотъ протестъ во имя независимости и самобытности лица былъ легокъ. Онъ не даромъ вырывается изъ груди человѣка, ему предшествуютъ или долгія личныя испытанія и несчастія, или тѣ тяжелыя эпохи, когда человѣкъ тѣмъ больше расходится съ міромъ, чѣмъ глубже его понимаетъ, когда всѣ узы, связующія его съ внѣшнимъ, превращаются въ цѣпи, когда онъ чувствуетъ себя правымъ въ противуположность событіямъ и массамъ, когда онъ сознаетъ себя соперникомъ, чужимъ, а не членомъ большой семьи, къ которой принадлежитъ.

Внѣ насъ все измѣняется, все зыблется, мы стоимъ на краю пропасти и видимъ, какъ онъ осыпается: сумерки наступаютъ и ни одной путеводной звѣзды не является на небѣ. Мы не сыщемъ гавани иначе, какъ въ насъ самихъ, въ со-

знаніи нашей безпредѣльной свободы нашей самодержавной независимости. Спасая себя такимъ образомъ, мы становимся на ту мужественную и широкую почву, на которой только и возможно развитіе свободной жизни въ обществѣ,—если оно вообще возможно для людей.

Когда бы люди захотѣли, вмѣсто того, чтобъ спасать міръ, спасать себя, вмѣсто того, чтобы освобождать человѣчество, себя освобождать,—какъ много бы они сдѣлали для спасенія міра и для освобожденія человѣка.

. . . . . .

Есть эпохи, когда человѣкъ свободенъ *въ общемъ дѣлѣ*. Дѣятельность, къ которой стремится всякая энергическая натура, совпадаетъ тогда съ стремленіемъ общества, въ которомъ она живетъ. Въ такія времена—тоже довольно рѣдкія—все бросается въ круговоротъ событій, живетъ въ немъ, страдаетъ, наслаждается, гибнетъ. Однѣ натуры своеобразно геніальныя, какъ Гете, стоятъ поодаль, и натуры пошло безцвѣтныя остаются равнодушными. Даже тѣ личности, которыя враждуютъ противъ общаго потока, также увлечены и удовлетворены въ настоящей борьбѣ. Эмигранты были столько же поглощены революціей, какъ якобинцы. Въ такое время нѣтъ нужды толковать о самопожертвованіи и преданности,—все это дѣлается само собою и чрезвычайно легко. Никто не отступаетъ, потому что всѣ вѣрятъ. Жертвъ собственно нѣтъ, жертвами кажутся зрителямъ такія дѣйствія, которыя составляютъ простое исполненіе воли, естественный образъ поведенія.

Есть другія времена—и они всего обыкновеннѣе,—времена мирныя, сонныя даже, въ которыя отношенія личности къ средѣ *продолжаются*, какъ они были поставлены послѣднимъ переворотомъ. Они не настолько натянуты, чтобъ лопнуть, не настолько тяжелы, чтобъ нельзя было вынести, и, наконецъ, не настолько исключительны и настойчивы, чтобъ жизнь не могла восполнить главные недостатки и сгладить главныя шероховатости. Въ такія эпохи вопросъ о связи общества съ человѣкомъ не такъ занимаетъ. Являются частныя столкновенія; трагическія катастрофы, вовлекающія въ гибель нѣсколько лицъ; раздаются титаническіе стоны скованнаго человѣка; но все это теряется безслѣдно въ учрежденномъ порядкѣ, признанныя отношенія остаются незыблемыми, покоятся на привычкѣ, на человѣческомъ безпечіи, на лѣни, на недостаткѣ демоническаго начала, критики и ироніи. Люди живутъ въ частныхъ интересахъ, въ семейной жизни, въ ученой, индустріальной дѣятельности, судятъ и рядятъ, воображая, что дѣлаютъ дѣло, усердно работаютъ, чтобъ устроить судьбу дѣтей; дѣти, съ своей стороны, устраиваютъ судьбу своихъ дѣтей, такъ что существующія личности и настоящее какъ-будто стираются и признаютъ себя чѣмъ-то переходнымъ. Подобное время продолжается до сихъ поръ въ Англіи.

Но есть еще и третьяго рода эпохи, очень рѣдкія и самыя скорбныя.

Эпохи, въ которыя общественныя формы, пережившіи себя, медленно и тяжело гибнутъ; исключительная цивилизація достигаетъ не только высшаго предѣла, но даже выходитъ изъ круга возможностей, данныхъ историческимъ бытомъ, такъ что, повидимому, она принадлежитъ будущему, а въ сущности равно

отрѣшена отъ прошедшаго, которое она презираетъ и отъ будущаго, развивающагося по инымъ законамъ. Вотъ тутъ-то и сталкивается лицо съ обществомъ. Прошедшее является, какъ безумный отпоръ. Насиліе, ложь, свирѣпость, корыстное раболѣпство, ограниченность, потеря всякаго чувства человѣческаго достоинства, становятся общимъ правиломъ большинства. Все доблестное былого уже исчезло, дряхлый міръ самъ не вѣритъ въ себя и отчаянно защищается, потому что боится, изъ самосохраненія забываетъ своихъ боговъ, попираетъ ногами права, на которыхъ держался, отрекается отъ образованія и чести, становится звѣремъ, преслѣдуетъ, казнитъ и между тѣмъ сила остается въ его рукахъ; ему повинуются не изъ одной трусости, но изъ того, что съ другой стороны все шатко, ничего не рѣшено, не готово—и главное, что люди не готовы. Съ другой стороны незнакомое будущее восходитъ на горизонтѣ, покрытомъ тучами, будущее, смущающее всякую человѣческую логику. Вопросъ римскаго міра разрѣшается христіанствомъ, религіей, съ которой свободный человѣкъ гибнущаго Рима такъ же мало имѣлъ связей, какъ съ политеизмомъ. Человѣчество, для того, чтобъ двинуться впередъ изъ узкихъ формъ римскаго права, отступаетъ въ германское варварство.

Тѣ изъ римлянъ, которые отъ тягости жизни, гонимые тоской, страхомъ, бросились въ христіанство, спаслись; но развѣ тѣ, которые не меньше страдали, но были тверже характеромъ, достойны порицанія? Могли ли они съ Юліаномъ Отступникомъ стать за старыхъ боговъ или съ Константиномъ за новыхъ? Могли ли они участвовать въ современномъ дѣлѣ, видя куда идетъ духъ времени? Въ такія эпохи свободному человѣку легче одичать въ отчужденіи отъ людей, нежели итти съ ними по одной дорогѣ, ему легче лишить себя жизни, нежели пожертвовать ею.

Неужели человѣкъ менѣе правъ оттого, что съ нимъ никто не согласенъ? Да развѣ умъ нуждается другой повѣрки, какъ умомъ? И съ чего же всеобщее безуміе можетъ опровергнуть личное убѣжденіе?

Мудрѣйшіе изъ римлянъ сошли совсѣмъ со сцены и превосходно сдѣлали. Они разсѣлись по берегамъ Средиземнаго моря, пропали для другихъ въ безмолвномъ величіи скорби, но не пропали для себя,—и черезъ пятнадцать столѣтій мы должны сознаться, что собственно они были побѣдители, они единственные, свободные и мощные представители независимой личности человѣка, его достоинства. Они были *люди*, ихъ нельзя было считать поголовно, они не принадлежали къ стаду и не хотѣли лгать, а не имѣя съ нимъ ничего общаго,—отошли.

А что у насъ общаго съ міромъ, насъ окружающимъ? Нѣсколько лицъ, связанныхъ съ нами одними убѣжденіями, три добродѣтельные человѣка Содома и Гоморры, они въ томъ же положеніи, какъ мы, они составляютъ протестующее меньшинство, сильное мыслью, слабое дѣйствіемъ. Кромѣ ихъ, у насъ съ современнымъ міромъ не больше дѣятельной связи, какъ съ Китаемъ (я на сію минуту опускаю физіологическую связь и привычку). Это до того справедливо, что даже въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда люди произносятъ одни и тѣ же слова съ нами, они ихъ понимаютъ разно. Хотите ли вы *свободы* мон-

таньяровъ, *порядка* законодательнаго собранія, египетскаго устройства работъ коммунистовъ?

Теперь всѣ играютъ съ раскрытыми картами и самая игра чрезвычайно упростилась, ошибиться нельзя, на каждомъ клочкѣ Европы та же борьба, тѣ же два стана. Вы ясно, вполнѣ чувствуете, противъ котораго вы; но чувствуете-ли вы также ясно связь вашу съ другимъ станомъ—какъ отвращеніе и ненависть къ первому?..

«Концы и начала».

„Концы и начала", появившіеся въ 1863 году, это—письма Герцена къ И. С. Тургеневу [1862 г.] Въ письмахъ этихъ идетъ рѣчь объ отношеніяхъ къ западно-европейской жизни и Герценъ упрекаетъ своего друга, что свое увлеченіе западной культурой онъ переноситъ на современныя буржуазныя формы жизни. „Было время, ты защищалъ идеи западнаго міра и дѣлалъ хорошо; жаль только, что это было совершенно ненужно. Идеи Запада, т. е. наука, составляла давнымъ давно всѣми признанный маіоратъ человѣчества... Теперь ты хочешь права маіората перенести и на самыя формы западной жизни и находишь, что исторически выработанный бытъ европейскихъ бель-этажей одинъ соотвѣтствуетъ эстетическимъ потребностямъ развитія человѣка, что онъ только и даетъ необходимыя условія умственной и художественной жизни, что искусство на Западѣ родилось, выросло, ему принадлежитъ и что, наконецъ, другого искусства нѣтъ совсѣмъ".

Герценъ питалъ глубокое отвращеніе къ „быту европейскихъ бель-этажей" и со всѣмъ своимъ сарказмомъ обрушивался на „мѣщанскій" характеръ этого быта.

Изъ письма перваго.

Искусство не брезгливо, оно все можетъ изобразить, ставя на всемъ неизгладимую печать дара духа изящнаго и безкорыстно поднимая, въ уровень Мадоннъ и полу-боговъ, всякую случайность бытія, всякій звукъ и всякую форму, сонную лужу подъ деревомъ, вспорхнувшую птицу, лошадь на водопоѣ, нищаго мальчика, обожженнаго солнцемъ. Отъ дикой, грозной фантазіи ада и страшнаго суда до фламандской таверны съ своимъ отвернувшимся мужикомъ, отъ Фауста до Фобласа, отъ Requiem'а до Камаринской, все подлежитъ искусству... Но и искусство имѣетъ свой предѣлъ. Есть камень преткновенія, который рѣшительно не беретъ ни смычекъ, ни кисть, ни рѣзецъ; искусство, чтобъ скрыть свою немоготу, издѣвается надъ нимъ, дѣлаетъ каррикатуры. Этотъ камень преткновенія—мѣщанство... Художникъ, который превосходно набрасываетъ человѣка совершенно голаго, покрытаго лохмотьями, или до того совершенно одѣтаго, что ничего не видать, кромѣ желѣза или монашеской рясы, останавливается въ отчаяніи передъ *мѣщаниномъ во фракѣ*. Отсюда посягательство Роберту Пилю набросить римскую тогу; съ какого-нибудь банкира снять сюр-

тукъ, галстухъ и отогнуть ему рубашку, такъ что, если бъ онъ послѣ смерти самъ увидѣлъ свой бюстъ, то передъ своей женой покраснѣлъ бы до ушей... Робертъ Маркеръ, Прюдомъ—великія каррикатуры, иногда геніально вѣрныя, вѣрныя до трагическаго у Диккенса, но каррикатуры; далѣе Гогарта этотъ родъ идти не можетъ. Ванъ Дикъ и Рембрандтъ мѣщанства—Пуншъ и Шаривари, это его портретная галлерея и лобное мѣсто. Это—фамильныя *фасты* и позорный столбъ.

Дѣло въ томъ, что весь характеръ мѣщанства, съ своимъ добромъ и зломъ, противенъ, тѣсенъ для искусства; искусство въ немъ вянетъ, какъ зеленый листъ въ хлорѣ; и только всему человѣческому присущія страсти могутъ, изрѣдка врываясь въ мѣщанскую жизнь, или, лучше, вырываясь изъ ея чинной среды, поднять ее до художественнаго значенія.

Чинный—это настоящее слово. У мѣщанства, какъ у Молчалина, два таланта и тѣ же самые:—«умѣренность и аккуратность». Жизнь средняго состоянія полна мелкихъ недостатковъ и мелкихъ достоинствъ; она воздержна, часто скупа, бѣжитъ крайности, излишняго. Садъ превращается въ огородъ, крытая соломой изба въ небольшой уѣздный домикъ съ разрисованными щитами на ставняхъ, но въ которомъ всякій день пьютъ чай и всякій день ѣдятъ мясо. *Это огромный шагъ впередъ*, но вовсе не артистическій. Искусство легче сживается съ нищетой и роскошью, чѣмъ съ довольствомъ, въ которомъ видны бѣлыя нитки, чѣмъ съ удобствомъ, составляющимъ цѣль; если на то пошло, оно ближе съ куртизанкой, продающей себя, чѣмъ съ нравственной женщиной, продающей въ тридорога чужой трудъ, вырванный у голода. Искусству не по себѣ въ чопорномъ, слишкомъ прибранномъ, расчетливомъ домѣ мѣщанина, а домъ мѣщанина *долженъ быть* таковъ; искусство чуетъ, что въ этой жизни оно сведено на роль внѣшняго украшенія, обоевъ, мебели, на роль шарманки; мѣшаетъ—шарманщика прогонятъ, захотятъ послушать—дадутъ грошъ, и квитъ... Искусство, которое по преимуществу изящная соразмѣрность, не можетъ выносить аршина; самодовольная въ своей ограниченной посредственности жизнь запятнана въ его глазахъ самымъ страшнымъ пятномъ въ мірѣ—*вульгарностью*.

Но это не мѣшаетъ всему *образованному* міру идти въ мѣщанство и авангардъ его уже пришелъ. Мѣщанство—идеалъ, къ которому стремится, подымается Европа со всѣхъ точекъ дна. Это та «курица во щахъ», о которой мечталъ Генрихъ IV. Маленькій домъ съ небольшими окнами на улицу, школа для сына, платье для дочери, работникъ для тяжелой работы,—да это въ самомъ дѣлѣ гавань спасенія, Havre de Grace!

Прогнанный съ земли, которую обрабатывалъ вѣка для барина, потомокъ разбитаго въ бою селянина, осужденный на вѣчную каторгу, голодъ, бездомный поденщикъ, батракъ, родящійся нищимъ и нищимъ умирающій,—только дѣлаясь собственникомъ, хозяиномъ, буржуа, отираетъ потъ и безъ ужаса смотритъ на дѣтей; его сынъ не будетъ отданъ въ пожизненную кабалу изъ-за хлѣба, его дочь не обречена ни фабрикѣ, ни публичному дому. Какъ же ему не рваться въ мѣщане? Идеалъ *хозяина*, лавочника—этихъ рыцарей, этихъ поповъ

средняго состоянія—носится свѣтлымъ образомъ передъ глазами поденщика до тѣхъ поръ, пока его заскорузлыя и усталыя руки не опустятся на надломленную грудь и онъ не взглянетъ на жизнь съ тѣмъ ирландскимъ покоемъ отчаянія, которое исключаетъ всякую мечту, всякое ожиданіе, кромѣ мечты о цѣломъ полуштофѣ виски въ слѣдующее воскресенье.

Мѣщанство—послѣднее слово цивилизаціи, основанной на безусловномъ самодержавіи собственности,—демократизація аристократіи, — аристократизація демократіи; въ этой средѣ Альмавива равенъ Фигаро,—снизу все тянется въ мѣщанство, сверху все само падаетъ въ него по невозможности удержаться. Американскіе Штаты представляютъ одно среднее состояніе, у котораго нѣтъ ничего внизу и нѣтъ ничего сверху, а мѣщанскіе нравы остались. Нѣмецкій крестьянинъ—*мѣщанинъ* хлѣбопашества, работникъ всѣхъ странъ — *будущій* мѣщанинъ. Италія, самая поэтическая страна въ Европѣ, не могла удержаться, и тотчасъ покинула своего фанатическаго любовника Маццини, измѣнила своему мужу-геркулесу Гарибальди, лишь только геніальный мѣщанинъ Кавуръ, толстенькій, въ очкахъ, предложилъ ей взять ее на содержаніе.

Съ мѣщанствомъ стираются личности, но стертые люди сытѣе; платья дюжинныя, не заказныя, не по таліи, но число носящихъ ихъ больше. Съ мѣщанствомъ стирается красота природы, но растетъ ея благосостояніе. Античный бѣднякъ изъ Транстевере употребляется на черную работу гунявымъ лавочникомъ Via del Corso.

Толпа гуляющихъ въ праздничный день въ Елисейскихъ поляхъ, Кенсингтонъ—Гарденѣ, собирающихся въ церквахъ, театрахъ, наводитъ уныніе пошлыми лицами, тупыми выраженіями, но для гуляющихъ въ Елисейскихъ поляхъ, для слушающихъ проповѣди Лакордера или пѣсни Левассора до этого дѣла нѣтъ, они даже этого не замѣчаютъ. Но что для нихъ очень важно и замѣтно, это то, что отцы и старшіе братья ихъ не въ состояніи были идти ни на гулянье, ни въ театръ, а они могутъ; что тѣ иногда ѣздили на козлахъ каретъ, а они сами ѣздятъ и очень часто въ фіакрахъ.

Во имя *этого* мѣщанство побѣдитъ и должно побѣдить. Нельзя сказать голодному—тебѣ больше къ липу голодъ, не ищи пищи. Господство мѣщанства—отвѣтъ на *освобожденіе безъ земли*, на открѣпленіе людей и прикрѣпленіе почвы малому числу избранныхъ. Заработавшая себѣ копѣйку толпа одолѣла и по своему жуируетъ и владѣетъ міромъ. Въ сильно обозначенныхъ личностяхъ, въ оригинальныхъ умахъ ей нѣтъ никакой необходимости. Наука не можетъ не натолкнуться на ближайшія открытія. Фотографія, эта шарманка живописи, замѣняетъ артиста; хорошо, если явится художникъ съ творчествомъ, но вопіющей нужды и въ немъ нѣтъ. Красота, талантъ—вовсе ненормальны, это исключеніе, роскошь природы, высшій предѣлъ, или результатъ большихъ усилій, цѣлыхъ поколѣній. Стать лошадей Дерби, голосъ Маріо—рѣдкости. Но хорошая квартира и обѣдъ—необходимость. Въ самой природѣ, можно сказать, бездна мѣщанскаго; она очень часто останавливается на серединѣ на половину,—видно дальше идти духу не хватаетъ. Кто тебѣ сказалъ, что у Европы хватитъ?

Европа провела дурные четверть часа,—мѣщанство чуть не лишилось плодовъ долгой жизни, долгихъ усилій, труда. Внутри человѣческой совѣсти поднялся какой-то неопредѣленный, но страшный протестъ. Мѣщане вспомнили войны свои за права, вспомнили героическія времена и библейскія преданія. Авель, Ремъ, Ѳома Мюнстеръ были еще разъ усмирены, и на ихъ могилахъ еще долго будетъ расти трава, въ предупрежденіе того, какъ караетъ самодержавное мѣщанство. Все съ тѣхъ поръ пришло въ свой порядокъ; онъ кажется проченъ, онъ раціоналенъ изъ своихъ началъ, онъ силенъ ростомъ, но артистическаго смысла, но художественной струны въ немъ не прибыло, онъ ихъ и не ищетъ; онъ слишкомъ практиченъ; онъ согласенъ съ Екатериной II, что серьезному человѣку не идетъ хорошо играть на фортепіанахъ,—императрица тоже смотрѣла на мужчинъ съ *практической* точки зрѣнія. Для цвѣтовъ его гряды слишкомъ унавожены; для его грядъ цвѣты слишкомъ безполезны; если онъ иногда роститъ ихъ, то это на продажу.

Россія, старый міръ и соціализмъ.

Къ книгѣ „Съ того берега“, въ которой Герценъ излилъ свое разочарованіе въ Западномъ мірѣ, непосредственно примыкаютъ тѣ его писанія, въ которыхъ онъ развиваетъ свою вѣру въ Россію: „О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи“, „Русской народъ и соціализмъ“—(Письмо къ Мишле 1851 г.),—„Старый міръ и Россія“ — письмо къ Линтону въ 1854 г.,—„Крещеная собственность“ (1853 г.). Западный рабочій побѣжденъ, здѣсь восторжествовалъ разлагающійся буржуазный міръ, но есть русскій мужикъ, есть русскій народъ и новый, еще юный славянскій міръ. Россія пойдетъ смѣлѣе и дальше къ той цѣли, на пути къ которой остановился Западный міръ. Богатство послѣдняго является препятствіемъ въ его движеніи къ будущему; это—корабль, нагруженный сокровищами, и экипажъ этого корабля, охраняя ихъ, пугливо держится стараго берега, не рѣшается плыть въ открытое море. У русскаго — нѣтъ этихъ сокровищъ, ему нечего терять, онъ можетъ отважно броситься вплавь и плыть къ берегамъ обѣтованной земли. Боясь за свои сокровища, Европа боится перемѣнъ, революцій, застыла въ мѣщанствѣ. Россія не удовольствуется золотой серединой, Россія никогда не будетъ juste-milieu. Она не остановится передъ кореннымъ разрѣшеніемъ соціальнаго вопроса, какъ остановился Западъ. Поэтому для Герцена—русскій вопросъ и вопросъ соціальный составляютъ одинъ и тотъ же вопросъ.

Вотъ мысли, которыя Герценъ со страстью развиваетъ въ первой половинѣ 50-хъ годовъ. Кромѣ внутренней потребности на мѣсто одной разрушенной вѣры поставить другую и найти выходъ изъ отчаянія, была еще и внѣшняя причина, заставившая Герцена въ эти годы такъ горячо говорить о соціалистическомъ призваніи Россіи. Послѣ разгрома 1848—1849 гг. Герценъ жилъ въ международной средѣ эмигрантовъ-революціонеровъ. Въ Лондонѣ, куда Герценъ прибылъ въ 1852 году, нашли пріютъ бѣжав-

шіе революціонеры всѣхъ націй: французы, итальянцы, поляки, венгерцы, нѣмцы. Герценъ среди нихъ былъ единственнымъ представителемъ Россіи. А на Россію здѣсь смотрѣли со страхомъ и ненавистью, какъ на оплотъ реакціи, какъ на угрозу дѣлу освобожденія въ Западной Европѣ. Такое отношеніе было, конечно, Герцену обидно и больно и онъ взялъ на себя задачу оправдать Россію въ глазахъ демократической Европы, показать другую, неоффиціальную сторону Россіи и, увлекаясь своей задачей, онъ— въ противовѣсъ распространенному взгляду на Россію, какъ на опору реакціи, — доказываетъ, что на ней почили надежды революціи.

Письмо къ знаменитому французскому историку Мишле— „Русской народъ и соціализмъ“,—приводимое здѣсь въ отрывкахъ, и письма къ англійскому радикалу Линтону — „Старый міръ и Россія“ (мы приводимъ здѣсь III письмо)—самые яркіе образчики тѣхъ рѣчей, которыя Герценъ произносилъ въ защиту Россіи передъ демократическимъ общественнымъ мнѣніемъ Европы: эти письма появились сначала на французскомъ языкѣ и затѣмъ уже вышли въ Лондонѣ въ русскомъ переводѣ. Появившаяся въ промежутокъ между ними на русскомъ языкѣ „Крещеная собственность“ заключаетъ отчасти тѣ же мысли о русскомъ народѣ, но характеръ этого произведенія совершенно иной, чѣмъ писемъ къ Мишле и къ Линтону. Задача его тоже оправданіе Россіи, но не передъ судомъ западно-европейскаго мнѣнія, а передъ судомъ своей собственной совѣсти. Въ предисловіи ко 2-му изданію „Крещеной собственности“ въ 1856 г. Герценъ писалъ: „Крѣпостное состояніе осталось, какъ было язвой, пятномъ, тѣмъ безобразіемъ русскаго быта, которое смиряетъ насъ и заставляетъ насъ, краснѣя и съ поникшей головой, признаться, что мы ниже всѣхъ народовъ въ Европѣ“.

И вотъ подъ этимъ клеймомъ рабства, о которомъ нельзя говорить не краснѣя, Герценъ разсмотрѣлъ нѣчто, что служитъ залогомъ будущаго развитія русскаго народа — драгоцѣнность, которую утратили западные народы: это — общинное устройство. Въ общинѣ—залогъ соціалистическаго будущаго Россіи.

На общину указываетъ Герценъ и въ своей защитѣ Россіи передъ западно-европейскимъ судомъ. Въ письмѣ къ Мишле онъ пишетъ: „Община спасла русскій народъ отъ монгольскаго варварства, отъ выкроенныхъ по-европейски помѣщиковъ и отъ нѣмецкой бюрократіи. Общинная организація, хоть и сильно потрясенная, устояла противъ вмѣшательства власти; она благополучно дожила до развитія соціализма въ Европѣ“.

Такъ въ творчествѣ Герцена изъ стремленія оправдать русскій народъ и осмыслить его судьбу рождается идея русскаго народничества. Мысли, высказываемыя Герценомъ, роднятъ его съ одной стороны съ будущимъ народничествомъ, а съ другой— со славянофилами. Но коренное отличіе Герцена отъ славянофиловъ въ томъ, что, по его мнѣнію, онъ призванъ лишь осуществить идеалы западнаго человѣчества, а не противопоставить западной идеѣ свою особую славянскую идею, какъ учили славянофилы.

„Я вѣрую—писалъ Герценъ позже Тургеневу — въ способность русскаго народа, я вижу въ бѣдныхъ, подавленныхъ проявленіяхъ его жизни—несознанное имъ средство къ тому общественному идеалу, до котораго сознательно достигла европейская мысль".

Такимъ образомъ и разочаровавшись въ Западѣ, вѣря въ Россію, Герценъ оставался западникомъ.

Русской народъ и соціализмъ.

(Письмо къ И. Мишлэ).

I.

Милостивый государь!

Вы стоите слишкомъ высоко въ мнѣніи всѣхъ мыслящихъ людей, каждое слово, вытекающее изъ вашего благороднаго пера, принимается европейскою демократіею съ слишкомъ полнымъ и заслуженнымъ довѣріемъ, чтобы въ дѣлѣ, касающемся самыхъ глубокихъ моихъ убѣжденій, мнѣ было возможно молчать и оставить безъ отвѣта характеристику русскаго народа, помѣщенную вами въ вашей легендѣ о Костюшкѣ.

Этотъ отвѣтъ необходимъ и по другой причинѣ. Пора показать Европѣ, что, говоря о Россіи, говорятъ не объ отсутствующемъ, не о безотвѣтномъ, не о глухонѣмомъ.

Мы, оставившіе Россію только для того, чтобы свободное русское слово раздалось, наконецъ, въ Европѣ,—мы тутъ на лицо, и считаемъ долгомъ подать свой голосъ, когда человѣкъ, вооруженный огромнымъ и заслуженнымъ авторитетомъ, утверждаетъ, «что Россія не существуетъ, что русскіе не люди, что они лишены нравственнаго смысла».

Если вы разумѣете Россію офиціальную, то вамъ и книги въ руки. Мы соглашаемся впередъ со всѣмъ, что вы намъ скажете. Не намъ тутъ играть роль заступника.

Но не объ одномъ офиціальномъ обществѣ идетъ рѣчь въ вашемъ трудѣ; вы затрагиваете вопросъ болѣе глубокій; вы говорите о самомъ народѣ.

Бѣдный русскій народъ! Некому возвысить голосъ въ его защиту! Посудите сами, могу ли я по совѣсти молчать.

Русскій народъ, милостивый государь, живъ, здоровъ и даже не старъ, напротивъ того, очень молодъ. Умираютъ люди и въ молодости, это бываетъ, но это не нормально.

Прошлое русскаго народа темно; его настоящее ужасно, но у него есть права на будущее. Онъ *не вѣритъ* въ свое настоящее положеніе, онъ имѣетъ дерзость тѣмъ болѣе ожидать отъ времени, чѣмъ менѣе оно дало ему до сихъ поръ.

Самый трудный для русскаго народа періодъ приближается къ концу. Его ожидаетъ страшная борьба; къ ней готовятся его враги.

Великій вопросъ, to be, or not to be, скоро будетъ рѣшенъ для Россіи. Но грѣшно передъ борьбою отчаиваться въ успѣхѣ.

Русскій вопросъ принимаетъ огромные, страшные размѣры; онъ сильно озабочиваетъ всѣ партіи; но мнѣ кажется, что слишкомъ много занимаются Россіею официальной и слишкомъ мало Россіею народной.

Даже, смотря на Россію только съ правительственной точки зрѣнія, не думаете-ли вы, что не помѣшало бы познакомиться поближе съ этимъ неудобнымъ сосѣдомъ, который даетъ чувствовать себя во всей Европѣ? Русское правительство простирается до Средиземнаго моря своимъ покровительствомъ Оттоманской Портѣ, до Рейна своимъ покровительствомъ нѣмецкимъ своякамъ и дядямъ, до Атлантическаго океана своимъ покровительствомъ *порядку* во Франціи.

Не мѣшало бы, говорю я, оцѣнить по достоинству этого всемірнаго покровителя, изслѣдовать, не имѣетъ-ли это странное государство другого призванія, кромѣ роли, принятой петербургскимъ правительствомъ.

Европа приближается къ страшному катаклизму. Средневѣковый міръ рушится. Міръ феодальный кончается. Политическія и религіозныя революціи изнемогаютъ подъ бременемъ своего безсилія; онѣ совершили великія дѣла, но не исполнили своей задачи. Онѣ разрушили вѣру, но не осуществили свободу; онѣ зажгли въ сердцахъ желанія, которыхъ онѣ не въ силахъ исполнить. Парламентаризмъ, протестантизмъ, все это были лишь отсрочки, временное спасеніе, безсильные оплоты противъ смерти и возрожденія. Ихъ время минуло. Съ 1848 г. стали понимать, что ни окостенѣлое римское право, ни хитрая казуистика, ни тощая деистическая философія, ни безплодный религіозный раціонализмъ не въ силахъ отодвинуть совершеніе судебъ общества.

Гроза приближается, этого отвергать невозможно. Въ этомъ соглашаются люди революціи и люди реакціи. У всѣхъ закружилась голова; тяжелый жизненный вопросъ лежитъ у всѣхъ на сердцѣ и сдавливаетъ дыханіе. Съ возрастающимъ безпокойствіемъ всѣ задаютъ себѣ вопросъ, достанетъ-ли силы на возрожденіе старой Европѣ, этому дряхлому Протею, этому разрушающемуся организму. Со страхомъ ждутъ отвѣта, и это ожиданіе ужасно.

Дѣйствительно, вопросъ страшный!

Сможетъ ли старая Европа обновить свою остывающую кровь и броситься стремглавъ въ это необозримое будущее, куда увлекаетъ ее необоримая сила, къ которому она несется безъ оглядки, къ которому путь идетъ, можетъ быть, черезъ развалины отцовскаго дома, черезъ обломки минувшихъ цивилизацій, черезъ попранныя богатства новѣйшаго образованія.

Съ обѣихъ сторонъ вѣрно поняли всю важность настоящей минуты. Европа погружена въ глухой, душный мракъ, наканунѣ рѣшительной битвы. Это не жизнь, а тяжкое, тревожное томленіе. Ни законности, ни правды, ни даже личины свободы; вездѣ неограниченное господство свѣтской инквизиціи; вмѣсто законнаго порядка—осадное положеніе. Одинъ нравственный двигатель управляетъ всѣмъ: страхъ и его достаточно. Всѣ вопросы отступаютъ на второй планъ передъ всепоглощающимъ интересомъ реакціи. Правительства, повидимому, самыя враждебныя сливаются въ единую, вселенскую полицію. Среди этихъ сатурналій, среди этого шабаша реакціи, ничто не охраняетъ болѣе личности отъ

произвола. Даже тѣ гарантіи, которыя существуютъ въ неразвитыхъ обществахъ, въ Китаѣ, въ Персіи, не уважаются болѣе въ столицахъ, такъ называемаго, образованнаго міра.

Едва вѣришь глазамъ. Неужели это та самая Европа, которую мы когда-то знали и любили?

Право, если бы не было свободной и гордой Англіи, «этого алмаза, оправленнаго въ серебро морей», какъ называетъ его Шекспиръ, если-бъ Швейцарія, какъ Петръ, убоявшись кесаря, отреклась отъ своего начала, если-бъ Піемонтъ, эта уцѣлѣвшая вѣтка Италіи, это послѣднее убѣжище свободы, загнанной за Альпы и не перешедшей Апеннины, если-бъ и они увлеклись примѣромъ сосѣдей, если-бъ и эти три страны заразились мертвящимъ духомъ, вѣющимъ изъ Парижа и Вѣны, можно было-бы подумать, что консерваторамъ уже удалось довести старый міръ до конечнаго разложенія, что во Франціи и Германіи уже наступили времена варварства.

Среди этого хаоса, среди этого предсмертнаго томленія и мучительнаго возрожденія, среди этого міра, распадающагося въ прахѣ вокругъ колыбели, взоры невольно обращаются къ востоку.

Тамъ, какъ темная гора, вырѣзывающаяся изъ-за тумана, виднѣется враждебное, грозное царство; порою кажется, оно идетъ, какъ лавина на Европу, что оно, какъ нетерпѣливый наслѣдникъ, готово ускорить ея медленную смерть.

Это царство, совершенно неизвѣстное двѣсти лѣтъ тому назадъ, явилось вдругъ, безъ всякихъ правъ, безъ всякаго приглашенія, грубо и громко заговорило въ совѣтѣ европейскихъ державъ, и потребовало себѣ доли въ добычѣ, собранной безъ его содѣйствія.

Никто не посмѣлъ возстать противъ его притязаній на вмѣшательство во всѣ дѣла Европы.

II.

Увлеченный вашимъ негодованіемъ, вы продолжаете: «У нихъ (у русскихъ) недостаетъ существеннаго признака человѣчности, нравственнаго чутья, чувства добра и зла. Истина и правда не имѣютъ для нихъ смысла; заговорите о нихъ,—они молчатъ, улыбаются и не знаютъ, что значатъ эти слова». Кто же тѣ русскіе, съ которыми вы говорили? Какія понятія о правдѣ и истинѣ оказались для нихъ недоступными? Этотъ вопросъ не лишній. Въ наше глубоко революціонное время слова *правда* и *истина* утратили свое абсолютное, тождественное для всѣхъ значеніе.

Истина и *правда* старой Европы въ глазахъ Европы рождающейся—*неправда* и *ложь*.

Народы—произведенія природы; исторія—прогрессивное продолженіе животнаго развитія. Прилагая нашъ нравственный масштабъ къ природѣ, мы далеко не уйдемъ. Ей дѣла нѣтъ ни до нашей хулы, ни до нашего одобренія. Для нея не существуютъ приговоры и монтіоновскія преміи. Она не подпадаетъ подъ этическія категоріи, созданныя нашимъ личнымъ произволомъ. Мнѣ кажется,

что народъ нельзя назвать ни дурнымъ, ни хорошимъ. Въ народѣ всегда выражается истина. Жизнь народа не можетъ быть ложью. Природа производитъ лишь то, что осуществимо при данныхъ условіяхъ: она увлекаетъ впередъ все существующее своимъ творческимъ броженіемъ, своею неутомимой жаждой осуществленія, этою жаждой, общей всему живущему.

Есть народы, жившіе жизнью до-историческою; другіе, живущіе жизнью внѣ-историческою; но разъ вступивши въ широкій потокъ единой и нераздѣльной исторіи, они принадлежатъ *человѣчеству*, и, съ другой стороны, имъ принадлежитъ все прошлое человѣчества. Въ исторіи, т. е. въ дѣятельной и прогрессивной части человѣчества, мало-по-малу сглаживается аристократія лицеваго угла, цвѣта кожи и другихъ различій. То, что не очеловѣчилось, не можетъ вступить въ исторію; поэтому нѣтъ народа, взошедшаго въ исторію, котораго можно былобы считать стадомъ животныхъ, какъ нѣтъ народа, заслуживающаго именоваться сонмомъ избранныхъ.

Нѣтъ человѣка довольно смѣлаго или довольно неблагодарнаго, чтобы отвергать огромное значеніе Франціи въ судьбахъ европейскаго міра; но позвольте мнѣ откровенно признаться, что я не могу согласиться съ вашимъ мнѣніемъ, по которому участіе Франціи—условіе sine qua non дальнѣйшаго хода исторіи.

Природа никогда не кладетъ весь свой капиталъ на одну карту. Римъ, вѣчный городъ, имѣвшій не меньше правъ на всемірную гегемонію, пошатнулся, разрушился, исчезъ, и безжалостное человѣчество шагнуло впередъ черезъ его могилу.

Съ другой стороны, трудно было бы, не считая природу за осуществленное безуміе, видѣть лишь отверженное племя, лишь громадную ложь, лишь случайный сборъ существъ человѣческихъ только по порокамъ—въ народѣ, разраставшемся въ теченіе десяти столѣтій, упорно хранившемъ свою національность, сплотившемся въ огромное государство, вмѣшивающемся въ исторію гораздо болѣе, можетъ быть, чѣмъ бы слѣдовало.

И все это тѣмъ труднѣе принять, что занимающій насъ народъ, даже по словамъ его враговъ, нисколько не находится въ застоѣ. Это вовсе не племя, дошедшее до общественныхъ формъ, приблизительно соотвѣтствующихъ его желаніямъ и уснувшее въ нихъ, какъ китайцы,—еще менѣе народъ, переживній себя и угасающій въ старческой немощи, какъ индусы. Напротивъ того, Россія—государство совершенно новое, неоконченное зданіе, гдѣ все еще пахнетъ свѣжею известью, гдѣ все работаетъ и вырабатывается, гдѣ ничто еще не достигло цѣли, гдѣ все измѣняется, часто къ худшему, но все-таки измѣняется. Однимъ словомъ, это народъ, по вашему мнѣнію, имѣющій основнымъ началомъ коммунизмъ, сильный раздѣломъ земель...

Въ чемъ, наконецъ, упрекаете вы русскій народъ? Въ чемъ состоитъ сущность вашего обвиненія?

«Русскій, говорите вы, лжетъ и крадетъ; постоянно крадетъ, постоянно лжетъ,—и это совершенно невинно, это въ его природѣ».

Я не останавливаюсь на чрезмѣрномъ обобщеніи вашего приговора, но

обращаюсь къ вамъ съ простымъ вопросомъ: кого обкрадываетъ русскій человѣкъ? Кого, какъ не помѣщика, не чиновника, не управляющаго, не полицейскаго, однимъ словомъ, заклятыхъ враговъ крестьянина, которыхъ онъ считаетъ за басурмановъ, за отступниковъ, за полу-нѣмцевъ? Лишенный всякой возможности защиты, онъ хитритъ съ своими мучителями, онъ ихъ обманываетъ, и въ этомъ совершенно правъ. Хитрость, м. г., по словамъ великаго мыслителя [1]), иронія грубой власти.

Русскій крестьянинъ, при своемъ отвращеніи отъ личной поземельной собственности, такъ вѣрно подмѣченномъ вами, при своей беззаботной и лѣнивой природѣ, мало-по-малу и незамѣтно запутался въ сѣти нѣмецкой бюрократіи и помѣщичьей власти. Онъ подвергся этому унижающему злу съ страдательною покорностію, но онъ не повѣрилъ ни правамъ помѣщика, ни правдѣ судовъ, ни законности исполнительной власти. Онъ покоряется притѣсненію, онъ терпитъ, но не причастенъ ничему, что происходитъ внѣ сельской общины.

III.

Община спасла русскій народъ отъ монгольскаго варварства, отъ выкрашенныхъ по европейски помѣщиковъ и отъ нѣмецкой бюрократіи. Общинная организація, хоть и сильно потрясенная, устояла противъ вмѣшательства власти; она благополучно дожила *до развитія соціализма въ Европѣ*.

Это обстоятельство безконечно важно для Россіи.

Партія движенія, прогресса требуетъ освобожденія крестьянъ; она готова принести въ жертву свои права. Царь колеблется и мѣшаетъ; онъ хочетъ освобожденія и препятствуетъ ему.

Онъ понялъ, что освобожденіе крестьянъ сопряжено съ освобожденіемъ земли; что освобожденіе земли, въ свою очередь, начало соціальной революціи, провозглашеніе сельскаго коммунизма. Обойти вопросъ объ освобожденіи невозможно, отодвинуть его рѣшеніе до слѣдующаго царствованія конечно легче, но въ сущности это нѣсколько *часовъ, потерянныхъ на скверной* почтовой станціи безъ лошадей...

Изъ всего этого вы видите, какое счастіе для Россіи, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастіе для русскаго народа, что онъ остался внѣ всѣхъ политическихъ движеній, внѣ европейской цивилизаціи, которая, безъ сомнѣнія, подкопала бы общину и которая нынѣ сама дошла въ соціализмѣ до самоотрицанія.

Европа, я это сказалъ въ другомъ мѣстѣ, не разрѣшила антиноміи между личностью и государствомъ, но она поставила себѣ задачею это разрѣшеніе. Россія также не нашла этого рѣшенія. Передъ этимъ вопросомъ начинается наше равенство.

Европа, на первомъ шагу къ соціальной революціи, встрѣчается съ этимъ народомъ, которой представляетъ ему осуществленіе полудикое, неустроенное,—

---

[1]) Гегель, въ посмертныхъ сочиненіяхъ.

но все-таки осуществленіе постояннаго дѣлежа земель между земледѣльцами. И замѣтьте, что этотъ великій примѣръ даетъ намъ не образованная Россія, но самъ народъ, его жизненный процессъ. Мы русскіе, прошедшіе черезъ западную цивилизацію, мы не больше, какъ средство, какъ закваска, какъ посредники, между русскимъ народомъ и революціонной Европой. Человѣкъ будущаго въ Россіи—*мужикъ*, точно также, какъ во Франціи работникъ.

IV.

Вы смотрите такъ же неснисходительно на умственное движеніе Россіи, какъ и на народный характеръ; однимъ почеркомъ пера вы вычеркиваете всѣ труды, совершенные до сихъ поръ нашими руками!

Одно изъ лицъ Шекспира, не зная чѣмъ унизить презрѣннаго противника, говоритъ ему: «я сомнѣваюсь даже въ твоемъ существованіи!» Вы пошли далѣе; для васъ несомнѣнно, что русская литература не существуетъ.

Привожу ваши собственныя слова:

«Мы не станемъ придавать важности опытамъ тѣхъ немногихъ умныхъ людей, которые вздумали упражняться въ русскомъ языкѣ и обманывать Европу блѣднымъ призракомъ будто-бы русской литературы. Если-бъ не мое глубокое уваженіе къ Мицкевичу и къ его заблужденіямъ святого, я бы право обвинилъ его за снисхожденіе, (можно даже сказать) за милость, съ которою онъ говоритъ объ этой шуткѣ».

Я напрасно доискиваюсь, м. г., причинъ этого презрѣнія.

Отчего не захотѣли вы прислушаться къ потрясающимъ звукамъ нашей грустной поэзіи, къ нашимъ напѣвамъ, въ которыхъ слышатся рыданія? Что скрыло отъ вашего взора нашъ судорожный смѣхъ, эту безпрестанную иронію, подъ которой скрывается глубоко измученное сердце, которая въ сущности лишь роковое признаніе нашего безсилія?

О какъ бы я хотѣлъ достойнымъ образомъ перевести вамъ нѣсколько стихотвореній Пушкина и Лермонтова, нѣсколько пѣсенъ Кольцова! Вы бы тогда намъ тотчасъ протянули дружескую руку, вы бы первый попросили насъ забыть сказанное вами!

Послѣ крестьянскаго коммунизма ничего такъ глубоко не характеризуетъ Россію, ничто не предвѣщаетъ ей столь великой будущности, какъ ея литературное движеніе.

Послѣдствія человѣческой рѣчи въ Россіи по необходимости придаютъ ей особенную силу. Съ любовью и благоговѣніемъ прислушиваются къ вольному слову, потому что у насъ его произносятъ только тѣ, у которыхъ есть что сказать. Не вдругъ рѣшаешься передавать свои мысли печати, когда въ концѣ каждой страницы мерещится жандармъ, тройка, кибитка, и въ перспективѣ Тобольскъ или Иркутскъ.

Въ послѣдней моей брошюркѣ [1]) я достаточно говорилъ о русской литературѣ; ограничусь здѣсь нѣкоторыми общими замѣчаніями.

---

[1]) Du Développement des Idées révolutionnaires en Russie.

Грусть, скептицизмъ, иронія, вотъ три главныя струны русской лиры.

Когда Пушкинъ начинаетъ одно изъ своихъ лучшихъ твореній этими страшными словами:

Всѣ говорятъ—нѣтъ правды на землѣ...
Но правды нѣтъ—и выше!
Мнѣ это ясно, какъ простая гамма...

не сжимается ли у васъ сердце, не угадываете-ли вы, сквозь это видимое спокойствіе, разбитое существованіе человѣка, уже привыкшаго къ страданію.

Лермонтовъ, въ своемъ глубокомъ отвращеніи къ окружавшему его обществу, обращается на тридцатомъ году къ своимъ современникамъ, съ своимъ страшнымъ:

Печально я гляжу на наше поколѣнье,
Его грядущее иль пусто, иль темно.

Я знаю только одного современнаго поэта, съ такою же мощью затрогивающаго мрачныя струны души человѣческой. Это также поэтъ, родившійся въ рабствѣ и умершій прежде возрожденія отечества. Это пѣвецъ смерти Леопарди, которому міръ казался громаднымъ союзомъ преступниковъ, безжалостно преслѣдующихъ горсть праведныхъ безумцевъ.

Россія имѣетъ только одного живописца, пріобрѣтшаго общую извѣстность, Брюлова. Что же изображаетъ его лучшее произведеніе, доставившее ему славу въ Италіи?

Взгляните на это странное произведеніе.

На огромномъ полотнѣ тѣснятся въ безпорядкѣ испуганныя группы; онѣ напрасно ищутъ спасенія. Онѣ погибнутъ отъ землетрясенія, вулканическаго изверженія, среди цѣлой бури катаклизмовъ. Ихъ уничтожаетъ дикая, безсмысленная, безпощадная сила, противъ которой всякое сопротивленіе невозможно.

Русскій романъ обращается исключительно въ области патологической анатоміи; въ немъ постоянное указаніе на грызущее насъ зло, постоянное, безжалостное, самобытное. Здѣсь не услышите голоса съ неба, возвѣщающаго Фаусту прощеніе юной грѣшницѣ,—здѣсь возвышаютъ голосъ только сомнѣніе и проклятіе. А между тѣмъ, если для Россіи есть спасеніе, она будетъ спасена именно этимъ глубокимъ сознаніемъ нашего положенія, правдивостью, съ которою она обнаруживаетъ это положеніе передъ всѣми.

V.

Настоящій характеръ русской мысли, поэтической и спекулятивной, развивается въ полной силѣ по восшествіи на престолъ Николая. Отличительная черта этого направленія—трагическое освобожденіе совѣсти, безжалостное отрицаніе, горькая иронія, мучительное углубленіе въ самого себя. Иногда все это разражается безумнымъ смѣхомъ, но въ этомъ смѣхѣ нѣтъ ничего веселаго.

Брошенный въ гнетущую среду, вооруженный яснымъ взглядомъ и неподкупной логикой, русскій быстро освобождается отъ вѣры и отъ нравовъ своихъ отцовъ.

Мыслящій русскій—самый независимый человѣкъ въ свѣтѣ. Что можетъ его остановить? Уваженіе къ прошлому?... Но что служитъ исходной точкой новой исторіи Россіи, если не отрицаніе народности и преданія?

Съ другой стороны, прошлое западныхъ народовъ служитъ намъ наученіемъ, и только; мы нисколько не считаемъ себя душеприказчиками ихъ историческихъ завѣщаній.

Мы раздѣляемъ ваши сомнѣнія, но ваша вѣра не согрѣваетъ насъ. Мы раздѣляемъ вашу ненависть, но не понимаемъ вашей привязанности къ завѣщанному предками; мы слишкомъ угнетены, слишкомъ несчастны, чтобы довольствоваться полу-свободой. Васъ связываютъ скрупулы, васъ удерживаютъ заднія мысли. У насъ нѣтъ ни заднихъ мыслей, ни скрупуловъ; у насъ только недостаетъ силы...

Вотъ откуда въ насъ эта иронія, эта тоска, которая насъ точитъ, доводитъ насъ до бѣшенства, толкаетъ насъ впередъ. Мы жертвуемъ собою безъ всякой надежды, отъ желчи, отъ скуки... Въ нашей жизни въ самомъ дѣлѣ есть что-то безумное, но нѣтъ ничего пошлаго, ничего коснаго, ничего мѣщанскаго.

Не обвиняйте насъ въ безнравственности, потому что мы не уважаемъ того, что вы уважаете. Можно-ли упрекать найденыша за то, что онъ не уважаетъ своихъ родителей? Мы независимы, потому что начинаемъ жизнь сызнова. У насъ нѣтъ ничего, кромѣ нашего организма, нашей народности; это наша сущность, наша плоть и кровь, но отнюдь не связывающій насъ авторитетъ. Мы независимы, потому что ничего не имѣемъ. Намъ почти нечего любить. Всѣ наши воспоминанія исполнены горечи.

Какое же намъ дѣло до вашихъ завѣтныхъ обязанностей, намъ, младшимъ братьямъ, лишеннымъ наслѣдства? И можемъ-ли мы по совѣсти довольствоваться вашею изношенною нравственностью, нехристіанскою и нечеловѣческою, существующею только въ риторическихъ упражненіяхъ и въ прокурорскихъ докладахъ? Какое уваженіе можетъ внушать намъ ваша римско-варварская законность, это глухое, неуклюжее зданіе безъ свѣта и воздуха, подновленное въ средніе вѣка, подбѣленное вольноотпущеннымъ мѣщанствомъ? Согласенъ, что дневной разбой въ русскихъ судахъ еще хуже, но изъ этого не слѣдуетъ, что у васъ есть справедливость въ законахъ и судахъ.

Различіе между вашими законами и нашими указами заключается только въ заглавной формулѣ. На насъ лежитъ слишкомъ много цѣпей, чтобы мы добровольно надѣли на себя еще новыя. Мы не принимаемъ ничего отъ нашихъ враговъ.

Россія никогда не будетъ протестантскою.

Россія никогда не будетъ juste-milieu.

Россія никогда не сдѣлаетъ революціи съ цѣлью отдѣлаться отъ царя и замѣнить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими.

Мы, можетъ быть, требуемъ слишкомъ много и ничего не достигнемъ. Можетъ быть, такъ, но мы все-таки не отчаиваемся.

Не слѣдуетъ слѣпо вѣрить въ будущее; каждый зародышъ имѣетъ право на развитіе, но не каждый развивается. Будущее Россіи зависитъ не отъ нея одной. Оно связано съ будущимъ Европы. Кто можетъ предсказать судьбу славянскаго міра въ случаѣ, если реакція и абсолютизмъ окончательно побѣдятъ революцію въ Европѣ?

Быть можетъ, онъ погибнетъ ?

Но въ такомъ случаѣ погибнетъ и Европа...

И исторія перенесется въ Америку...

Старый міръ и Россія.

Письма къ Линтону.

(Письмо третье).

Славянскій міръ гораздо моложе европейскаго.

Онъ моложе политически, точно такъ, какъ Австралія моложе его—геологически. Онъ сложился гораздо позже; онъ еще не развился, онъ еще міръ недавній, и едва только вступающій въ историческій потокъ.

Долгое, вѣковое существованіе ничего не значитъ. Дѣтство народовъ можетъ продолжаться нѣсколько тысячелѣтій, равно какъ и ихъ старость. Славянскіе народы служатъ примѣромъ первому, азіатскіе—второму.

Но на чемъ можно основывать идею, что теперешнее состояніе славянъ есть ихъ дѣтство, а не дряхлость, что это ихъ начало, а не неспособность къ развитію вообще? Не имѣемъ ли мы передъ глазами примѣръ тому, что народы исчезаютъ, не оставляя по себѣ исторіи, да еще и такіе, которые въ свое время доказали, что они не совсѣмъ лишены способностей (финны).

Немного надобно вниманія къ судьбамъ Россіи, чтобъ понять, въ такомъ-ли она положеніи. Страшное тяготѣніе ея на Европу—не признакъ маразма или неспособности, напротивъ—признакъ ея полудикой силы, ея дурно направленной, но бодрой юности.

Съ такимъ характеромъ является она при первомъ появленіи своемъ на порогѣ міра образованнаго.

Въ Парижѣ господствовало регенство, въ Германіи—нѣчто еще худшее; повсюду растлѣніе, изнѣженность, ослабляющій и унижающій развратъ—грубый въ Германіи, утонченный въ Парижѣ.

Въ этой вредной атмосферѣ, заразительныя испаренія которой едва были заглушаемы косметическими благоуханіями, въ этомъ мірѣ наложницъ, незаконнорожденныхъ дочерей, любовниковъ, управляющихъ государствами, середь разслабленныхъ нервовъ, глупорожденныхъ принцевъ и министровъ-плутовъ,—какъ-то становится свѣжѣе при видѣ Петра I, этого рослаго варвара въ простомъ мундирѣ изъ толстаго сукна, этого сѣвернаго человѣка, дюжаго, мускулистаго, полнаго простоты, энергіи и силы. Таковъ былъ первый русскій, занявшій свое мѣсто

между европейскими властелинами. Онъ явился за наукой, и узналъ многое, чего не ожидалъ. Онъ понялъ дряхлость западныхъ государствъ, испорченность ихъ правителей.

Тогда еще не предвидѣлась революція, долженствовавшая спасти міръ; а гибель была передъ глазами. Такъ Петръ I понялъ будущее значеніе Россіи въ отношеніи Европы и роль ея въ Азіи. Справедливо ли, или несправедливо его завѣщаніе, но оно, конечно, содержитъ въ себѣ его *мысли,* которыя онъ нерѣдко повторялъ въ своихъ замѣчаніяхъ и запискахъ. Русское правительство, до Николая, оставалось вѣрнымъ традиціи Петра I, даже и самъ Николай слѣдовалъ ей въ внѣшней политикѣ.

Россію можно ненавидѣть, можно проклинать,—но можно ли утверждать, что она стара, остановилась, одряхлѣла?

Говорятъ, что русскій народъ неподвижно сидитъ въ своемъ углу въ то время, какъ правительство дѣлаетъ въ Петербургѣ, что хочетъ. Нѣмецкіе писатели выводятъ изъ этого, что народъ русскій косный, азіатскій, не имѣетъ ничего общаго съ правительственной дѣятельностью; что это полудикое племя *дипломатически* завоевано нѣмцами, которые ведутъ его, куда хотятъ. Надобно отдать справедливость нѣмецкимъ побѣдамъ; это самыя величайшія и самыя безкровныя въ мірѣ. Нѣмцы не довольствуются своимъ материнскимъ правомъ на Англію и Сѣверную Америку (Stamverwand!), они, сверхъ того, завоевали всю Россію, *рыцарями* Остзейскихъ губерній, тучами генераловъ, дипломатовъ, шпіоновъ и другихъ сановниковъ нѣмецкаго происхожденія.

Дѣйствительно, правленіе петербургское не національно. Но и цѣль реформы Петра I была *денаціонализація* московской Руси. Пассивная оппозиція и своего рода неподвижность народа тоже факты неоспоримые. Но, съ другой стороны, русскій народъ невольно составляетъ живую и сильную основу правительству. Народъ смотритъ на него, какъ на представителя своего національнаго единства, своей силы.

Ничто въ Россіи не имѣетъ того характера застоя или смерти, который постоянно и утомительно встрѣчается въ неизмѣняемыхъ повтореніяхъ одного и того же, изъ рода въ родъ, у старыхъ народовъ Запада. По неспособности народа къ какой-либо переходной формѣ, справедливо ли заключать о всеобщей неспособности его къ развитію?

Славянскіе народы собственно не любятъ ни государства, ни централизаціи. Они любятъ жить въ разбросанныхъ общинахъ, удаляясь какъ можно больше отъ всякаго вмѣшательства со стороны правительства. Петербургскій періодъ—тяжкій искусъ, трудное воспитаніе въ государственную жизнь. Онъ насильно сдѣлалъ большую пользу Россіи, соединивъ части ея и спаявъ ихъ въ одно цѣлое.

Народъ русскій—народъ земледѣльческій. Улучшеніе быта собственниковъ въ Европѣ принесло почти исключительно пользу однимъ горожанамъ; для крестьянъ революція только окончательно уничтожила крѣпостное состояніе и раздробила поземельную собственность. Раздѣлъ земли въ Россіи былъ бы смертельнымъ ударомъ ея общинному устройству.

Въ Россіи нѣтъ ничего оконченнаго, окаменѣлаго; все въ ней находится еще въ состояніи раствора, приготовленія. Гакстгаузенъ справедливо выразился, что въ Россіи всюду видно «недоконченность, ростъ, начало». Да, всюду чувствуешь известь, слышишь пилу и топоръ.

...Но должна ли Россія пройти всѣми фазами европейскаго развитія, или ея жизнь пойдетъ по инымъ законамъ? Я совершенно отрицаю необходимость этихъ повтореній. Мы, пожалуй, должны пройти трудными и скорбными испытаніями историческаго развитія нашихъ предшественниковъ, но такъ, какъ зародышъ проходитъ до рожденія всѣ низшія ступени зоологическаго существованія. Оконченный трудъ и добытый результатъ входятъ въ общее достояніе всѣхъ понимающихъ, это—круговая порука прогресса, маіоратъ человѣчества. Я знаю, что результатъ самъ по себѣ не передается, по крайней мѣрѣ безполезенъ,—результатъ дѣйствителенъ, какъ послѣдствіе цѣлаго логическаго развитія.

Всякій школьникъ долженъ самъ найти рѣшеніе Евклидовыхъ предложеній, но какая огромная разница между трудомъ Евклида, открывшаго ихъ, и трудомъ ученика нашего времени!

Россія продѣлала свою революціонную эмбріогенію въ «европейскомъ классѣ». Дворянство съ правительствомъ представляютъ у насъ европейское государство въ славянскомъ. Мы прошли всѣ фазисы политическаго воспитанія, начиная отъ нѣмецкаго конституціонализма, отъ англійскаго канцелярскаго монархизма до поклоненія 93 году. Подраженіе наше было похоже на оберрацію звѣздъ, которая въ маломъ видѣ передаетъ намъ путь, проходимый земнымъ шаромъ по своей орбитѣ.

Народу русскому не нужно начинать снова этотъ тяжкій трудъ. Зачѣмъ ему проливать кровь свою для достиженія тѣхъ полурѣшеній, до которыхъ мы дошли и которыхъ вся важность состоитъ только въ томъ, что мы черезъ нихъ дошли до иныхъ вопросовъ, до новыхъ стремленій.

Мы за народъ отбыли эту тягостную работу, мы поплатились за нее.

Въ Европѣ не подозрѣваютъ о страшныхъ мученіяхъ, въ которыхъ сломились, изныли два послѣднія поколѣнія. Гнетъ становится день отъ дня сильнѣе, тягостнѣе, обиднѣе; надо прятать свою мысль, удерживать біеніе сердца... И среди этой мертвой тишины, вмѣсто утѣшенія, опоры, мы увидѣли бѣдность революціонной идеи и равнодушіе къ ней народа.

Вотъ источникъ той мрачной тоски, того разлагающаго скептицизма, той тягостной ироніи, которые составляютъ характеръ русской поэзіи. Кто молодъ, кто имѣетъ теплое сердце, тотъ ищетъ какъ-нибудь забыться, усыпить себя чѣмъ-нибудь,—люди талантливые умираютъ на полъ-дорогѣ, сосланные или сами добровольно удаляющіеся отъ всякаго участія въ страшныхъ дѣлахъ. Объ нихъ и объ ихъ ужасной кончинѣ говорятъ, потому что многіе слышали, какъ билась ихъ голова объ мѣдный сводъ, душившій ихъ, потому что имъ удалось, по крайней мѣрѣ, заявить свою силу... Но сотни другихъ, которые съ отчаяніемъ сложили руки, морально убили себя, отправились на Кавказъ, заперлись въ своихъ имѣ-

ніяхъ, не выходятъ изъ игорныхъ или публичныхъ домовъ,—всѣ эти *лѣнтяи*, о которыхъ никто не пожалѣлъ, никто не свѣдалъ,—страдали не меньше ихъ!

Для дворянства наступаетъ конецъ этого искуса. Образованная Россія должна возвратиться къ народу. Русскій народъ собственно стали узнавать только послѣ революціи 1830 года. Съ удивленіемъ увидѣли, что русскій человѣкъ, равнодушный, неспособный ко всѣмъ политическимъ вопросамъ, бытомъ своимъ ближе всѣхъ европейскихъ народовъ подходитъ къ новому соціальному устройству. Можетъ, вы скажете на это, что въ этомъ русскій походитъ на нѣкоторые азіатскіе народы, и укажете на сельскія общины у индусовъ, довольно схожія съ нашими. Я и не отвергаю, чтобы у азіатскихъ народовъ не было соціальныхъ элементовъ, и даже можетъ больше, нежели у западныхъ народовъ. Не общинное устройство держитъ азіатскіе народы въ неподвижности, а ихъ исключительная народность, ихъ невозможность выйти изъ патріархализма, освободиться отъ рода;—мы не въ томъ положеніи.

Славянскіе народы, напротивъ, имѣютъ большую удобовпечатляемость; они легко усваиваютъ себѣ языки, обычаи, искусства и технику другихъ народовъ. Они равно обживаются у Ледяного океана и на берегахъ Чернаго моря.

Въ образованной Россіи (какъ она ни оторвана отъ народа, но все-таки въ ней есть черты его характера) вы не найдете той капризной упорности старой женщины, того упрямаго непониманія, которыя на каждомъ шагу встрѣчаются въ старомъ свѣтѣ.

Съ изумленіемъ останавливаемся мы передъ китайскими стѣнами, которыя межуютъ Европу. Англія и Франція едва имѣютъ понятіе объ умственномъ движеніи Германіи. Еще больше, эти два европейскіе Китая, отдаленные только на нѣсколько часовъ ѣзды, связанные между собой безпрерывною торговлею, плохо знаютъ другъ друга: Парижъ и Лондонъ дальше другъ отъ друга, нежели Лондонъ и Нью-Іоркъ. Англичанинъ, простолюдинъ, смотритъ на француза съ дикой ненавистью и съ видомъ тупого превосходства; французъ отвѣчаетъ ему жалкимъ презрѣніемъ.

Англійскій буржуа надоѣдаетъ вопросами, открывающими такое глубокое незнаніе сосѣдняго края, что стыдно отвѣчать. Французъ, проживши пять лѣтъ въ Лейстеръ-скверѣ или въ Соо, ничего не понимаетъ, что дѣлается вокругъ него. И въ то же время германская наука, которая не въ состояніи перейти за Рейнъ, очень хорошо доходитъ до береговъ Волги и за нихъ; поэзія Шекспира и Байрона, не выносящая переѣзда черезъ Ла-Маншъ, доплываетъ живо и невредимо до береговъ Балтійскихъ. И все это дѣлается, не забудьте еще, подъ гнетомъ ревниваго правительства, употребляющаго всѣ средства, чтобъ отдалить насъ отъ Европы.

Наше домашнее и общественное воспитаніе имѣетъ въ себѣ тотъ же универсальный характеръ; нѣтъ воспитанія *менѣе* религіознаго, чѣмъ наше, и *болѣе* полиглотнаго. Реформа Петра I, въ высшей степени реалистическая, свѣтская и вообще европейская, дала ему этотъ характеръ. Каѳедры теологіи учреждены были въ нашихъ университетахъ только со временъ Александра I, и то въ по-

слѣдніе годы его царствованія. Что же касается до изученія новыхъ языковъ, то это такъ взошло въ нравы, что невозможно искоренить. Даже правительство многоязычно: офиціальныя газеты печатаются по-русски, по-французски и по-нѣмецки.

Наше воспитаніе не имѣетъ ничего общаго съ тою средою, для которой человѣкъ назначенъ,—и это превосходно. Образованіе у насъ отдаляетъ молодого человѣка отъ безнравственной почвы, оно его гуманизируетъ, и необходимо ставитъ его въ оппозицію съ офиціальной Россіей. Онъ отъ этого много страдаетъ и этими страданіями заглаживаетъ ошибки и преступленія отцовъ своихъ. Но самыя тяжкія времена распаденія проходятъ: развитое меньшинство встрѣчается съ народомъ тогда, когда оно вовсе того не ожидало.

Съ удивленіемъ слушали у васъ наши разсказы о русской общинѣ, раздѣлѣ полей, міровыхъ сходкахъ, объ работничьихъ артеляхъ, объ избранныхъ старостахъ. Многіе думали, что все это мечты, соціалистическій бредъ.

Но является человѣкъ вовсе не революціонерный и издаетъ три тома о сельской общинѣ въ Россіи. Гакстгаузенъ, католикъ, прусскій баронъ, агрономъ, и до такой степени *радикальный* монархистъ, что, по словамъ его, прусскій король слишкомъ либераленъ.

Факты, нами указанные, описаны имъ in extenso. Я не намѣренъ повторять здѣсь того, что я уже говорилъ о начальной организаціи этого self-governement общинъ, гдѣ все избирательно, гдѣ всѣ владѣльцы, а земля не принадлежитъ никому, гдѣ пролетаріатъ—исключеніе.

Теперь вы легко увидите, что русскій народъ, подавленный рабствомъ, не можетъ идти по колеѣ европейскихъ народовъ, повторяя ихъ прошлыя революціи, исключительно городскія, и которыя тотчасъ пошатнули бы основанія его общинной организаціи.

Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное self-governement по городамъ и всему государству, сохраняя народное единство,—вотъ въ чемъ состоитъ вопросъ о будущемъ Россіи, т. е. вопросъ той же соціальной антиноміи, которой рѣшеніе занимаетъ и волнуетъ умы Запада.

Государство и отдѣльная личность, власть и свобода, коммунизмъ и эгоизмъ (въ обширномъ смыслѣ слова)—вотъ геркулесовы столбы великой борьбы, великой революціонной эпопеи.

Европа даетъ рѣшеніе изуродованное и отвлеченное.

Россія—изуродованное и дикое.

Будущее никогда не формируется вполнѣ прежде своего осуществленія.

Народы англо-саксонскіе освободили лицо насчетъ общественной круговой поруки, обособляя человѣка. Русскій народъ сохранилъ общинное устройство, отрицая личность, поглощая человѣка.

Развитіе личнаго права—закваска, долженствующая привести въ броженіе массу силъ, дремлющихъ въ бездѣйствіи общинно-патріархальнаго порядка. Личное начало входитъ въ русскую жизнь инымъ путемъ, оно осуществилось въ лицѣ царя, отрицающаго традиціи и національность, разрушающаго единство народное внутреннимъ расщепленіемъ.

Русская имперія—твореніе XVIII вѣка; все, что было начато въ это время, носитъ въ себѣ зародышъ революціонный.

Холостой дворецъ Фридриха II и смирительный домъ, служившій дворцомъ отцу его, вовсе не были такъ монархически, какъ Эскуріалъ и Тюльери. Въ новыхъ государствахъ воздухъ вѣялъ рѣзкій, утренній; въ нихъ вообще все сухо, просто, положительно, раціонально; а это именно убиваетъ религіозный и монархическій духъ.

Петръ I круто отбросилъ традиціи византино-московскія. Онъ предпочиталъ власть престолу; онъ дѣйствовалъ болѣе страхомъ, нежели величіемъ, и ненавидѣлъ mise en scêne, необходимую для монархіи.

Императрицу Екатерину II пугали нѣмота и всемогущество, безпредѣльная покорность исполнителей и рабовъ, до того безмысленно повинующихся, что ихъ покорность переживаетъ приказывающаго. Она старалась внушить дворянству болѣе независимыя понятія, желая окружить ихъ людьми, добровольно преданными ей, на которыхъ она могла-бы надѣяться. Молчаніе писарей и исполнителей страшило супругу Петра III.

Попытки ея новыхъ учрежденій дѣйствительно были замѣчательны. Никто серьезно не вглядывался въ ихъ эксцентрическій характеръ, въ нихъ было странное соединеніе демократизма и аристократизма, деспотизма и представительства, Іоанна Грознаго и Монтескье.

Всѣ эти учрежденія носятъ двойную печать—петровскаго періода и не сложившихся національныхъ стремленій, усовершенствованныхъ развивающейся идеей западной гражданственности.

Судьи *выбираются*, и выбираются на нѣсколько лѣтъ; они принадлежатъ дворянству, мѣщанству и крестьянамъ; *судебнаго сословія* вовсе нѣтъ. Имѣющій право участвовать въ выборахъ можетъ быть выбранъ въ судьи. Отсутствіе судебнаго сословія—фактъ замѣчательный. Однимъ врагомъ у насъ меньше—да еще какимъ врагомъ! *Другого* чернаго человѣка, свѣтскаго священника, тайнаго жреца *Закона человѣческаго,* имѣющаго монополь судить, приговаривать, понимать ratio scripta,—у насъ нѣтъ. Конечно, смѣшно видѣть отставного кавалерійскаго офицера выбраннымъ въ судьи, не понимающаго ни законовъ, ни процедуры; но, съ другой стороны, печально предполагать всѣхъ людей неспособными разобрать дѣло, исключая касты *знатоковъ* по обязанности воспитанныхъ ad hoc. Ежели выбранные судьи не хороши, тѣмъ хуже для избирателей,—они должны знать, что дѣлаютъ. Но, скажутъ намъ, юристомъ не сдѣлаешься безъ ученія; законы такъ сложны, что надобно много, большихъ занятій, чтобъ не заблудиться въ этомъ лабиринтѣ... Это справедливо,—но изъ этого не слѣдуетъ, что съ самаго дѣтства нужно приготавливать спеціальный классъ для пониманія законовъ, а напротивъ, то, что слѣдуетъ бросить всѣ эти запутанные законы. Отношенія людей просты, формальность, судейскіе обычаи, вся эта поэзія адвокатовъ, всѣ fioriture юриспруденціи только запутываютъ вопросы.

Въ Россіи судъ первыхъ инстанцій составленъ изъ члена, выбраннаго дворянствомъ, другого выбраннаго мѣщанами и третьяго вольными крестьянами. Два

кандидата выбираются дворянствомъ для должности предсѣдателя уголовной палаты. Правительство назначаетъ одного изъ нихъ и, съ своей стороны, посылаетъ прокурора, имѣющаго право останавливать всякое рѣшеніе и пересылать его въ сенатъ.

Ежели вы вспомните, что прокуроръ принадлежитъ также дворянству, то вы ясно увидите, что дѣйствія мѣщанскаго члена и члена изъ крестьянъ подавлены во всѣхъ случаяхъ разногласія. Они имѣютъ полное право протестовать и внести дѣло на разсмотрѣніе въ сенатъ. Но это случается очень рѣдко по очевидной причинѣ: сенатъ, не имѣющій никакого элемента, ни народнаго, ни избирательнаго, всегда за одно съ дворянами или съ правительствомъ; это такъ, но мы говоримъ о нормѣ, а не о злоупотребленіяхъ, и я обращаю вниманіе на возможное развитіе ея въ будущемъ, а не на современное положеніе.

Десять лѣтъ тому назадъ въ московскіе головы былъ избранъ человѣкъ безкорыстный и строгій. Обязанность городского главы состоитъ въ надзорѣ за городскими суммами; онъ распоряжается городскими приходами и расходами. Обыкновенно на эти мѣста выбираютъ какого-нибудь милліонера, любящаго выказываться въ офиціальныхъ празднествахъ, давать чудовищные обѣды и балы, подписывающаго все, что угодно правительству и чего хочетъ начальство. Московскій городской голова Шестовъ иначе понялъ обязанность, на него возложенную: онъ подрѣзалъ крылья офиціальныхъ воровъ, оберъ-полицмейстеръ объявилъ ему отчаянную войну. Глава принялъ вызовъ и битва кончилась паденіемъ оберъ-полицмейстера.

Но не одни судьи избирательные,—земская полиція тоже избирательная. Исправникъ и засѣдатели или становые выбираются дворянствомъ.

Уѣздная полиція оканчивается внизъ сельской общиной—съ своимъ a parte, съ избраннымъ старостой, съ своей избранной полиціей, съ своимъ поглощеніемъ личности во имя традиціоннаго и національнаго коммунизма. За губернскими выборными мѣстами вверхъ начинается правительственная централизація; въ ней теряется всякій слѣдъ самобытнаго права.

Итакъ, идеи личнаго права и идеи независимости могутъ проявиться у насъ только въ дворянствѣ или въ среднемъ сословіи.

Вліяніе мѣщанства не имѣетъ того значенія въ Россіи, какъ въ Европѣ, не только оттого, что развитіе промышленности до сей поры незначительно, но и потому, что высшее мѣщанство или купечество легко получало личное дворянство.

Мало знаемъ мы нравственныя силы мѣщанства. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ можно было ихъ видѣть, оно показывало себя отсталымъ, точно консервативнымъ, православнымъ, раболѣпнымъ и тяжело патріотическимъ. Угнетенное, всего боящееся, оно скрывало свои богатства, пряталось само, молчало, жило назаперти, строило церкви, раздавало милостыню бѣднымъ и заточеннымъ, давало взятки чиновникамъ и копило милліоны.

Новое поколѣніе, получившее образованіе, можетъ быть, пойдетъ по другой дорогѣ и приметъ иныя идеи.

У насъ дворянство больше администрація, чѣмъ аристократія. Родъ, графскій и княжескій титулъ, древность имени и величина владѣній не даютъ никакихъ особенныхъ привилегій, связанныхъ исключительно съ чинами. Есть повѣрье, что ежели два поколѣнія дворянъ не служили, то правительство можетъ лишить ихъ дворянства.

Эта всеобщность службы даетъ ей самой иное значеніе. Служить въ Россіи не значитъ, какъ во Франціи быть агентомъ, âme damnée власти. Общественное мнѣніе не смѣшиваетъ дѣйствительно преданныхъ чиновниковъ, полныхъ рвенія, служащихъ *по вкусу*, съ чиновниками, не имѣющими этихъ качествъ. Первыхъ иногда боятся, но никогда не уважаютъ. Другіе же составляютъ все независимое общество въ столицахъ и губерніяхъ. Классъ этотъ довольно обширенъ, ежели причислить къ нему военныхъ, вообще меньше раболѣпныхъ, нежели гражданскіе чиновники, людей, вышедшихъ въ отставку 25 или 26 лѣтъ и живущихъ въ своихъ имѣніяхъ и служащихъ только по выборамъ.

Вотъ въ этой-то средѣ наше общее и полиглотное воспитаніе образовало, можетъ быть, самыхъ независимыхъ людей въ Европѣ. Отсутствіе свободы слова, необходимость быть ежеминутно насторожѣ, пріучили ее къ внутренней, смѣлой и безжалостной работѣ. Новая литература иногда высказывала долю затаенныхъ страстей, наполняющихъ грудь русскаго человѣка. Безъ страха и жалости дошли передовые люди до соціальныхъ идей въ политикѣ, до реализма въ наукѣ, до отрицанія и скептицизма въ философіи.

Соціализмъ—революціонная идея можетъ у насъ сдѣлаться народною. Въ то время какъ въ Европѣ соціализмъ принимается за знамя безпорядка и ужасовъ, у насъ, напротивъ, онъ является радугой, пророчащей будущее народное развитіе.

Теперь, ознакомившись съ элементами русской жизни, вы поймете, что Россіи невозможно сдѣлать шага впередъ, не вступая въ какой-нибудь внутренній переворотъ или въ европейскую войну.

Освобожденіе крестьянъ, дѣло столь простое въ прочихъ государствахъ, невозможно у насъ *безъ уступки крестьянамъ земли, а освобожденіе съ землей*—лишеніе значительной собственности дворянства. Условія дворянскаго быта должны перемѣниться съ освобожденіемъ, а съ ними и его отношенія къ правительству; не забудьте, что судъ и полиція внѣ городовъ принадлежатъ дворянству, и дворянство всякой губерніи организовано въ совѣщательныя собранія и привыкло правильно собираться въ назначенные сроки.

Ежели бы на русскомъ престолѣ былъ дѣйствительно энергическій человѣкъ, то онъ былъ-бы главнымъ двигателемъ освобожденія крестьянъ; онъ покрылъ-бы величайшею славою конецъ петербургскаго періода, онъ самъ бы далъ направленіе неминуемому событію. Но для этого нуженъ Петръ I.

Крещеная собственность.

I.

Съ дѣтскихъ лѣтъ я безконечно любилъ наши села и деревни, я готовъ былъ цѣлые часы, лежа гдѣ-нибудь подъ березой или липой, смотрѣть на почернѣлый рядъ скромныхъ бревенчатыхъ избъ, тѣсно прислоненныхъ другъ къ другу, лучше готовыхъ вмѣстѣ сгорѣть, нежели распасться; слушать заунывныя пѣсни, раздающіяся во всякое время дня, вблизи, вдали... съ полей несетъ сытнымъ дымомъ овиновъ, свѣжимъ сѣномъ, изъ лѣсу вѣетъ смолистой хвоей и скрипитъ запрещенный колодезь, опуская бадью, и гремитъ по мосту порожняя телѣга, подгоняемая молодецкимъ окрикомъ...

Въ нашей бѣдной, сѣверной, долинной природѣ есть трогательная прелесть, особенно близкая нашему сердцу. Сельскіе виды наши не задвинулись въ моей памяти ни видомъ Соренто, ни римской Кампаніей, ни насупившимися Альпами, ни богато воздѣланными фермами Англіи. Наши безконечные луга, покрытые ровной зеленью, успокоительно хороши, въ нашей стелящейся природѣ что-то мирное, довѣрчивое, раскрытое, беззащитное и кротко грустное... Что-то такое, что поется въ русской пѣснѣ, что кровно отзывается въ русскомъ сердцѣ.

И какой славный народъ живетъ въ этихъ селахъ! Мнѣ не случалось еще встрѣчать такихъ крестьянъ, какъ наши великоруссы и украинцы.

Оно и немудрено. Жизнь европейская пренебрегала деревней, она бойко шла въ замкѣ, потомъ въ городѣ, деревня служила пастбищемъ, кормомъ. Западный крестьянинъ—выродившійся кельтъ, побѣжденный галлъ, германецъ, побитый другимъ германцемъ. По городамъ побѣдители мѣшались съ побѣжденными; съ земледѣльцами никто не мѣшался, пока они оставались земледѣльцами. Тамъ, гдѣ побѣда пронеслась надъ головой прежняго населенія, не осѣла на немъ или не могла до него добраться, тамъ крестьяне и не таковые, напр., въ Романьи, въ Калабріи, въ Испаніи, въ горахъ Шотландіи, Швейцаріи, Норвегіи.

Крестьянинъ на западѣ вообще однодворецъ; если онъ богатѣетъ, то онъ дѣлается первымъ мѣщаниномъ, такъ, какъ, наоборотъ, въ прежнее время русскіе купцы, пріобрѣтая милліоны, оставались по нравамъ и обычаямъ тѣми же крестьянами.

Деревенскіе мѣщане собственники составляютъ на западѣ слой народонаселенія, который тяжело налегъ на сельскій пролетаріатъ и душитъ его по мелочи и на чистомъ воздухѣ, такъ, какъ фабриканты душатъ работниковъ гуртомъ въ чаду и смрадѣ своихъ рабочихъ домовъ.

Сословіе сельскихъ собственниковъ почти вездѣ отличается изувѣрствомъ, несообщительностью и скупостью; оно сидитъ назаперти въ своихъ каменныхъ избахъ, далеко разбросанныхъ и окруженныхъ полями, отгороженными отъ сосѣдей. Поля эти имѣютъ видъ заплатъ, положенныхъ на землѣ. На нихъ работаетъ батракъ, бобыль, словомъ сельскій пролетарій, составляющій огромное большинство всего полевого населенія.

Мы, совсѣмъ напротивъ, государство сельское, наши города большія деревни, тотъ же народъ живетъ въ селахъ и городахъ; разница между мѣщанами и крестьянами выдумана петербургскими нѣмцами. У насъ нѣтъ потомства побѣдителей, завоевавшихъ насъ, ни раздробленія полей въ частную собственность, ни сельскаго пролетаріата; крестьянинъ нашъ не дичаетъ въ одиночествѣ, онъ вѣчно на міру и съ міромъ, коммунизмъ его общиннаго устройства, его деревенское самоуправленіе дѣлаютъ его сообщительнымъ и развязнымъ.

При всемъ томъ половина нашего населенія гораздо несчастнѣе западнаго, мы встрѣчаемъ въ деревняхъ людей сумрачныхъ, печальныхъ, людей, которые тяжело и невесело пьютъ зеленое вино, у которыхъ подавленъ разгульный славянскій нравъ, на ихъ сердцѣ лежитъ очевидно тяжкое горе.

Это горе, это несчастіе—крѣпостное состояніе.

Сельскій пролетарій и крѣпостной мужикъ два страшные обличителя двухъ страшныхъ неправдъ нашего времени...

Видѣли-ли вы литографію, изданную А. Мицкевичемъ и представляющую «Славянскаго невольника»?

Ненависть, смѣшанная со злобой и стыдомъ, наполняетъ мое сердце, когда я гляжу на этотъ жесткій упрекъ.

Бѣлорусскій мужикъ, безъ шапки, обезумѣвшій отъ страха, нужды и тяжкой работы, руки на поясѣ, стоитъ середь поля и какъ-то косо и безнадежно смотритъ внизъ. Десять поколѣній, замученныхъ на барщинѣ, образовали такого парію, его черепъ сузился, его ростъ измельчалъ, его лицо съ дѣтства покрылось морщинами, его ротъ судорожно скривленъ, онъ отвыкъ отъ слова. Звѣриный взглядъ и запуганное выраженіе показываютъ, на сколько шаговъ онъ пошелъ вспять отъ человѣка къ животнымъ.

За это преступленіе, за этого бѣлорусса его паны не свободны, за него ихъ геройство, ихъ мученичество, ихъ страданія не были приняты.

По другую сторону Европы стоитъ своего рода бѣлорусскій пахарь, его надобно самому видѣть, слово человѣческое не беретъ такого ужаса и не можетъ выразить. Какъ разсказать пепельный, тусклый, матовый цвѣтъ лица, тряпья волосъ ирландскаго пролетарія, выгнаннаго или *выжженнаго* помѣщикомъ изъ своей деревни за недоимку и не успѣвшаго еще умереть съ голоду? Надобно видѣть своими глазами лихорадочный, полусумасшедшій и притомъ боязливо кроткій взглядъ, лицо двадцати-двухъ-трехъ лѣтней завялой старухи, которая проситъ глазами милостыню, показывая умирающаго ребенка съ посинѣлыми губами, которыя уже не сосутъ изсохшую, черствую грудь ея. И все это также подернуто землею, стерто, пепельно, безцвѣтно, сѣро, и женщина, и окоченѣвшій ребенокъ, и полуобнаженная грудь, и босая нога.

Между этими двумя крайними типами, которые вполнѣ представляютъ геркулесовы столбы нашей цивилизаціи, стоятъ сельскіе пролетаріи другихъ странъ Европы и крѣпостные мужики другихъ краевъ Россіи.

Пролетаріи другихъ земель—ирландцы, имѣющіе немного насущнаго хлѣба,

ирландки, которыя еще могутъ кормить грудью дѣтей,—наши бѣлоруссы, отпущенные на волю безъ земли и не боящіеся розогъ,—не болѣе.

Помѣщичьи крестьяне другихъ частей Россіи опять тѣ же бѣлоруссы, но не успѣвшіе одичать, не отданные на копье жиду-арендатору, не ненавидимые своимъ католическимъ помѣщикомъ, а единоплеменные и единовѣрные съ нимъ.

И именно поэтому наше крѣпостное состояніе еще отвратительнѣе.

Я ничего не знаю нелѣпѣе, безобразнѣе дикаго отношенія рабства между ровными: по крайней мѣрѣ, негръ черенъ и курчавъ, а его помѣщикъ рыжъ и налитъ лимфой.

Зачѣмъ нашъ народъ попалъ въ крѣпость, какъ онъ сдѣлался рабомъ? Это не легко растолковать.

Все было до того нелѣпо, что за-границей, особенно въ Англіи, никто не понимаетъ.

Какъ въ самомъ дѣлѣ увѣрить людей, что половина огромнаго народонаселенія, сильнаго мышцами и умомъ, была отдана въ рабство безъ войны, безъ переворота, рядомъ полицейскихъ мѣръ, рядомъ тайныхъ соглашеній, никогда не высказанныхъ прямо и не оглашенныхъ, какъ законъ.

А вѣдь было такъ и не Богъ знаетъ когда, а два вѣка тому назадъ.

II.

Самое существованіе всего несчастнаго сословія дворовыхъ людей внѣ-законное, ничѣмъ неопредѣленное, и зависящее вполнѣ отъ помѣщика. Сколько крестьянъ можетъ взять помѣщикъ во дворъ изъ деревни, сколько рукъ отнять у семьи? Онъ можетъ взять жену у мужа и сдѣлать ее прачкой у себя въ домѣ, онъ можетъ взять послѣдняго сына у старика отца и сдѣлать изъ него лакея; пока помѣщикъ не уморилъ съ голоду или не убилъ физически своего крѣпостного человѣка, онъ правъ передъ закономъ.

Русское правительство соединено съ Англіей договоромъ противъ торга невольниками. Отчего же надобно непремѣнно быть чернымъ, чтобъ быть человѣкомъ?

Меня поражаетъ удивленіемъ неспособность нашего правительства во всѣхъ внутреннихъ вопросахъ. Александръ обдумывалъ двадцать пять лѣтъ планъ освобожденія, Николай приготовлялся семнадцать лѣтъ,—и что же выдумали они въ полстолѣтія? Нелѣпый указъ 2 апрѣля 1842 года объ обязанныхъ крестьянахъ.

Но, скажутъ, гдѣ же средства? Средства найдутся. И съ какихъ это поръ русское правительство сдѣлалось такъ разборчиво въ отношеніи къ средствамъ?

Развѣ недостало средствъ у Екатерины II, чтобъ отдать въ крѣпость Малороссію въ XVIII столѣтіи? Развѣ недостало средствъ въ XIX для водворенія военныхъ поселеній, для обращенія уніатъ въ греко-россійское исповѣданіе?

Они боятся дотронуться до этого вопроса оттого, что они трусы. Въ сущности бояться нечего; вѣдь, это хорошо разсказывать иностраннымъ газетамъ объ дикихъ boyards moscovites, грозныхъ своимъ вліяніемъ. Ихъ совсѣмъ нѣтъ.

Весь народъ, очевидно, было бы за правительство, и не одинъ народъ, а вся образованная часть дворянства.

Если закоснѣлые помѣщики и московскіе *бояры* будутъ противиться, имъ придется ограничиться ропотомъ. Отчего имъ и не позволить болтать о своемъ неудовольствіи? Они, впрочемъ столько проповѣдывали намъ безусловную покорность передъ высочайшею властью, что справедливо было бы отъ нихъ потребовать примѣръ. Да и гдѣ ихъ права? Они владѣли мужиками и разоряли ихъ по царской милости; по царской немилости они перестали-бы ихъ разорять. Люди эти не имѣютъ партіи, ихъ сила мнимая. Кто сколько-нибудь знаетъ Россію, тотъ безъ смѣха не можетъ подумать объ оппозиціи «московскихъ бояръ».

Въ рукахъ правительства рядъ соціальныхъ и финансовыхъ мѣръ, которыми оно можетъ безъ сильнаго и внезапнаго потрясенія освободить крестьянъ съ землею. Оно ихъ знаетъ изъ сотни проэктовъ, поданныхъ съ 1842 г. Киселеву и Перовскому.

Вмѣсто того, чтобъ воспитательные домы превращать въ рынки, на которыхъ продаютъ ревизскія души съ молотка, правительство можетъ переводить долгъ на деревни и брать съ нихъ взамѣнъ оброка свои пять процентовъ. Оно можетъ сдѣлать внутренній заемъ для выкупа другихъ и проч.

Пусть оно только позволитъ дворянамъ прямо и открыто заняться этимъ вопросомъ, пусть разрѣшитъ всѣмъ, кто хочетъ, составленія обществъ, товариществъ для выкупа крестьянъ, для помощи освобождающимся, предварительно удостовѣривъ, что ни въ какомъ случаѣ капиталъ общества не будетъ схваченъ и не будетъ употребленъ на постройку кадетскаго корпуса.

«Все это прекрасно—правительство должно бы, дворянство могло-бы—конечно, но что же при всемъ этомъ самъ народъ, народъ гоняемый на барщину, наказываемый розгами, разоряемый, продаваемый? Если онъ можетъ выносить такое положеніе, онъ заслуживаетъ его».

Разумѣется, такъ, какъ ирландецъ заслуживаетъ голодъ, итальянецъ австрійское иго. Я такъ привыкъ къ этому свирѣпому vae victis, что всегда жду его. Что же, съ Богомъ, въ походъ противъ всякаго страданія, всякаго несчастія, всякой трагической судьбы. Мало пролетарію, что онъ бѣденъ, что ему ѣсть нечего, что онъ не можетъ развиться, что ему недосугъ думать, прибавимъ къ его горькой участи горькое слово. Мало крестьянину, что его отдали въ крѣпость, въ которой его держатъ; скажемъ ему, что онъ это заслужилъ, что онъ недостоинъ лучшей судьбы, потомъ отвернемся отъ нихъ обоихъ и отъ ихъ глухого стона.

Впрочемъ, прежде, нежели мы ихъ оставимъ, я совѣтую имъ сказать спасибо за то, что голодъ одного, потъ другого, невѣжество обоихъ дали намъ средство такъ умно развиться.

Мнѣ всякій разъ становится не по себѣ, когда говорятъ о народѣ. Въ нашъ демократическій вѣкъ нѣтъ ни одного слова, которое бы такъ мало понимали и такъ употребляли во зло. Понятіе, сопрягаемое съ нимъ, неопредѣленно, преувеличено, поверхностно, полно риторики въ похвалахъ и порицаніяхъ; одни поднимаютъ народъ до небесъ и дѣлаютъ изъ него какого-то прорицателя законовъ,

неписанной разумъ, судію, другіе топчутъ его въ грязь, называя грубой толпой. Всѣ эти разглагольствованія, умиленія, негодованія и декламаціи не прибавляютъ ни на волосъ къ пониманію этой гранитной основы государства и человѣчества, связанной цементомъ вѣковыхъ воспоминаній и кровнаго родства, на которой построенъ плохой балаганъ современнаго политическаго устройства, полусгнившій и покачнувшійся.

Правительство и плавающій вверху слой цивилизаціи закрываютъ народъ и не допускаютъ знать его. За этими офиціальными и литературными декораціями онъ живетъ по своему, рѣдко соображаясь съ ними, остается покойнымъ, когда за него горячатся и бросаютъ перчатку и возстаетъ, когда всего менѣе этого ждутъ.

Однѣ легкія революціи дѣлаются легко. Вѣтеръ свободно двигаетъ во всѣ стороны верхній слой общественной зыби, но глубь тиха до урагана.

Зато и слѣды такихъ революцій не велики; онѣ мѣняютъ одежду и названіе, а дѣло остается по старому.

Народъ туго и нескоро возстаетъ, онъ не играетъ, не шутитъ перемѣнами, онъ такъ бѣденъ, что долго не рискуетъ послѣднимъ; его возстаніе всегда глубоко выстраданное. Если оно неудачно, преждевременно, цѣлыя племена, государства гибнутъ, глохнутъ. Германія потеряла всякій политическій смыслъ и превратилась въ школу, усмиривъ крестьянъ.

III.

Есть люди, до сихъ поръ поддерживающіе пользу освобожденія безъ земли, освобожденія въ голодъ и безпріютность, воображая, что въ этомъ новомъ пролетаріатѣ непремѣнно разовьется революціонное начало.

Быть голоднымъ и пролетаріемъ вовсе не достаточно для того, чтобы сдѣлаться революціонеромъ. Взвода полисменовъ достаточно, чтобъ держать ирландцевъ въ повиновеніи законамъ, лишающимъ ихъ куска хлѣба.

Вообще, пролетарій полей очень миренъ, кругъ его понятій тѣсенъ, онъ слишкомъ подавленъ и сгнетенъ къ землѣ, чтобъ быть болѣе нежели недовольнымъ. Его не надобно смѣшивать съ работникомъ большихъ торговыхъ и политическихъ центровъ. Въ этихъ колоссальныхъ ульяхъ, гдѣ милліоны людей трутся ежедневно другъ о друга, гдѣ на всякомъ шагу попадаются макабрскія встрѣчи пляшущихъ съ умирающими, пресыщенныхъ съ голодными, Ротшильда съ ирландцемъ, откупщика съ поденщикомъ, тамъ, разумѣется, въ душѣ работника бродятъ мысли о ниспроверженіи этого міра монополій, цеха, капитала, дохода, но въ маленькихъ городахъ, и ещё болѣе въ поляхъ пролетарій не таковъ. Онъ принимаетъ свое положеніе за судьбу, онъ страдаетъ, не знаетъ выхода, покоряется.

Русскіе, говорящіе такъ легко о разрушеніи сельской общины, никогда не думали, что же останется, что будетъ, когда этотъ послѣдній узелъ народной жизни, насильственно развязанный, распустится.

Народъ русскій все вынесъ, но спасъ общину, община спасла народъ русскій; уничтожая ее, вы отдаете его, связаннаго по рукамъ и ногамъ, помѣщику и полиціи. И коснуться до нея въ то время, когда Европа оплакиваетъ свое раздробленіе полей и всѣми силами стремится къ какому-нибудь общинному устройству!

Говорятъ, что община поглощаетъ личность и что она несовмѣстна съ ея развитіемъ. Въ этомъ мнѣніи есть доля правды. Всякій неразвитой коммунизмъ подавляетъ отдѣльное лицо. Но не надобно забывать, что русская жизнь находила сама въ себѣ средства отчасти восполнять этотъ недостатокъ. Сельская жизнь образовала рядомъ съ неподвижной, мирной, хлѣбопашенной деревней, подвижную общину работниковъ, артель, и военную общину казаковъ.

Артель лучшее доказательство того естественнаго, безотчетнаго сочувствія славянъ съ соціализмомъ, о которомъ мы столько разъ говорили. Артель вовсе не похожа на германскій цехъ, она не ищетъ ни монополій, ни исключительныхъ правъ, она не для того собирается, чтобъ мѣшать другимъ, она устроена для себя, а не *противъ* кого-либо. Артель—соединеніе вольныхъ людей одного мастерства на общій прибытокъ общими силами.

IV.

Само собою разумѣется, что ни въ коммунизмѣ деревень, ни въ казацкихъ республикахъ мы не могли бы найти удовлетворенія нашимъ стремленіямъ. Все это было слишкомъ дико, молодо, неразвито, но изъ этого не слѣдуетъ, что намъ должно ломать эти незрѣлыя начинанія, напротивъ, ихъ надобно продолжать, развивать, образовывать. Тутъ нѣтъ большого достоинства, что мы неподвижно сохранили нашу общину въ то время, какъ германскіе народы ее утратили, но это большое счастіе и его не надобно выпускать изъ рукъ. Мы долго ждали, долго временили, воспользуемся опытностью нашихъ сосѣдей, она имъ страшно дорого стоитъ.

Міръ западный утратилъ свое общинное устройство; хлѣбопашцы и несобственники были принесены на жертву развитію меньшинства; зато развитіе дворянства и горожанъ было велико и богато. Оно имѣло рыцарство съ его высокимъ понятіемъ независимой личности и среднее состояніе съ его непреклонной идеей права, оно имѣло искусство и литературу, науку и промышленность, наконецъ, реформацію и революцію.

Одна Россія, эта падчерица, эта Сандрильона между народами европейскими, не имѣла никакой доли въ пріобрѣтеніяхъ и побѣдахъ своихъ сосѣдей. Народъ русскій такъ же мало былъ способенъ къ торжественному западному развитію трехъ послѣднихъ вѣковъ, какъ къ крестовымъ походамъ, какъ къ схоластикѣ и теологическимъ спорамъ, какъ къ римскому праву и германскому феодализму. Народъ русской ничего не пріобрѣлъ со временъ Владиміра и кіевскаго періода; онъ сохранилъ только свою независимую, скромную общину, т. е. владѣніе сообща землею, равенство всѣхъ безъ исключенія членовъ общины,

братской раздѣлъ полей по числу работниковъ и собственное мірское управленіе своими дѣлами. Вотъ и все приданое Сандрильоны, зачѣмъ же отнимать послѣднее... «Затѣмъ, что при всемъ этомъ на Руси жить тяжко; ни уму, ни сердцу нѣтъ простора». Тяжко, дурно жить въ Россіи, это правда, и тѣмъ тяжеле было для насъ, что мы думали, что въ другихъ странахъ легко и хорошо жить.

Теперь мы знаемъ, что и тамъ тяжело. Оттого, что и тамъ неразрѣшенъ вопросъ, около котораго сосредоточилась теперь вся человѣческая дѣятельность, вопросъ объ отношеніи лица къ обществу и общества къ лицу. Крайнія, односторонніе развитія привели къ двумъ нелѣпостямъ—къ гордому своими правами, независимому англичанину, котораго свобода основана на вѣжливой антропофагіи, и къ бѣдному русскому мужику, безразлично потерянному въ общинѣ, безправно отданному въ крѣпость и въ силу того служащему съѣстнымъ припасомъ барину.

Гдѣ ихъ примиреніе, какъ снять ихъ противорѣчіе, какъ сохранить независимость британца безъ людоѣдства, какъ развить личность крестьянина безъ утраты общиннаго начала? Въ этомъ-то вся мучительная задача нашего вѣка, въ этомъ-то и состоитъ весь соціализмъ.

Безумно было бы начать переворотъ съ уничтоженія свободныхъ учрежденій, потому что они на дѣлѣ доступны только меньшинству; еще безумнѣе уничтожить общинное начало, къ которому стремится современный человѣкъ, за то, что оно не развило еще свободной личности въ Россіи.

ЧАСТЬ III.

Герценъ въ освобожденіи крестьянъ.

Въ 1853 г. Герценъ основалъ въ Лондонѣ вольную русскую типографію и съ этого момента его публицистическая дѣятельность принимаетъ новое направленіе.

Раньше онъ подвергалъ критикѣ Западъ или, защищая вѣру въ Россію, онъ проповѣдывалъ идеи, не считаясь съ тѣмъ, приложимы ли онѣ къ современной дѣйствительности, теперь онъ обращается съ призывомъ къ современности, ставитъ задачи дня. Первымъ такимъ призывомъ былъ листокъ „Юрьевъ день!“, въ которомъ Герценъ призывалъ русское дворянство раскрѣпостить крестьянъ. Выпущенный въ 1853 г., листокъ этотъ успѣха практическаго не имѣлъ. Николаевскій режимъ, доживавшій послѣдніе годы, казался непоколебленнымъ, и освобожденіе крестьянъ не представлялось дѣломъ, осуществимымъ въ ближайшіе годы. Только крымская война, обнаружившая всю слабость и всѣ язвы крѣпостной Россіи, поставила на очередь вопросъ объ отмѣнѣ крѣпостного права. Вотъ тогда-то съ царствованіемъ Александра II-го и начинается непосредственное практическое вліяніе „вольнаго слова“ Герцена.

Съ 1855 года Герценъ начинаетъ издавать въ Лондонѣ „Полярную звѣзду“ (журналъ, выходившій книжками разъ въ годъ), а въ 1857 году онъ приступаетъ къ изданію „Колокола“, выходившаго сначала разъ, а затѣмъ два раза въ мѣсяцъ.

Первый номеръ „Колокола“ вышелъ 1-го іюля 1857 года. „Пора проснуться!—писалъ Герценъ въ этомъ номерѣ.—Скоро будетъ поздно рѣшать вопросъ освобожденія крѣпостныхъ мирнымъ путемъ, мужики рѣшатъ его по своему. Рѣки крови прольются, и кто будетъ виноватъ въ этомъ?

Проснись! Работай не надъ мертвечиной формалистики, а надъ живымъ государственнымъ вопросомъ. Работай, пока время не ушло. „Vivos voco“.

„Vivos voco“ (живыхъ зову), эти слова взяты изъ Шиллеровскаго стихотворенія „Колоколъ“: „Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango“ (живыхъ зову, мертвыхъ оплакиваю, громы заглушаю). Успѣхъ „Колокола“ былъ совершенно исключительный: имъ восторгалась вся интеллигенція отъ западниковъ до славянофиловъ, имъ зачитывались во всѣхъ кругахъ общества, помѣщики, чиновники, офицеры, за нимъ внимательно слѣдили, прислушиваясь къ мнѣніямъ Герцена въ высшихъ бюрократическихъ

кругахъ и при дворѣ. Статьи по крестьянскому вопросу „Колокола“ принимались во вниманіе редакціонной комиссіей, вырабатывавшей положеніе крестьянской реформы; обличительныхъ статей его боялись пуще огня. Установилась своего рода „литературная диктатура“. Это было невиданное на Руси зрѣлище: органъ и притомъ вліятельный органъ свободнаго русскаго слова. Это зрѣлище и послѣ „Колокола“ уже никогда не повторялось: органы печати, выходившіе въ Россіи, не пользовались такой безусловной свободой и независимостью, какъ „Колоколъ“, а заграничныя партійныя изданія не встрѣчали такого единодушнаго признанія, какъ „Колоколъ“, въ первые годы своего существованія. Это единодушное признаніе, помимо огромнаго публицистическаго дарованія Герцена, объясняется тѣмъ, что онъ явился выразителемъ общаго порыва къ обновленію жизни. Герценъ выставилъ въ этотъ моментъ такую программу минимумъ, на которой всѣ на первыхъ порахъ должны были сойтись: освобожденіе слова отъ цензуры, освобожденіе крестьянъ отъ помѣщиковъ, освобожденіе податнаго сословія отъ побоевъ. Послѣ тѣхъ широкихъ перспективъ, созерцанію которыхъ Герценъ предавался въ своихъ прежнихъ писаніяхъ, какъ „Русскій народъ и соціализмъ“, „Старый міръ и Россія“, эта программа казалась очень умѣренной. Но Герценъ понималъ, что, только выставивъ такую умѣренную программу, онъ сможетъ сыграть практическую жизненную роль въ процессѣ обновленія Россіи. Если бы онъ продолжалъ рисовать прежнія перспективы, то ему могли бы сказать: „Что вы намъ толкуете о всемірной республикѣ, которой нигдѣ нѣтъ, о братствѣ народовъ, которые вездѣ рѣжутся; мы все это читали въ Руссо и Вольтерѣ, въ исторіи первой революціи и въ газетахъ 1848 года. У насъ теперь забота растолковать, что такое усадебная земля и сколько десятинъ пашни дать крестьянину, ну,—гдѣ же намъ читать ваши декларацiи!“—„Колоколу“ пришлось бы прикусить свой желѣзный языкъ.

И вотъ, не уходя отъ настоящаго ни „въ голубую даль дорогихъ идеаловъ, ни въ чистыя сферы отвлеченной соціологіи“, Герценъ въ „Колоколѣ“ сосредоточилъ вниманіе на тѣхъ вопросахъ, которые всѣхъ занимали, далъ выраженіе общему желанію скорѣе забыть прошлое и перейти къ новой жизни. „Дню вчерашнему—забвеніе, дню грядущему—привѣтъ!“ восклицалъ Аксаковъ, встрѣчая 1858 годъ. Но со вчерашнимъ днемъ слишкомъ много было связано интересовъ, и, по мѣрѣ того, какъ приближался день грядущій, день освобожденія, и яснѣе становились противоположныя стремленія тѣмъ, кто привѣтствовалъ новый день. Либеральные помѣщики, стоявшіе за освобожденіе крестьянъ, хотѣли удержать въ своихъ рукахъ какъ можно больше земли, Герценъ требовалъ освобожденія крестьянъ со всею землей, находившейся въ ихъ пользованіи; это охладило къ „Колоколу“ многихъ поклонниковъ Герцена изъ помѣщичьей среды. Съ другой стороны, половинчатость реформъ, реакціонныя мѣры, какими она сопровождалась, вызывали разочарованіе и раздраженіе въ демократической интеллигенціи; на почвѣ этого раздраженія вырастаетъ политическое движеніе, которое своимъ радикализмомъ

обгоняетъ „Колоколъ“ Герцена. Молодежь начинаетъ считать Герцена слишкомъ умѣреннымъ, либераломъ и бариномъ; властителемъ думъ этой молодежи становится разночинецъ Чернышевскій.

Ослабленіе вліянія Герцена, нападки на „Колоколъ“ и справа и слѣва уже сильно сказываются въ 1861, въ 1862 годахъ, а въ 1863 г. горячія симпатіи Герцена къ польскому возстанію оттолкнули отъ него настроенныхъ патріотически либеральныхъ читателей. Послѣ 1863 г. популярность „Колокола“ неуклонно идетъ на убыль и въ 1867 году Герценъ рѣшилъ прекратить его изданіе.

Мы даемъ здѣсь изъ Герценовскихъ статей противъ крѣпостного права: „Юрьевъ день“ (листокъ 1853 г.) и изъ „Колокола“: 1) статью „Революція въ Россіи“, дающую анализъ происходящаго въ Россіи экономическаго переворота (статья эта интересна для знакомства съ теоретическими взглядами Герцена; 2) „Черезъ три года“,—статью, начинающуюся словами: „Ты побѣдилъ, Галилеянинъ“,—это самая знаменитая изъ Герценовскихъ статей въ „Колоколѣ“, написана она по поводу рескрипта на имя виленскаго генералъ-губернатора отъ 25 ноября 1858 года. (Этимъ рескриптомъ, предоставлявшимъ дворянству трехъ литовскихъ губерній приступить къ составленію проектовъ улучшенія быта крестьянъ, положено было начало работамъ губернскихъ комитетовъ, т. е. первому шагу къ фактической подготовкѣ реформы); 3) „Насъ упрекаютъ“—полемическую статью Герцена, написанную по поводу нападокъ на него консерватора Б. И. Чичерина (знаменитаго впослѣдствіи юриста); 4) „Манифестъ“; 5) отрывки изъ статей о „Русскихъ нѣмцахъ“ (одно изъ самыхъ блестящихъ и остроумныхъ произведеній Герцена); 6) „Россія и Польша“—статья эта, посвященная русско-польскимъ отношеніямъ, примыкаетъ въ то же время къ циклу Герценовскихъ статей, трактующихъ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ: съ освобожденіемъ крестьянъ начинается новая эра въ Россіи, экономическій переворотъ важнѣе политическихъ реформъ; стремясь порвать съ Россіей—пусть поляки раньше узнаютъ новую Россію,—вотъ мысли, высказываемыя Герценомъ въ этой статьѣ; 7) „Mortuos plango“ („мертвыхъ оплакиваю“)—статья эта написана подъ впечатлѣніемъ войны, начавшейся въ 1861 г. между Сѣверными Штатами Америки и Южными изъ-за отмѣны рабства.

Юрьевъ день! Юрьевъ день!

Русскому дворянству.

Первое вольное русское слово изъ-за границы пусть будетъ обращено къ вамъ.

Въ вашей средѣ развилась потребность независимости, стремленіе къ свободѣ и вся умственная дѣятельность послѣдняго вѣка.

Между вами находится то самоотверженное меньшинство, которымъ искупается Россія въ глазахъ другихъ народовъ и въ собственныхъ своихъ.

Къ вамъ первымъ мы и обращаемся.

Не со словами упрека, не съ невозможнымъ зовомъ на бой, а съ дружескою рѣчью объ общемъ горѣ, объ общемъ стыдѣ и съ братскимъ совѣтомъ.

Горестно, стыдно быть рабами, но всего горестнѣе и больнѣе сознавать, что рабство наше необходимо, что оно въ порядкѣ вещей, что оно естественное слѣдствіе.

На нашей душѣ лежитъ великій грѣхъ, мы его унаслѣдовали, и въ этомъ невиноваты, но мы удерживаемъ неправо унаслѣдованное, оно стягиваетъ насъ какъ тяжелый камень на дно и съ нимъ на шеѣ мы не всплывемъ.

Мы рабы,—потому что наши праотцы продали свое человѣческое достоинство за нечеловѣческія права, а мы пользуемся ими.

Мы рабы,—потому что мы господа.

Мы слуги,—потому что мы помѣщики, и помѣщики безъ вѣры въ наше право.

Мы крѣпостные,—потому что держимъ въ неволѣ нашихъ братій, равныхъ намъ по рожденію, по крови, по языку.

Нѣтъ свободы для насъ, пока проклятіе крѣпостного состоянія тяготитъ надъ нами, пока у насъ будетъ существовать гнусное, позорное, ничѣмъ не оправданное рабство крестьянъ.

Съ Юрьева дня начнется новая жизнь Россіи, съ Юрьева дня начнется наше освобожденіе.

Нельзя быть свободнымъ человѣкомъ и имѣть дворовыхъ людей, купленныхъ какъ товаръ, проданныхъ какъ стадо.

Нельзя быть свободнымъ человѣкомъ и имѣть право сѣчь мужиковъ и посылать дворовыхъ на съѣзжую.

Нельзя даже говорить о правахъ человѣческихъ, будучи владѣльцемъ человѣческихъ душъ.

Многіе изъ васъ желали освобожденія крестьянъ. Спорили сначала о томъ: съ землею или безъ земли дать волю? Потомъ всѣ увидѣли нелѣпость освобожденія въ голодъ, въ бродяжничество, и вопросъ шелъ только о количествѣ земли и о возможномъ возмездіи за нее.

Въ самыхъ помѣщичьихъ губерніяхъ, въ Пензѣ и Тамбовѣ, въ Ярославлѣ и Владимірѣ, въ Нижнемъ и, наконецъ, въ Москвѣ вопросъ объ освобожденіи находилъ сочувствіе и нигдѣ не встрѣчалъ того остервенѣнія, съ которымъ американскіе помѣщики защищаютъ свои черныя права.

Тульское дворянство подало проектъ; въ десяти другихъ губерніяхъ совѣщались, дѣлали предположенія.

И вдругъ дворяне и правительство перепугались, и изъ ихъ дрожащихъ рукъ выпали всѣ благія начинанія.

А бояться было вовсе нечего; разливъ 1848 года былъ слишкомъ мелокъ, чтобы поднять наши степи.

Съ тѣхъ поръ все заснуло.

Куда дѣлось меньшинство, которое шумѣло въ петербургскихъ и московскихъ гостиныхъ объ освобожденіи крестьянъ?..

Чѣмъ кончились всѣ эти комитеты, совѣщанія, проекты, планы, предположенія?..

Наше сонное бездѣйствіе, вялая невыдержка, страдательная уступчивость наводятъ грусть и отчаяніе. Съ этой распущенностью мы дошли до того, что правительство насъ не гонитъ, а только пугаетъ.

А между тѣмъ въ деревняхъ становится неловко. Крестьяне посматриваютъ угрюмо. Дворовые меньше слушаются. Всякія вѣсти бродятъ.

Крѣпостное состояніе явнымъ образомъ надоѣло мужикамъ. Вы, съ своей стороны, знаете, что шагу впередъ нельзя сдѣлать безъ освобожденія крестьянъ. Но оно-то по счастію всего больше зависитъ отъ васъ.

Зависитъ сегодня. Мы не знаемъ, что будетъ завтра.

Чего же вы ждете въ самомъ дѣлѣ?

Разрѣшенія правительства? Оно дало вамъ намекъ въ 1842 году. Вы имъ не воспользовались.

Да и какое тутъ позволеніе? Насильно заставить владѣть невозможно, это было бы тиранство совершенно новаго рода, обратная конфискація.

Вникните въ наши слова, поймите ихъ.

На сію минуту вы имѣете за себя больше, нежели право [1]), фактъ владѣнія—власть. Такъ или иначе, но ключъ отъ цѣпи у васъ въ рукахъ. Намъ кажется умнѣе, *разсчетливѣе* уступить, нежели ждать взрыва. Умнѣе бросить за бортъ долю груза, нежели дать утонуть всему кораблю.

Мы не предлагаемъ вамъ раздать ваше достояніе изъ самоотверженія. Мы ненавидимъ фразы и вовсе не вѣримъ въ повальное великодушіе, ни въ безкорыстіе цѣлыхъ сословій. Французское дворянство 4-го августа 1792 г. поступило въ десять разъ больше умно, нежели самоотверженно.

Взвѣсьте, что вамъ выгоднѣе: освобожденіе крестьянъ съ землей и съ вашимъ участіемъ или борьба противъ освобожденія? Взвѣсьте, что выгоднѣе: начать собой новую свободную Русь и полюбовно рѣшить тяжелый вопросъ съ крестьянами или начать противъ нихъ крестовый походъ съ ружьемъ въ одной рукѣ, съ розгой въ другой? Если есть только будущность Руси и міру славянскому, *крестьяне будутъ свободны*...

Или вовсе не будетъ Россіи и слѣдъ ея, отмѣченный ненужною кровью и дикими побѣдами, исчезнетъ мало-по-малу, какъ слѣдъ татаръ, какъ второй неудачный слой сѣвернаго населенія послѣ финновъ. Государство, не умѣющее отдѣлаться отъ такого чернаго грѣха, такъ глубоко взошедшаго во внутреннее строеніе его, не имѣетъ права ни на образованіе, ни на развитіе, ни на участіе въ дѣлѣ исторіи.

Но ни вы не вѣрите такой страшной будущности, ни я.

---

[1]) Всякое дворянство на Западѣ можетъ сослаться на какія-нибудь слабыя, призрачныя права владѣнія крестьянами; у насъ и тѣхъ нѣтъ. Не кровью пріобрѣло русское дворянство рабовъ, а рядомъ полицейскихъ мѣръ, плутнями чиновниковъ и безстыдной алчностью своихъ праотцевъ.

И вы, и я, мы чувствуемъ и знаемъ, что освобожденіе крестьянъ необходимо, неотразимо, неминуемо.

Если вы не сумѣете ничего сдѣлать, они все таки будутъ свободны.

Неужели грозные уроки былого всегда будутъ нѣмы?

И кого можетъ лучше поучать прошедшее и настоящее, какъ не васъ: вы зрители, вы смотрите, сложа руки, на грозную борьбу, совершающуюся въ Европѣ.

Чѣмъ дошла она, за исключеніемъ Англіи, до того, что образованнѣйшіе города ея превратились въ съѣзжіе дворы, Парижъ—въ человѣческую бойню, Франція—въ католическую Сибирь, Германія—въ остзейскія провинціи? Упорнымъ нехотѣніемъ уступать тому мощному вѣянію, которое неотразимо двигаетъ родъ людской.

Западные мѣщане все потеряли—честь, покой, свободу, все такъ трудно нажитое ихъ собственною кровью,—и что же, побѣдили ли они тотъ натискъ страстныхъ стремленій къ новому общественному чину, котораго они такъ боятся? Нѣтъ. Правда, сломленные, оттолкнутые порывы, отступили, но не исчезли, не уничтожились, они бродятъ и роются глубже въ тайникахъ сердца человѣческаго, дѣлаютъ горькую мысль, острую кровь и трепетнымъ огнемъ гнѣва пробѣгаютъ суставы всего тѣла.

Учитесь, пока еще есть время.

Мы вамъ говоримъ: предупредите большія бѣдствія, пока это въ вашей волѣ.

Спасите себя отъ крѣпостного права.

Но торопитесь,—время страдное, ни одного часа терять нельзя.

Горячее дыханіе больной, выбившейся изъ силъ Европы вѣетъ на Русь переворотомъ. Наступающій переворотъ не такъ чуждъ русскому сердцу, какъ прежніе. Слово *соціализмъ* неизвѣстно нашему народу, но смыслъ его близокъ душѣ русскаго человѣка, изживающаго вѣкъ свой въ сельской общинѣ и въ работнической артели.

Статьи изъ «Колокола».

Революція въ Россіи.

„Господа! лучше чтобъ эти перемѣны сдѣлались сверху, — нежели снизу“.

(Александръ II.—Рѣчь къ московскому дворянству).

Мы не только наканунѣ переворота, но мы вошли въ него. Необходимость и общественное мнѣніе увлекли правительство въ новую фазу развитія, перемѣнъ, прогресса. Общество и правительство натолкнулись на вопросы, которые вдругъ получили права гражданства, стали неотлагаемы. Эта возбужденность мысли, это безпокойство ея и стремленіе вновь разрѣшить главныя задачи государственной жизни, подвергнуть разбору историческія формы, въ которыхъ она движется,—составляетъ необходимую почву всякаго коренного переворота.

Но гдѣ же знаменія, обыкновенно предшествующія революціямъ?—все въ Россіи такъ тихо, такъ подавлено и еще больше съ такимъ добродушнымъ довѣріемъ смотритъ на новое правительство, ждетъ отъ него помощи, что скорѣе можно думать, что вѣка пройдутъ прежде, нежели Россія вступитъ въ новую жизнь.

Да на что же эти знаменія? Въ Россіи все шло инымъ порядкомъ, у нея былъ разъ коренной переворотъ, его сдѣлалъ одинъ человѣкъ—Петръ I. Мы такъ привыкли съ 1789 г., что всѣ перевороты дѣлаются взрывами, возстаніями, что каждая уступка вырывается силой, что каждый шагъ впередъ берется съ боя,—что невольно ищемъ, когда рѣчь идетъ о переворотѣ: площадь, баррикады, кровь, топоръ палача. Безъ сомнѣнія, возстаніе, открытая борьба, одно изъ самыхъ могущественныхъ средствъ революціи, но отнюдь не единственное. Въ то время, какъ Франція съ 1789 г. шла огнедышащимъ путемъ катаклизмовъ и потрясеній, двигаясь впередъ, отступая назадъ, металась въ судорожныхъ кризисахъ и кровавыхъ реакціяхъ, Англія совершала свои огромныя перемѣны и дома, и въ Ирландіи, и въ колоніяхъ, съ обычнымъ флегматическимъ покоемъ и въ совершенной тишинѣ. Весь правительственный тактъ торіевъ и виговъ состоитъ въ умѣньи упираться, пока можно, и уступать, когда время пришло. Такъ какъ Робертъ Пиль переходомъ своимъ на сторону свободной торговли одержалъ экономическое Ватерлоо для правительства, такъ одно изъ будущихъ министерствъ вступитъ въ сдѣлку съ чартистами и дастъ интересамъ работниковъ—голосъ и представительство.

На нашихъ глазахъ переродился Піемонтъ. Въ концѣ 1847 года управленіе его было іезуитское и инквизиторское, безъ всякой гласности, но съ тайной полиціей, съ страшной свѣтской и духовной цензурой, убивавшей всякую умственную дѣятельность. Прошло десять лѣтъ и Піемонтъ нельзя узнать, физіономія городовъ, народонаселенія измѣнилась, вездѣ новая, удвоенная жизнь, открытый видъ, дѣятельность; а, вѣдь, эта революція была безъ малѣйшихъ толчковъ, для этой перемѣны достаточно было одной *несчастной войны и рядъ уступокъ общественному мнѣнію* со стороны правительства.

Артисты-революціонеры не любятъ этого пути, мы это знаемъ; но намъ до этого дѣла нѣтъ, мы просто люди, глубоко убѣжденные, что нынѣшнія государственныя формы Россіи никуда негодны,—и отъ души предпочитаемъ путь мирнаго человѣческаго развитія пути развитія кроваваго; но съ тѣмъ вмѣстѣ также искренно предпочитаемъ самое бурное и необузданное развитіе—застою николаевскаго *statu quo*.

Государь хочетъ перемѣнъ, хочетъ улучшеній, пусть же онъ, вмѣсто безполезнаго отпора, прислушается къ голосу мыслящихъ людей въ Россіи, людей прогресса и науки, людей практическихъ и жившихъ съ народомъ. Они сумѣютъ не только ясно понять и формулировать, чего они хотятъ, но сверхъ того сумѣютъ понять за народъ его желанія и стремленія. Вмѣсто того, чтобъ малодушно обрѣзывать ихъ рѣчь,—правительство само должно приняться съ ними за работу общественнаго пересозданія, за развитіе новыхъ формъ, новыхъ органовъ жизни.

Ихъ теперь ни мы не знаемъ, ни правительство не знаетъ, мы идемъ къ ихъ открытію, и въ этомъ состоитъ потрясающій интересъ нашей будущности.

Петръ I носилъ въ себѣ одномъ ту непредвидѣнную, новую Россію, которую онъ осуществилъ сурово и грозно противъ воли народа, опертой на самодержавную власть и личную силу. Нынѣшнему правительству не нужно прибѣгать ни къ какому прогрессивному террору. Есть цѣлая среда, зрѣлая мыслію, готовая идти съ правительствомъ за народъ и съ народомъ. Среда эта можетъ не велика, но мы рѣшительно не принимаемъ, чтобъ она была ниже сознаніемъ и развитіемъ какой-бы то ни было среды на Западѣ. Если она у насъ непривычна къ обслуживанію общественныхъ вопросовъ, зато она гораздо свободнѣе отъ всего традиціоннаго, она новѣе, проще, юнѣе западнаго общества. Страданія, неудачи, опыты европейской жизни она также пережила, но пережила воспитаніемъ, мыслію, сердцемъ, не истощивъ всѣхъ силъ своихъ, а нося въ памяти грозный урокъ послѣднихъ событій. Такъ юноша, пораженный какимъ-нибудь великимъ несчастіемъ, совершившимся передъ его глазами, быстро зрѣетъ и смотритъ совершеннолѣтнимъ взглядомъ на жизнь, сквозь печальный примѣръ.

Но для этого общаго труда правительству необходимо перешагнуть за частоколы и заборы табели о рангахъ, мѣшающей ему видѣть, и прислушаться къ совершеннолѣтней рѣчи, которая робко и полутайкомъ высказывается въ литературѣ и въ образованныхъ кружкахъ.

Неужели мысль о возможности двинуть впередъ цѣлую часть свѣта, соединить двѣ Россіи, между которыми прошла петровская бритва, въ общемъ дѣлѣ очищенія, освобожденія, развитія, касаясь по дорогѣ тѣхъ страшныхъ и колоссальныхъ вопросовъ: о поземельномъ владѣніи, о трудѣ и его вознагражденіи, объ общинѣ и пролетаріатѣ, передъ которыми трепещутъ всѣ правительства европейскія,—неужели это громадное историческое прозваніе, само собою дающееся, меньше льститъ Александру II, нежели одинокая высота императорскаго самовластья, опертаго на крѣпостное состояніе, винные откупа, невѣжество и побои, царящіе среди всеобщаго молчанія и подавленныхъ стоновъ?

Мы не думаемъ. Да если-бъ и было такъ, врядъ-ли возможно теперь продолженіе николаевскаго царствованія? Правительство само это чувствуетъ, но ему такъ ново и неловко въ мірѣ реформъ, улучшеній, человѣческаго слова, что оно дичится, упирается, не вѣритъ въ свои силы и теряется передъ трудностью и сложностью задачи. Это мертвящее мнѣніе о собственномъ безсиліи, о томъ, что трудъ намъ не по плечамъ, существуетъ у насъ, по несчастію, не только въ правительствѣ, но и въ насъ самихъ.

Это не скромность, а начало отчаянія, подавленность, мы такъ долго были забиты, загнаны, такъ привыкли краснѣть передъ другими народами и считать неисправимыми всѣ гадости русской жизни, отъ взятокъ до розогъ, что дѣйствительно почти потеряли довѣріе къ себѣ. Это несчастное чувство непремѣнно должно пройти. Гёте совершенно справедливо говоритъ:

Muth verloren—alles verloren,
Da wäre es besser nicht geboren.

Конечно, послѣднее тридцатилѣтіе было тяжко и все историческое развитіе наше шло труднымъ и мудренымъ путемъ, но развѣ оно не дало своихъ залоговъ, развѣ мы остановились, устали, развѣ Русь раздробилась на части, подпала чужому владычеству? Нѣтъ, мы стоимъ цѣлы и невредимы, полные силъ, связанные единствомъ передъ новымъ путемъ.

Насъ пугаетъ отсталое и ужасное состояніе народа, его привычка къ безправію, бѣдность, подавляющая его. Все это неоспоримо затрудняетъ развитіе, но въ противуположность Бюргеровой баллады, мы скажемъ: *живые ходятъ быстро,*— и шагъ народныхъ массъ, когда онѣ принимаются двигаться, необычайно великъ. У насъ же не къ новой жизни надобно ихъ вести, а отнять то, что подавляетъ ихъ собственный стародавній бытъ.

Мы обыкновенно смотримъ на другіе народы или въ ихъ современномъ состояніи, или середь ихъ революціоннаго разгара, и намъ становится больно и страшно за народъ русскій. Но для сравненія вѣрнѣе было бы брать состояніе другихъ народовъ до ихъ переворотовъ. Взгляните, напримѣръ, на жизнь Франціи наканунѣ революціи 1789, и подумайте, что она за шагъ сдѣлала въ пятьдесятъ лѣтъ времени.

Позвольте намъ напомнить событія извѣстныя, но на которыя, можетъ, у насъ съ этой точки не смотрѣли.

Смерть Людовика XIV. Вся страна свободнѣе вздохнула. Восхваленное царствованіе его оставило Францію раззоренной ненужными войнами, съ побитой арміей, съ европейской коалиціей на шеѣ. Денегъ не было; король подъ конецъ сдѣлался главнымъ взяточникомъ въ государствѣ, онъ все продавалъ— крупныя и мелкія должности, военныя и статскія мѣста, раззоряя въ конецъ откупами, акцизами и монополіями торговлю, промышленность и ремесла. Народъ умиралъ съ голоду, сотни тысячъ людей питались въ разныхъ концахъ Франціи древесной корой.

До министерства Тюрго ничего не поправилось,—дефициты росли, военная слава замѣнилась позорными мирами, заключенными въ Парижѣ въ 1756 г., государственное хозяйство свелось на ажіотажъ, на него бросились всѣ, попы и министры, члены парламента и принцы крови. Общественное вниманіе было занято междоусобными бранями парламента съ правительствомъ, янсенистовъ съ моленистами; идеи энциклопедистовъ бродили и Вольтеръ хохоталъ, печатая внѣ Франціи свой смѣхъ, такъ, какъ это дѣлалъ Бэль. Амстердамъ не трогалъ французскаго вольнаго станка, такъ, какъ Лондонъ не трогаетъ русскаго.

Это сверху, а что было внизу?

Мужики страдали подъ невыносимымъ гнетомъ землевладѣльцевъ; если-бъ ихъ помѣщики сѣкли и земская полиція била, то положеніе ихъ было-бы ничѣмъ не лучше нашего. Деньги помѣщикамъ были крайне нужны для того, чтобъ бросать ихъ горстями въ Парижѣ и Версалѣ. Промотавшись, они ѣхали въ свои замки, на годъ или на нѣсколько мѣсяцевъ, выжимали кровь и потъ изъ мужиковъ, шлялись на охоту, грязно и скупо жили въ запустѣлыхъ замкахъ, мечтая о томъ, какъ скорѣе наколотить денегъ и снова ринуться въ вихрь и

блескъ придворной жизни. Сношенія съ сосѣдями были очень рѣдки, отчасти отъ бережливости, отчасти отъ непроѣзжаемыхъ дорогъ. Объ умственныхъ занятіяхъ, объ улучшеніяхъ хозяйства не было и рѣчи.

Поля, разбитыя на участки отъ 10 до 15 гектаровъ, отдавались половникамъ. Помѣщики, не смыслившіе ничего въ управленіи, продавали сверхъ того права сбора произведеній и податей нотаріусамъ. Нотаріусы, въ родѣ польскихъ жидовъ-арендаторовъ, раззоряли мужиковъ въ конецъ, запускали хлѣбопашество, брали быковъ отъ плуга подъ подводы, кормили своихъ гусей въ пшеничныхъ поляхъ крестьянъ и проч. Такъ какъ все это хозяйство шло безпорядочно, безъ знанія, безъ капитала, то и не удивительно, что французскія поля давали вполовину меньше, нежели англійскія, а платили вдвое больше (въ Англіи брали помѣщики одну четвертую произведеній, да еще несли разныя общественныя тяги, въ то время, какъ во Франціи они ничего не платили, взимая половину произведеній). Крестьяне едва не умирали съ голоду, о запасѣ, о барышѣ нечего было и думать. Отчаянно борясь изъ-за куска хлѣба, не видя ничего впередъ какъ ту же нужду, тотъ же подавляющій трудъ, у крестьянина падали руки, и онъ обрабатывалъ меньше и меньше земли. Въ 1790 г. Артуръ Юнгъ считалъ, что число заброшенной пахотной земли возросло до 9.000.000 гектаровъ.

Мужики жили въ бѣдныхъ лачугахъ, часто объ одномъ отверстіи, такъ, что у иныхъ дверь служила окномъ, у другихъ окно дверью; сами ткали они себѣ на одежду толстое, но не плотное сукно, цѣлыя провинціи ходили босикомъ, другія носили деревянные башмаки, кожанные составляли, какъ у насъ, рѣдкую роскошь. Грамотѣ они не знали. Вся умственная жизнь сосредоточилась въ лицѣ пролетарія церкви, сельскаго священника, онъ поучалъ ихъ ненависти къ протестантамъ и прибавлялъ католическое изувѣрство къ кельтическимъ предразсудкамъ, которыми была полна ихъ голова.

О томъ, что происходило внѣ деревни, никто не зналъ и не интересовался знать. Сношенія были чрезвычайно затруднительны. Правда, нѣсколько пышныхъ «королевскихъ» дорогъ въ 60 фунтовъ шириной перерѣзывали Францію, но на нихъ до 1776 г. ходили только двѣ почтовыхъ кареты и по цѣлымъ днямъ путешественникъ не встрѣчалъ никакого экипажа. Извѣстно, что отправляясь въ Ліонъ, тѣмъ паче въ Марсель изъ Парижа, путникъ прощался съ родными и дѣлалъ завѣщаніе. Боковыхъ дорогъ было мало, содержаны онѣ были скверно, несмотря на то, что дорожная повинность вмѣстѣ съ работой въ господскомъ домѣ была еще дополнительной тяжестью, падавшей на долю бѣднаго поселянина. Такъ тянулось печальное существованіе двадцати милліоновъ, т. е., огромнаго большинства французовъ, «безъ отдыха, безъ надежды, безъ другой радости, кромѣ пестраго наряда, въ которомъ они ходили къ обѣднѣ въ праздникъ; безъ перемѣны, развѣ кого-нибудь голодъ загонялъ въ городъ поденщикомъ или въ полкъ солдатомъ, въ послѣднемъ случаѣ ушедшій рѣдко возвращался въ родительскій домъ». А надъ этими паріями жила стая хищнаго дворянства, смотрѣвшаго на нихъ съ высокомѣрнымъ презрѣніемъ и грабившаго ихъ съ безпощадной жесто-

костью. «Зато и мужикъ поглядывалъ съ затаенной ненавистью на башни замка, мечтая о томъ времени, когда онъ подожжетъ и его, и въ немъ книгу недоимокъ» (Зибель «Исторія революціоннаго времени»).

Небольшое число оброчныхъ крестьянъ въ сѣверной Франціи, да 2—3 уголка съ патріархальнымъ дворянствомъ, безвыѣздно жившимъ въ своихъ помѣстьяхъ, гдѣ-нибудь въ Вандеѣ, въ нижней Британіи, жили лучше.

Не много лучше было и въ городахъ для работниковъ и мастеровыхъ. Руководствуясь средневѣковымъ правиломъ, что «только король даетъ человѣку право на работу», правительство продавало всѣ занятія и промыслы: прачкѣ—право стирать, швеѣ—право шить, мостовщику—право мостить. Когда Тюрго хотѣлъ уничтожить цехи, вся Франція испугалась, и правительство, уступивъ было, снова ихъ ввело.

Взятки и наглое казнокрадство не было во Франціи такъ національно и всеобще, какъ у насъ, но они отчасти восполнялись аліотажами и продажей мѣстъ; покупщики, какъ собственники мѣстъ, грабили народъ по праву, стремились вмѣстѣ съ аристократіей праздно, безъ труда, жить доходами и наслаждаться на чужой счетъ, на счетъ какого-то *неизвѣстнаго*, не имѣющаго имени, котораго не стоило знать и который, истощая силы мышцъ и силы мозга, долженъ былъ работать—для нихъ.

Этотъ анонимъ былъ—народъ французскій!

Но при всемъ этомъ ни энциклопедисты съ Вольтеромъ, ни то общество молодыхъ адвокатовъ и литераторовъ, которое вспослѣдствіи явилось членами грознаго конвента, ни молодое дворянство съ Мирабо и Лафайэтомъ, ни армейскіе сержанты, эти будущіе Гоши и Марсо,—никто не отчаявался и Франція въ пять лѣтъ вышла изъ этого положенія.

Теперь для насъ не въ томъ вопросъ,—исполнился ли идеалъ революціи или нѣтъ, былъ-ли онъ осуществленъ или нѣтъ и почему Франція черезъ полъвѣка сломилась и пала подъ бременемъ гражданской симоніи и мѣщанскаго разврата. Мы не обязаны дѣлать ту же революцію, у насъ и задача иная, и силы къ ея разрѣшенію иныя. Для насъ важно то, что въ сорокъ лѣтъ самаго судорожнаго развитія, несмотря на грозныя войны революціи, на преступную трату цѣлыхъ поколѣній Наполеономъ, на вторженіе непріятельскихъ войскъ, на конскрипціи и контрибуціи, народъ французскій перешелъ отъ состоянія, въ которомъ былъ при министерствѣ Тюрго и Неккера, до того состоянія, въ которомъ, напримѣръ, засталъ его Людовикъ Филиппъ.

Сверхъ того, не надо забывать, что историческій бытъ Франціи сложился вѣками и учрежденія имѣли глубокіе корни въ нравахъ и жизни народной. Гдѣ у насъ эти us et coutumes, связывающіе каждый шагъ, тяжелая парламентская жизнь, роды родовъ судейскихъ фамилій, которыя словно по наслѣдству судили и рядили народъ; наконецъ, гдѣ у насъ древній, сѣдой институтъ королевской власти, связанной со всѣми воспоминаніями исторіи, и съ феодализмомъ, и съ городскою жизнію, и съ католицизмомъ, и съ славою «великаго вѣка»,—институтъ, послѣдовательно разработавшійся въ цѣлую систему аристократи-

ческой монархіи? Народы вживаются до того въ вѣковыя формы и обряды, что не понимаютъ жизни въ другихъ формахъ, хотя бы онѣ были лучше. Консерватизмъ Англіи основанъ на этомъ, но для того, чтобы имѣть эти обязательныя воспоминанія, надобно много прожить, надобно что-нибудь имѣть для храненія.

У насъ ничего подобнаго нѣтъ. Что у насъ преемственное, древнее, неискоренимо-прочное? Табель о рангахъ, дворянская грамота, городовыя положенія, сенатъ, синодъ, крѣпостное право, чиновники, лейбъ-гвардія? Или не въ самомъ-ли дѣлѣ иностранная шутка—the old Moscovit party, the old boyards? По счастію, это old—самое *новое* въ русской жизни, мы воротились школой и книгой къ нашему православному Геркулануму и къ нашей славянофильской Помпеѣ; оно очень интересно, но мертвый живому не товарищъ.

Мы сто-пятьдесятъ лѣтъ живемъ въ ломкѣ стараго; цѣлаго ничего не осталось, да и жалѣть не о чемъ. У насъ есть сельскій бытъ, всякаго рода учрежденія, попытки, начинанія, да мысль, больше и больше оживающая, не привязанная ни къ какой кастѣ, ни къ какому изъ существующихъ порядковъ. Мы съ Петра I въ перестройкѣ, ищемъ формъ, подражаемъ, списываемъ, и черезъ годъ пробуемъ новое. Достаточно перемѣнить министра, чтобы вдругъ изъ государственныхъ крестьянъ сдѣлать удѣльныхъ или наоборотъ. У насъ только не мѣняется почва, грунтъ, т. е., опять село, но крестьянскій бытъ скорѣе физіологическій характеръ, догосударственное statu quo, состояніе, посылка, которой силлогизмъ будетъ въ будущемъ,—нежели продолженіе московскаго царства; оно было и при немъ, вотъ все, что мы можемъ сказать. Измѣнить его было-бы очень трудно, да это и ненужно, совсѣмъ напротивъ, на чемъ-то и созиждется будущая Русь.

Конечно, не легко перейти отъ нѣмецкой бюрократіи, къ болѣе простымъ и народнымъ началамъ государственнаго строенія. Но гдѣ же эти непреодолимыя препятствія? Разумѣется, мудрено видѣть истину, если однимъ не позволяютъ говорить, а другіе заинтересованы, чтобъ скрывать. Государь ничего не видитъ изъ-за стропилъ и лѣсовъ канцеляріи и бюрократіи, и поэтому правительство, вступивъ въ эпоху реформъ, идетъ ощупью, хочетъ и не хочетъ; а тѣ, которые могли-бы дать совѣтъ, тѣ бьются какъ рыба объ ледъ, не имѣя голоса.

Для того, чтобъ продолжать петровское дѣло, надобно государю такъ же откровенно отречься отъ петербургскаго періода, какъ Петръ отрекся отъ московскаго. Весь этотъ искусственный снарядъ императорскаго управленія устарѣлъ. Имѣя власть въ рукахъ и опираясь, съ одной стороны, на народъ, съ другой, на всѣхъ мыслящихъ и образованныхъ людей въ Россіи, нынѣшнее правительство могло бы сдѣлать чудеса, безъ малѣйшей опасности для себя.

Такого положенія, какъ Александръ II, не имѣетъ ни одинъ монархъ въ Европѣ,—но кому много дается, съ того много и спросится.

Черезъ три года.

Ты побѣдилъ, Галилеянинъ! и намъ легко это сказать потому, что у насъ въ нашей борьбѣ не замѣшано ни самолюбіе, ни личность. Мы боролись изъ дѣла,—кто его сдѣлалъ, тому и честь.

Середь общаго сѣтованія, прерываемаго дикими криками бѣсновавшихся реакціонеровъ и солдатъ, пьяныхъ отъ крови, середь нелѣпой войны и глубокаго паденія всего западнаго материка,—мы, со страхомъ гадая, обращали взглядъ нашъ на молодого человѣка, шедшаго занять упраздненное мѣсто на желѣзномъ тронѣ.

«Отъ васъ ждутъ кротости», говорили мы ему, «отъ васъ ждутъ человѣческаго сердца,—вы необыкновенно счастливы!» И робко, мучимые сомнѣніемъ, прибавляли: «Дайте свободу русскому слову! Смойте съ Россіи позорное пятно *крѣпостного состоянія*».

И потомъ мы ждали съ внутреннимъ трепетомъ, надѣясь, негодуя, прислушиваясь къ движенію, къ вѣстямъ. Послѣ тридцатилѣтняго ожиданія—нетерпѣніе простительно.

Книга Корфа оскорбила насъ, она такъ грубо дотронулась до воспоминаній святыхъ намъ, она такъ безпощадно напоминала намъ свинцовое время, въ которое мы столько страдали.

...А тамъ это старье, эта олицетворенная подагра правительства, эти мозоли, мѣшающіе ему идти впередъ... Надежды удалялись, мы становились еще бѣднѣе и готовились, скрестя руки на груди, остаться печальными обличителями нѣмыхъ злодѣйствъ, совершающихся во мракѣ канцелярскихъ тайнъ.

Но съ того дня, какъ Александръ II подписалъ первый актъ, всенародно высказавшій, что онъ со стороны освобожденія крестьянъ, что онъ его хочетъ, съ тѣхъ поръ наше положеніе къ нему измѣнилось.

Мы имѣемъ дѣло уже не съ случайнымъ преемникомъ Николая, а съ мощнымъ дѣятелемъ, открывающимъ новую эру для Россіи. Онъ работаетъ съ нами—для великаго будущаго.

Имя Александра II отнынѣ принадлежитъ исторіи; если-бъ его царствованіе завтра окончилось, если-бъ онъ палъ подъ ударами какихъ-нибудь крамольныхъ олигарховъ, бунтующихъ защитниковъ барщины и розогъ,—все равно. Начало освобожденія крестьянъ сдѣлано *имъ*, грядущія поколѣнія этого не забудутъ!

Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ онъ могъ остановиться. Нѣтъ, нѣтъ, пусть онъ довершитъ начатое,—пусть полный вѣнокъ закроетъ его корону. Гнилое, своекорыстное, дикое, алчное противодѣйствіе закоснѣлыхъ помѣщиковъ, ихъ волчій вой — не опасенъ. Что они могутъ противупоставить, когда противъ нихъ *власть и свобода*, образованное меньшинство и весь народъ, царская воля и общественное мнѣніе. И пуще всего общественное мнѣніе. Лишь-бы теперь нашимъ плантаторамъ и ихъ противникамъ позволено было вполнѣ высказаться, помѣриться... И тутъ, какъ во всемъ, по неволѣ бьешься въ другое *великое искомое* современной Россіи—*въ гласность*. Гласность ихъ казнитъ прежде, нежели дойдетъ дѣло до правительственнаго бича.

Посмотрѣли-бы мы, право, au grand jour на этихъ защитниковъ розогъ и крещеной собственности, забрызганныхъ кровью жертвъ, на этихъ грабителей по дворянской грамотѣ, на этихъ людокрадовъ, отнимающихъ у матерей дѣтей, торгашей, продающихъ дѣвокъ, барышниковъ рекрутами! Выходите же на арену, дайте на васъ посмотрѣть, родные волки великороссійскіе, можетъ, вы поумнѣли, какая у васъ шерсть, есть-ли у васъ зубы, уши? Знаете, что—до помѣщичьяго права добираются, до вольности дворянской? Это мужика-то и не посѣчь, и не заставить поработать четвертый и пятый день, двороваго-то и не поколотить. Помилуйте! Выходите же изъ вашихъ тамбовскихъ и всяческихъ берлогъ—Собакевичи, Ноздревы, Плюшкины и пуще всего Пѣночкины, попробуйте не розгой, а перомъ, не въ конюшнѣ, а на бѣломъ свѣтѣ высказаться.—Помѣряемтесь!

Вамъ можно было отпустить грѣхъ неправаго наслѣдства, преемственнаго стяжанія, преступленія вашихъ злодѣевъ—отцовъ, вашихъ изверговъ матерей, за раскаяніе, за молчаніе, за умѣнье понести потерю, за угрызенія совѣсти. Но вы упорствуете, вы защищаете ваше право... стало, вы сознательно, обдуманно берете на себя всю отвѣтственность. Вы никогда не осмѣливались даже поворчать, когда вашихъ дѣтей ссылали въ Сибирь, когда съ самими вами обращались, какъ съ холопами, и вы осмѣливаетесь теперь показывать зубы. Исторія васъ разсудитъ съ императоромъ Александромъ II и съ народомъ русскимъ, — смотрите только, какъ бы она для васъ не настала слишкомъ скоро. Подумайте объ этомъ!

Что касается до насъ,—нашъ путь впередъ назначенъ: мы идемъ съ тѣмъ, кто освобождаетъ и пока онъ освобождаетъ; въ этомъ мы послѣдовательны всей нашей жизни. Какъ бы слабъ нашъ голосъ ни былъ, все же онъ *живой голосъ, и* какъ бы нашъ *Колоколъ* ни былъ малъ, все же его слышно въ Россіи, а потому скажемъ еще разъ, что мы убѣждены, что Александръ II неравнодушно приметъ привѣтствіе людей, которые сильно любятъ Россію, но также сильно любятъ и свободу, «которымъ ненужно его бояться и которые для себя лично *ничего не ждутъ, ничего не просятъ*».

Но ничего не прося, они желали бы, чтобъ Александръ II видѣлъ въ нихъ представителей свободной русской рѣчи, противниковъ всему, останавливающему развитіе, во всемъ, ограничивающемъ независимость,—*но не враговъ!* Они потому этого хотятъ, что имъ стало дорого мнѣніе *освободителя крестьянъ*.

«Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!»

Насъ упрекаютъ.

Насъ упрекаютъ либеральные консерваторы въ томъ, что мы слишкомъ нападаемъ на правительство, выражаемся рѣзко, бранимся крупно.

Насъ упрекаютъ свирѣпо красные демократы въ томъ, что мы мирволимъ Александру II, хвалимъ его, когда онъ дѣлаетъ что-нибудь хорошее, и вѣримъ, что онъ хочетъ освобожденія крестьянъ.

Насъ упрекаютъ славянофилы въ западномъ направленіи.

Насъ упрекаютъ западники въ славянофильствѣ.

Насъ упрекаютъ прямолинейные доктринеры въ легкомыслiи и шаткости, оттого что мы зимой жалуемся на холодъ, а лѣтомъ совсѣмъ напротивъ—на жаръ.

На сей разъ только нѣсколько словъ въ отвѣтъ послѣднему упреку.

Онъ вызванъ двумя или тремя признаніями, что мы *ошиблись*, что мы были *увлечены;* не станемъ оправдываться тѣмъ, что мы ошибались и увлекались со всей Россіей, мы не отклоняемъ отвѣтственности, которую добровольно взяли на себя. Мы должны быть послѣдовательны, *единство*—необходимое условіе всякой пропаганды, съ насъ въ правѣ его требовать. Но, принимая долю вины на себя, мы хотимъ ее раздѣлить съ другими виновниками.

Идти по одной линіи легко, когда имѣешь дѣло съ спѣтымъ порядкомъ дѣлъ, съ послѣдовательнымъ образомъ дѣйствія,—что труднаго взять рѣзкое положеніе относительно англійскаго правительства или французскаго императорства? Трудно ли было быть послѣдовательнымъ во время прошлаго царствованія?

Но мы этого *единства* не находимъ въ дѣйствіяхъ Александра II; онъ то является освободителемъ крестьянъ, реформаторомъ, то грозитъ растоптать едва всходящіе ростки.

Какъ согласить рѣчь его къ московскому дворянству и генералъ-губернаторство Закревскаго?

Какъ согласить облегченіе цензурныхъ путъ и запрещеніе писать объ освобожденіи крестьянъ съ землею?

Какъ согласить амнистіи, желанія публичности съ проектомъ Ростовцева, съ силой Панина?

Фридрихъ II говорилъ, что онъ не боялся ни одного генерала такъ, какъ Салтыкова, потому что никогда не могъ догадаться за минуту впередъ, какое движеніе онъ сдѣлаетъ: Салтыковъ всѣ ихъ дѣлалъ зря.

Шаткость въ правительствѣ отразилась въ нашихъ статьяхъ. Мы, слѣдуя за нимъ, терялись и, откровенно досадуя на себя, не скрывали этого. Въ этомъ была своего рода связь между нами и нашими читателями. Мы не вели, а шли вмѣстѣ; мы не учили, а служили отголоскомъ думъ и мыслей, умалчиваемыхъ дома. Ринутые въ современное движеніе Россіи, мы носимся съ нимъ по перемѣнному вѣтру, дующему съ Невы.

Конечно, тотъ, кто, останавливая надежду и страхъ, молча выждетъ результата, тотъ не ошибется. Надгробное слово исторіи—гораздо больше предохранено отъ промаховъ, нежели всякое участіе въ совершающихся событіяхъ.

Доктринеры на французскій манеръ и гелертеры на нѣмецкій, люди, производящіе слѣдствія, составляющіе описи, приводящіе въ порядокъ, твердые въ положительной религіи или религіозные въ положительной наукѣ, люди обдуманные, точные—доживаютъ до старости лѣтъ, не сбиваясь съ дороги и не сдѣлавъ ни орѳографическихъ, ни иныхъ ошибокъ; а люди, брошенные въ борьбу, исходятъ страстной вѣрой и страстнымъ сомнѣніемъ, истощаются гнѣвомъ и негодованіемъ, перегораютъ быстро, падаютъ въ крайность, увлекаются и мрутъ на полдорогѣ,—много разъ споткнувшись.

Не имѣя ни исключительной системы, ни духа партіи, все отталкивающаго,

мы имѣемъ незыблемыя основы, страстныя сочувствія, проводившія насъ отъ ребячества до сѣдыхъ волосъ, въ нихъ у насъ нѣтъ *легкомыслія*, нѣтъ *колебанія*, нѣтъ уступокъ! Остальное намъ кажется второстепеннымъ; средства осуществленія безконечно различны, которое изберется... въ этомъ поэтическій капризъ исторіи,—мѣшать ему неучтиво.

Освобожденіе крестьянъ съ землею—одинъ изъ главныхъ и существенныхъ вопросовъ для Россіи и для насъ. Будетъ ли это освобожденіе «сверху или снизу»,—мы будемъ за него! Освободятъ-ли ихъ крестьянскіе комитеты, составленные изъ заклятыхъ враговъ освобожденія,—мы благословимъ ихъ искренно и отъ души. Освободятъ ли крестьяне себя отъ комитетовъ, во первыхъ, а потомъ отъ всѣхъ избирателей въ комитеты,—мы первые поздравимъ ихъ братски и также отъ души. Прикажетъ ли, наконецъ, государь отобрать имѣнья у аристократіи, а ее выслать... ну, хоть куда-нибудь на Амуръ къ Муравьеву, мы столько же отъ души скажемъ: «Быть по сему».

Изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что мы рекомендуемъ эти средства, что нѣтъ другихъ, что это лучшія, совсѣмъ нѣтъ,—наши читатели знаютъ, какъ мы думаемъ объ этомъ.

Но такъ какъ главное дѣло въ томъ, чтобъ крестьяне были освобождены съ землею, то изъ-за средствъ спора мы не поднимемъ.

При такомъ отсутствіи обязательной доктрины, предоставляя, такъ сказать, самой природѣ дѣйствовать, и сочувствуя каждому шагу, согласному съ нашимъ воззрѣніемъ, мы можемъ часто ошибаться; всегда будемъ очень рады, когда «ученые друзья наши», спокойно сидящіе въ сторожкахъ на берегу, прокричатъ намъ «правѣе или лѣвѣе» держаться; но мы желали бы, чтобъ и они не забывали, что имъ легче дѣлать наблюденія надъ силой волнъ и слабостью пловцовъ, нежели намъ плыть... и притомъ такъ далеко отъ берега.

Изъ-за стѣнъ доктрины, какъ изъ-за монастырскихъ стѣнъ, сполугоря смотрѣть на треволненіе мірское. Доктринеры счастливы, они не увлекаются и... *не увлекаютъ другихъ*.

Манифестъ!

Первый шагъ сдѣланъ!—Говорятъ, что онъ труднѣе прочихъ: будемъ ждать *второго*—съ упованіемъ, хотѣли бы ждать его съ полной увѣренностью; но все дѣлается такъ шатко, такъ половинно, и тяжело!

Освобожденіе крестьянъ только началось съ провозглашенія манифеста. Не отдыхъ, не торжество ждетъ государя, а упорный трудъ; не отдыхъ, не воля ждетъ народъ,—а новый страшный искусъ.

Скорѣе,—скорѣе *второй* шагъ!

Александръ II сдѣлалъ много, очень много: его имя теперь уже стоитъ выше всѣхъ его предшественниковъ. Онъ боролся во имя человѣческихъ правъ, во имя состраданія противъ хищной толпы закоснѣлыхъ негодяевъ—и сломилъ ихъ! Этого ему ни народъ русскій, ни всемірная исторія не забудутъ. Изъ дали нашей ссылки мы привѣтствуемъ его именемъ, не возбуждая горькой улыбки,—мы привѣтствуемъ его именемъ *освободителя!*

Но горе, если онъ остановится, если усталая рука его опустится. Звѣрь не убитъ, онъ только ошеломленъ! Теперь, пока стоглавая гидра не совсѣмъ опомнилась, надобно покончить ее и освободить вмѣстѣ съ русскимъ крестьяниномъ новую русскую государственную мысль—и отъ нѣмецкихъ колодокъ, и отъ русскихъ татаръ, тучныхъ нашей кровью, нашими слезами, нашимъ изнуреніемъ.

Слово *освобожденія* сказано. Государь признался. Это дѣло великое, но не все,—слово должно стать дѣломъ, освобожденіе быть истиной!

Выборъ в. кн. Константина Николаевича, кажется, удаченъ. Онъ необыкновенно выросъ, явившись опорой своего брата въ дѣлѣ освобожденія, и когда Александръ его обнялъ въ первомъ засѣданіи, его обняла вся Россія.

Какая огромная полоса славы передъ обоими. Вы оба, какъ говорятъ русскіе, родились въ сорочкѣ.

Борьба ваша, Константинъ Николаевичъ, легче; съ вашей стороны не только справедливость, но все думающее и все страдающее, меньшинство образованныхъ людей и большинство массы. А противъ васъ кто? Горсть пустыхъ стариковъ, алчныхъ невѣждъ, мощныхъ звѣздами и переплетенныхъ лентами; вѣдь они только сильны вами; у нихъ опоры нѣтъ, кромѣ дворовыхъ людей, которыхъ рабство они зажилили еще на два года. Ихъ бояться нечего. Затѣмъ остается дикій лѣсной помѣщикъ, еще менѣе опасный,—на такихъ-ли медвѣдей ходитъ вашъ братъ. Лѣсной, степной помѣщикъ былъ своеволенъ и неукротимъ подъ материнскимъ крыломъ полиціи, онъ буйствовалъ на основаніи царскихъ льготъ; отнимите отъ него руку и вы увидите, какъ онъ присмирѣетъ...

Но врядъ-ли можно успѣть во многомъ однимъ канцелярскимъ порядкомъ, одной бюрократіей. Окружите себя свѣжими, живыми людьми, не рутинистами, не доктринерами, а людьми, понимающими, любящими Россію, и, главное, не бойтесь гласности, какъ бы она ни была рѣзка!

Вспомните одинъ примѣръ.

Вольнѣе нашего никогда не раздавалась русская рѣчь. Что же говорила она, что распространяла она, что поставила на своемъ знамени?

Нѣсколько дней послѣ 3-го марта (19 февраля) 1855 года мы писали, что Россія ждетъ отъ новаго государя: *освобожденія крестьянъ съ землею, уничтоженія тѣлесныхъ наказаній и гласности въ судѣ и печати.*

Прошло шесть лѣтъ, и нѣсколько дней спустя 3 марта (19 февраля) 1861 года всенародно возвѣщено уничтоженіе крѣпостнаго права. Вы сами стараетесь вывести во флотѣ тѣлесныя наказанія.

Чередъ за гласностью!

Русскіе нѣмцы и нѣмецкіе русскіе.

I.

Историки дѣлаются, поэты родятся,—говоритъ латинская сентенція. Наши правительствующіе нѣмцы имѣютъ ту выгоду противъ историковъ и поэтовъ, что они и *дѣлаются* и *родятся*. Родятся они отъ обрусѣлыхъ нѣмцевъ, дѣлаются изъ онѣмечившихся русскихъ. Плодородіе это—спору нѣтъ—дѣло хорошее, но чтобъ

они не очень гордились этимъ богатствомъ путей нарожденія, мы имъ напомнимъ, что только низшія животныя разводятся на два, на три манера, а высшія имѣютъ одну методу, зато хорошую.

Изъ всѣхъ правительственныхъ нѣмцевъ, само собою разумѣется, русскіе нѣмцы самые худшіе. Нѣмецкій нѣмецъ въ правительствѣ бываетъ наивенъ, бываетъ глупъ, снисходитъ иногда къ варварамъ, которыхъ онъ долженъ очеловѣчить. Русскій нѣмецъ ограниченно уменъ и смотритъ съ отвращеніемъ стыдящагося родственника на народъ. И тотъ, и другой чувствуютъ свое безконечное превосходство надъ нимъ, и тотъ и другой глубоко презираютъ все русское, увѣрены, что съ нашимъ братомъ ничего безъ палки не сдѣлаешь. Но нѣмецъ не всегда показываетъ это, хотя и всегда бьетъ; а русскій и бьетъ и хвастается.

Собственно *нѣмецкая* часть правительствующей у насъ Германіи имѣетъ чрезвычайное единство во всѣхъ семнадцати или восемнадцати степеняхъ нѣмецкой табели о рангахъ. Скромно начинаясь подмастерьями, мастерами, гезеллями, аптекарями, нѣмцами *при дѣтяхъ*, она быстро всползаетъ по отлогой для ней лѣстницѣ до нѣмцевъ—*при Россіи*. Выше этихъ *горъ* и *орловъ* [1]) ничего нѣтъ, т. е., ничего земного...

Всѣ они, отъ юнѣйшаго нѣмца подмастерья до старѣйшаго дѣдушки изъ снѣговержцевъ зимняго Олимпа, отъ рабочей сапожника, гдѣ ученикъ заколачиваетъ смиренно гвозди въ подошву, до экзерциргауза, гдѣ нѣмецъ, корпусной командиръ, заколачиваетъ въ гробъ солдата,—всѣ они имѣютъ одинакіе зоологическіе признаки, такъ что въ нѣмцѣ-сапожникѣ бездна генеральскаго и въ нѣмцѣ-генералѣ пропасть сапожническаго; во всѣхъ нихъ есть что-то ремесленическое, чрезвычайно аккуратное, цеховое, педантское, всѣ они любятъ стяжаніе, но хотятъ достигнуть денегъ честнымъ образомъ, т. е., скупостью и усердіемъ; но даетъ имъ ихъ черствый, холодный, осторожный и безстрастный характеръ. Воруя на службѣ, можно еще быть добродушнымъ плутомъ; наживать честнымъ образомъ—все же будешь плутомъ,—но злымъ и безпощаднымъ, напр., исполняя съ точностью безумные приказы.

Сверхъ этихъ общихъ признаковъ, всѣ правительствующіе нѣмцы относятся одинакимъ образомъ къ Россіи, съ полнымъ презрѣніемъ и таковымъ же непониманіемъ.

Не знаю, каковы были шведскіе нѣмцы, приходившіе за тысячу лѣтъ тому назадъ въ Новгородъ. Но новые нѣмцы, особенно идущіе изъ остзейскихъ провинцій, послѣ того, какъ Шереметьевъ «изрядно повоевалъ Лифлянды», похожи другъ на друга, какъ родные братья. Самый полный типъ ихъ, это конюхъ-регентъ, герцогъ на содержаніи, *Эрнстъ-Іоганнъ Бирономъ*.

Въ мою молодость въ Москвѣ я имѣлъ случай изучить, по крайней мѣрѣ, человѣкъ пять Бироновъ, только они не были на содержаніи, а жили на свой счетъ. Отецъ мой охотно отдавалъ дворовыхъ мальчиковъ къ нѣмцамъ *въ науку*. Всѣ хозяева были неумолимые систематическіе злодѣи и при томъ какіе-то

[1]) Намекъ на вліятельную во время Герцена при дворѣ фамилію графовъ Адлербергов (Adler—орелъ, Berg—гора).

беззлобные, что еще больше дѣлало невыносимымъ ихъ тиранство. Я помню очень живо щеточника въ Леонтьевскомъ переулкѣ, бѣлобрысаго нѣмца, съ испорченными зубами, лѣтъ 35, чисто одѣвавшагося, говорившаго тихо и скромно державшаго себя внѣ мастерской. Дома при немъ постоянно лежалъ ремень, и онъ, какъ американскій плантаторъ или какъ пьяный кучеръ, стегалъ то и дѣло—то того, то другого мальчика, и стегалъ два раза, если тотъ отвѣчалъ. Я даже не думаю, чтобъ этотъ человѣкъ былъ особенно свирѣпъ, онъ съ тупымъ убѣжденіемъ продолжалъ дѣло Петра I и вколачивалъ ремнемъ европейскую цивилизацію. «Es ist ein Vieh—man muss der Bestie den Russen herausschlagen», думалъ онъ съ спокойной совѣстью.

Я увѣренъ, что Биронъ, ужиная en petit comité съ своими Левенвольденами, Менгденами, точно такъ же относился о своей Россіи, и Остерманъ ему поддакивалъ, если не было никого изъ русскихъ и жаловался на глухоту, если кто-нибудь былъ налицо. И добрые нѣмцы, какъ добрый щеточникъ, безъ устали употребляли ремни, въ родѣ Ушаковыхъ, Бестужевыхъ, которые подымали Россію на дыбу, ломали ей руки и ноги и были вдвое мерзѣе своихъ нѣмецкихъ хозяевъ.

Объ нихъ-то именно мы и хотимъ поговорить.

Типъ Бирона здѣсь блѣднѣетъ, русскій *на манеръ нѣмца* далеко превзошель его; мы имѣемъ въ этомъ отношеніи предѣлъ, геркулесовъ столбъ, далѣе котораго «отъ жены рожденный» не можетъ идти, это графъ Алексѣй Андреевичъ Аракчеевъ. Въ немъ совмѣстились всѣ роды бичей, которыми Русь воспитывалась, это былъ раболѣпный татарскій баскакъ, наушникъ дворецкій изъ крѣпостныхъ и прусскій вахмистръ временъ курфюрста Фридриха Вильгельма. Но что же было въ немъ русскаго? Какое-то національное ensemble, какое-то національное сочетаніе нагайки, розогъ и шпицрутена.

Аракчеевъ совсѣмъ не нѣмецъ, онъ и по нѣмецки не зналъ, онъ хвастался своимъ руссопетствомъ, онъ былъ, такъ сказать, *по службѣ* нѣмецъ и, не отдавая себѣ никогда отчета, выбивалъ изъ солдата и мужика не только русскаго, но и человѣка.

Такъ какъ въ Саксоніи есть своя небольшая Швейцарія, такъ у насъ своя и притомъ очень большая Германія. Средоточіе ея въ Петербургѣ, но точки окружности вездѣ, гдѣ есть стоячій воротникъ, секретарь и канцелярія, во всѣхъ администраціяхъ: сухопутныхъ горныхъ, соляныхъ, военно-статскихъ и статско-военныхъ. Настоящіе нѣмцы составляютъ только ядро или закваску, но большинство состоитъ изъ всевозможныхъ русскихъ—православныхъ, столбовыхъ, съ нашимъ жирнымъ носомъ и монгольскими скулами, ученыхъ, невѣждъ, эскадронныхъ командировъ, журналистовъ и начальниковъ отдѣленія. Они-то и занимаютъ всѣ первыя мѣста, когда нѣтъ подъ рукой настоящаго нѣмца, и всѣ вторыя, когда есть, или вѣрнѣе, всѣ остальныя, кромѣ поповскихъ, и это оттого, что нѣмецъ ex officio долженъ ходить по нѣмецки, т. е., брить бороду, а попъ изъ религіозныхъ причинъ долженъ быть женатъ и съ бородой.

Вступивъ однажды въ нѣмцы, выйти изъ нихъ очень трудно, какъ свидѣтельствуетъ весь петербургскій періодъ; какой-то нервъ портится, какой-то

уголъ отшибается, и въ силу этого теряется всякая возможность понимать что-нибудь русское, по крайней мѣрѣ, то русское, что составляетъ народную особность...

Дѣло-то въ томъ, что жизнь русскую, не установившуюся, задержанную и искаженную, вообще трудно понимать безъ особеннаго сочувствія, но во сто разъ труднѣе *въ нѣмецкомъ переводѣ*, а мы ее только въ немъ и читаемъ. Она ускользаетъ отъ чужихъ опредѣленій, а сама не достигла того отстоявшагося полнаго сознанія и отчета, которое является у старыхъ народовъ, вмѣстѣ съ сѣдиною и печальнымъ припѣвомъ: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait!

Вмѣсто статистическихъ, юридическихъ, историческихъ торныхъ дорогъ, по которымъ мы ѣздимъ во всѣ стороны на Западъ, у насъ вездѣ лѣсъ, проселки, дичь... Стремленія, способности, огромный ростъ, въ ужасъ приводящее молчаніе и какой-то народный бытъ, засыпанный мусоромъ... вотъ и все. Есть признаки, *примѣты*, звуки, симпатіи, по которымъ многое дѣлается понятнымъ для простого ума, т. е., не предупрежденнаго, для простого сердца, для кровной связи; это чутье совершенно притупляется нѣмецкой дрессировкой.

Кто не видалъ въ свою жизнь истаго городского жителя, какъ онъ теряется въ полѣ, въ лѣсу, въ горахъ?.. Ни будочника, чтобъ спросить дорогу, ни номеровъ, ни фонарей; а крестьянскій мальчикъ попѣваетъ пѣсни, щелкаетъ орѣхи и преспокойно идетъ домой.

Той ясности, той легкости, къ которой насъ пріучаетъ чтеніе духовныхъ завѣщаній, надгробныхъ надписей, оконченныхъ процессовъ, мы не находимъ и, обращаясь къ хаосу русской жизни, ломаемъ и гнемъ непонятные факты въ чужую мѣру.

Это метода Петра, перваго императора и перваго русскаго нѣмца. Петръ былъ совершенно правъ въ стремленіи выйти изъ неловкихъ, тяжелыхъ государственныхъ формъ московскаго царства, но разорвавшійся съ народомъ и равно лишенный геніальнаго чутья и геніальнаго творчества, онъ поступилъ проще. Возлѣ, рядомъ иныя формы прочной нѣмецкой работы, въ нихъ такъ могуче развилась западная жизнь, чего же лучше: Herr Nachbar, eine kleine Copie... Въ самомъ дѣлѣ, коли эти формы были хороши для такихъ аристократовъ, какъ французы, шведы, нѣмцы, какъ же имъ не быть хорошими для русскихъ мужиковъ; стоитъ сначала приневолить, обрить, посѣчь, и все пойдетъ, какъ по маслу.

Такъ оно и пошло; ясно, что для вколачиванія русскихъ въ нѣмецкія формы слѣдовало взять нѣмцевъ: въ Германіи была бездна праздношатающихся пасторскихъ дѣтей, егерей, офицеровъ, берейтеровъ, форейтеровъ; имъ открываютъ дворцы, имъ вручаютъ казну, ихъ обвѣшиваютъ крестами; такъ, какъ Кортесъ завоевывалъ Америку испанскому королю, такъ нѣмцы завоевывали шпицрутенами Россію нѣмецкой *идеѣ*.

Если Биронъ ссылалъ сотнями, сѣкъ тысячами, это значитъ, что русскіе дурно учились.

Вѣдь, за то-то и Аракчеевъ билъ всю жизнь русскаго человѣка, чтобъ лучше его пригнать въ солдатскую мѣру, а ее Аракчеевъ унаслѣдовалъ изъ чи-

стѣйшаго голштинскаго источника, преданіе котораго хранилось свято и исправно. Идеалъ вахтпараднаго солдата, до котораго Аракчеевъ доколачивалъ, былъ хорошъ, а скотина-мужикъ этого не понималъ... Тысяча шпицрутеновъ, 2000, 3000,—да чего жалѣть прутьевъ, нашъ край дубравенъ—10000.

Нѣмцы изъ настоящихъ и изъ поддѣльныхъ приняли русскаго человѣка за tabula rasa, за листъ бѣлой бумаги... и такъ какъ они не знали, что писать, то они положили на немъ свое тавро, и сдѣлали изъ простой бумаги гербовый листъ и исписали его потомъ нелѣпыми формами, титулами, а главное, крѣпостными актами, которыми закабаляли больше и больше это *живое тѣсто*, которое они были призваны выцивилизовать.

За работу они принялись усердно: что помѣщикъ,—то Петръ I, что нѣмецъ,—то Биронъ. Помѣщикъ высѣкалъ изъ крестьянина лакея, Аракчеевъ—солдата. Добросовѣстные изъ нихъ были увѣрены, что они образуютъ ихъ. «Посмотрите,—говоритъ помѣщикъ,—на Гришку, три года тому назадъ за сохой ходилъ, а вотъ теперь служитъ въ англійскомъ клубѣ не хуже всякаго офиціанта, у меня есть секретъ ихъ учить. Тяжело было, нечего дѣлать, не одну березовую припарку вынесъ, зато теперь самъ чувствуетъ мои благодѣянія». И дѣйствительно, Гришка чувствовалъ это и Богу молилъ за барина, и отца съ матерью въ деревнѣ презиралъ, какъ сиволапыхъ мужиковъ.

Такъ у насъ шло тихо да келейно, посѣкая да постегивая, и долго бы прошло, да вдругъ русская жизнь натолкнулась на *русскій* вопросъ, а по-нѣмецки его разрѣшить нельзя.

Вопросъ этотъ въ освобожденіи крестьянъ съ землею... И во всякихъ чудесахъ—въ правѣ на землю, въ общинномъ владѣніи.

II.

Въ исторіи бываютъ чудеса мудренѣе всѣхъ сказочныхъ чудесъ, въ ней иногда спятъ крѣпче двѣнадцати спящихъ дѣвъ, въ ней точно такъ же есть живая и мертвая вода, вода чрезвычайной памяти и удивительнаго забвенія.

Не чудо ли въ самомъ дѣлѣ, что въ продолженіи полутора вѣковъ мы не имѣли никакого понятія о русскомъ народѣ. Все время, пока насъ вытягивали въ колоссальную имперію, пока намъ прививали цивилизацію и мы съ успѣхомъ учились тому и другому, у насъ не было никакого сознанія о нашемъ народѣ; были люди, знавшіе русскую исторію, но современнаго народа не зналъ ни одинъ человѣкъ.

Возлѣ, около, со всѣхъ сторонъ, на необозримомъ пространствѣ жило населеніе, считаемое десятками милліоновъ, единоплеменное съ нами, говорящее съ нами однимъ языкомъ, находившееся въ безпрерывномъ и самомъ тѣсномъ сношеніи съ нами, уже потому самому, что оно намъ было отдано на кормленіе,—и мы объ немъ не больше знали, какъ въ Англіи знаютъ объ индѣйцахъ, т. е., что его легко обирать.

Употребляя его въ снѣдь, тучнѣя отъ него, мы такъ же мало думали о немъ, какъ о гречневой кашѣ или буженинѣ—питательно и хорошо. Народъ, съ своей стороны, не напоминалъ о себѣ, а только кланялся въ поясъ при всякомъ заѣденномъ поколѣніи помѣщиками и чиновниками, приговаривая: «Дай Богъ на здоровье, мы на то ваши дѣти, вы на то наши отцы, чтобъ насъ кушать».

Ну, въ какой же сказкѣ, въ какомъ Бовѣ-королевичѣ, въ какомъ Еруслапѣ Лазаревичѣ вы найдете что-нибудь удивительнѣе?

Между тѣмъ западное образованіе прививалось не даромъ; мы въ немъ дочитались до того, что ни антропофагія, ни раболѣпіе не составляютъ высокихъ качествъ человѣка, что человѣкъ, который сѣчетъ и насильничаетъ, очень легко получаетъ самъ пинки; и мало по малу началось у насъ складываться *либеральное мнѣніе*, сначала въ небольшомъ кругѣ образованныхъ.

Какъ только у насъ явилась мысль объ обузданіи произвола, рядомъ съ нею явилась, какъ дополненіе, мысль объ освобожденіи народа. Но долгій разрывъ высказался тутъ всего яснѣе тѣмъ, что развитое меньшинство, имѣя благородныя, общечеловѣческія стремленія, не знало быта народнаго и, слѣдственно, его истинныхъ потребностей.

Надо правду сказать, что либерализмъ нигдѣ не отличался глубокимъ знаніемъ народа, особенно сельскаго. Либерализмъ вообще явленіе переходное, развившееся въ городской цивилизаціи, необходимая расчистка мѣста между старой и новой постройкой. Онъ всегда довольствовался отвлеченнымъ понятіемъ о народѣ, риторическимъ образомъ его, въ которомъ были совмѣщены—простота геснеровыхъ патріарховъ, нравы дезульеровскихъ пастушекъ и свирѣпыя добродѣтели римскаго плебея допуническихъ временъ.

У насъ разстояніе между народомъ и либеральнымъ дворянствомъ казалось тѣмъ страшнѣе, что между ними ничего не было, какая-то безконечная пустота, въ которой едва замѣтно плетутся купцы, плетутся мѣщане, фельдъегери скачутъ взадъ и впередъ, помѣщики мелькаютъ, чиновники мчатся на слѣдствія,—нисколько не сближая двухъ Россій, остающихся двумя враждебными станами.

И при всемъ томъ разрывъ этотъ въ нашей жизни вовсе не былъ слѣдствіемъ всей исторической жизни, какъ распаденіе крестьянъ съ горожанами, простолюдиновъ съ феодалами въ Европѣ. Разрывъ былъ сдѣланъ у насъ по указу, насильственно, съ педагогическою цѣлью, и былъ до того сначала чуждъ, ненатураленъ, что въ предупрежденіе новаго сближенія—правительство выдумало ставить тавро на лица, своего рода обрѣзаніе, и стало мѣтить своихъ бритвой и ножницами, чтобъ они не мѣшались съ прочими. Однажды разрѣзанныя части цѣлаго, намѣренно поставленныя во враждебное положеніе, по свойственной тѣламъ упругости, удалились другъ отъ друга съ какимъ-то отвращеніемъ. «Мужикъ!» говорила съ высокомѣріемъ обритая и одѣтая въ ливрею Русь объ народѣ. «Нѣмцы!» бормоталъ себѣ въ бороду съ затаенной злобой народъ, глядя на дворянъ.

Такъ и устроились мы. Съ одной стороны, народъ въ угрюмомъ a parte, задавленный работой, полиціей, помѣщиками, живущій никому неизвѣстной

жизнію расколовъ и не имѣющій ничего общаго съ просвѣщающимъ правительствомъ, съ другой стороны, дворянство нераздѣльное съ правительствомъ, и потому само представляющее правительство. Русское повѣрье, что дворянинъ долженъ служить, иначе онъ теряетъ свое званіе, самое слово «недоросль» доказываетъ, что у насъ дворянство принято народомъ за коронную службу.

Съ развитіемъ просвѣщенія возникаетъ удивительное зрѣлище. Правительственная Россія дѣлится сама въ себѣ на правительство и оппозицію, такъ что одни чиновники представляютъ протестъ, либеральное начало, другіе консерватизмъ, начало авторитета,—и оба остаются на службѣ, получая чины и отличія. Это одна изъ причинъ, отчего не только русскій народъ ничего не понимаетъ во всемъ этомъ, но и всѣ европейскіе.

У насъ все дѣлается наизнанку,—сказалъ умирающій Ростопчинъ, услышавъ вѣсть о 14 декабря,—въ 1879 году французская roture хотѣла стать наровень съ дворянствомъ и боролась изъ-за этого, это я понимаю. А у насъ дворяне вышли на площадь, чтобы потерять свои привилегіи,—тутъ смысла нѣтъ».

Ѳедоръ Васильевичъ былъ умный человѣкъ, умѣвшій не хуже фанъ Амбурга обходиться съ Павломъ, не обжигаясь, и сжечь во-время Москву, но и онъ не понялъ этого страннаго явленія съ своей философіей XVIII столѣтія. Можетъ, въ раздвоеніи дворянскаго стана въ противность собственной выгодѣ лежитъ лучшее доказательство, что порча его не глубока, и единственный путь искупленія.

Не имѣя за собой балласта народнаго населенія, разорвавшееся съ нимъ, образованное меньшинство понеслось, какъ порожняя телѣга, быстро догоняя западное движеніе, попрыгивая на тѣхъ кочкахъ, на которыхъ предшественники ломали себѣ шею.

Но сравниваясь съ Европой, мы оставались въ петровскомъ отношеніи къ народу, т. е., смотрѣли на него, какъ на грубую массу, которую намъ надобно очеловѣчить. Нѣмецкаго презрѣнія Бирона съ компаніей—у меньшинства, разумѣется, не было, оно замѣнилось чувствомъ болѣе мягкимъ сострадательнаго покровительства къ неразумнымъ дѣтямъ.

На этомъ насъ застаютъ два событія. Паденіе Европы передъ соціальнымъ вопросомъ. Соціальный вопросъ, поставленный Александромъ II, какъ призывъ Россіи къ жизни.

Западные публицисты съ тѣмъ несокрушимымъ упрямствомъ, которое имъ даетъ ненависть къ Россіи и невѣжество, смѣются, когда мы говоримъ о великомъ историческомъ значеніи нашего освобожденія крестьянъ съ землею. А намъ кажется вопросъ этотъ до того важнымъ, что одно постановленіе его ставитъ насъ совсѣмъ на другую ногу съ Европой и даетъ Александру II мѣсто въ числѣ величайшихъ государственныхъ дѣятелей нашего времени.

Передъ *соціальнымъ* вопросомъ начинается наше равенство съ Европой, или, лучше, это дѣйствительная точка пересѣченія двухъ путей; встрѣтившись, каждый пойдетъ своей дорогой.

Западный міръ, дойдя до своего предѣла, самъ указалъ, что ему мѣшаетъ

и отрицательно опредѣлилъ свое искомое. Случайное распредѣленіе силъ, богатствъ, орудій работы, оставленное ему въ наслѣдство, окаменѣло давностью и, укрѣпленное всѣми новыми средствами, ставитъ стѣну, которую до сихъ поръ нельзя взять никакимъ приступомъ. Трудъ съ одной стороны, капиталъ съ другой, работа съ одной стороны, машина съ другой... Сколько соціализмъ ни ходитъ около своего вопроса, у него нѣтъ другого разрѣшенія, кромѣ лома и ружья. Vivre en travaillant ou mourir en combattant—кричатъ работники. Qui a du plomb, a du pain—отвѣчаетъ имъ Бланки.

Мирное рѣшеніе у нихъ было одно, но зато оно не было рѣшеніе. Соціальное меньшинство требовало у законодательнаго собранія *признанія права на работу*. Подъ нимъ крылось министерство работъ, т. е., разрѣшеніе правительствомъ борьбы между капиталомъ и работой, доходомъ и трудомъ, завѣдываніе государствомъ всѣми производительными лигами, иначе—промышленный деспотизмъ, прибавленный ко всѣмъ остальнымъ.

Сверхъ всего, такое рѣшеніе могло только водвориться на полномъ устраненіи стараго порядка вещей, на полномъ отреченіи его отъ правъ своихъ. Но онъ вовсе непохожъ на качающійся зубъ, который стоитъ тронуть, чтобъ онъ выпалъ, а скорѣе на слоновый клыкъ, почернѣлый, испорченный, но глубоко вросшій въ челюсть.

Единственная органическая попытка и была сдѣлана—работничьими артелями и товариществами. При томъ общественномъ устройствѣ, въ которомъ капиталъ, сверхъ своей силы, гнететъ всею силою правительства, они не могли выдержать ни конкуренціи, ни полицейскаго преслѣдованія,—стало, и тутъ не было выхода.

Либералы стараго толка, политическіе экономы стараго исповѣданія рѣшили, не безъ внутренняго удовольствія, что задача невозможная, что надобно все предоставить снова знаменитому laissez faire и, улучшая вообще существующія формы, ждать благодѣтельныхъ послѣдствій отъ увеличенія школъ и уменьшенія браковъ, отъ свободы торговли и техническихъ усовершенствованій. Пока они этого ждутъ, девять сотыхъ континента сломились подъ грубымъ солдатскимъ деспотизмомъ, народы разорены содержаніемъ арміи, тѣнь политическихъ правъ исчезла и послѣдній остатокъ ихъ Франція употребила на то, чтобы противудѣйствовать Наполеону въ его замыслахъ свободной торговли.

Зато въ Американскихъ Штатахъ осуществилось все, о чемъ либералы мечтали, да, сверхъ того, такое развитіе невольническаго труда, его признанія, его оправданія, о которомъ они и не мечтали. Съ двадцатыхъ годовъ, когда американцы, еще краснѣя, говорили объ этомъ наслѣдственномъ злѣ, когда они проводили на своей картѣ рѣзкую черту, чтобъ отдѣлить себя отъ рабовладѣтелей, до нашего времени, понятія такъ измѣнились въ пользу рабства, что оно теперь возводится въ одно изъ краеугольныхъ основаній союза, въ одно изъ неотъемлемыхъ правъ республики; и сынъ американца Сѣверныхъ Штатовъ, котораго отецъ убилъ бы всякаго осмѣлившагося охотиться на его землѣ по чернымъ, спокойно вяжетъ ихъ теперь и отдаетъ хозяевамъ на казнь. Рабство, только

терпимое прежде, сдѣлалось закономъ, основой, на которой покоится американская демократія. Въ то время, какъ мы это пишемъ, можетъ быть, палачъ вѣшаетъ героевъ Гернерсъ-Ферри.

Итакъ, вотъ къ чему пришелъ образованный міръ!

Представьте же себѣ то удивленіе, которымъ было поражено наше образованное меньшинство, когда оно, обращая съ отчаяніемъ взглядъ свой середь этого кораблекрушенія, въ эту темную ночь, и не находя нигдѣ ни свѣта, ни помощи, ни указанія, ни маяка, увидѣло какой-то тусклый свѣтъ, и этотъ свѣтъ мерцалъ отъ лучины, зажженной въ избѣ русскаго мужика!

...Этотъ дикій, этотъ пьяный въ бараньемъ тулупѣ, въ лаптяхъ, ограбленный, безграмотный, этотъ парій, котораго лучшіе изъ насъ хотѣли изъ милосердія оболванить, а худшіе продавали на свозъ и покупали по счету головъ, этотъ нѣмой, который въ сто лѣтъ не вымолвилъ ни слова и теперь молчитъ,—будто онъ можетъ что-нибудь внести въ тотъ великій споръ, въ тотъ нерѣшенный вопросъ, передъ которымъ остановилась Европа, политическая экономія, экстраординарные и ординарные профессора, камералисты и государственные люди??

Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ онъ внести, кромѣ продымленнаго запаха черной избы и дегтя?

Вотъ подите тутъ и ищите справедливости въ исторіи: мужикъ нашъ вноситъ не только запахъ дегтя, но еще какое-то допотопное понятіе *о правѣ каждаго работника на даровую землю.* Какъ вамъ нравится это? Положимъ, что еще можно допустить *право на работу,* но *право на землю?..*

А между тѣмъ оно у насъ гораздо больше, чѣмъ право,—оно фактъ; оно больше, чѣмъ признано, оно существуетъ. Крестьянинъ на немъ стоитъ, онъ его мѣритъ десятинами, и для него его право на землю естественное послѣдствіе *рожденія* и *работы.* Оно такъ же несомнѣнно въ народномъ сознаніи, такъ же логически вытекаетъ изъ его понятія родины и необходимости существованія возлѣ отца, какъ право *на воздухъ,* пріобрѣтаемое дыханіемъ, вслѣдъ за отдѣленіемъ отъ матери.

Право каждаго на пожизненное обладаніе землею до того вросло въ понятія народа русскаго, что, переживая личную свободу крестьянина, закабаленнаго въ крѣпость, оно выразилось, повидимому, безсмысленной поговоркой: *Мы господскіе, а земля наша.*

Само собою разумѣется, что Русь дворянская, согласно съ западнымъ понятіемъ права собственности, смотрѣла совсѣмъ иначе на вопросъ о крестьянахъ и землѣ. Наиболѣе образованные, допуская, что рано или поздно крестьяне, когда они окончатъ ихъ воспитаніе (барщиной и оброкомъ), выйдутъ на волю, были увѣрены, что *земля* останется неприкосновенной собственностью воспитателей. Но Александръ Николаевичъ не того мнѣнія, онъ не любитъ слишкомъ дорого платить за воспитаніе, онъ и Зиновьева отблагодарилъ табакеркой во-время совершеннолѣтія наслѣдника,—а тутъ дай полъ-Россіи.

Счастіе, что мужикъ остался при своей нелѣпой поговоркѣ. Она перешла въ правительственную программу, или, лучше сказать, въ программу одного че-

ловѣка въ правительствѣ, искренно желающаго освобожденія крестьянъ, т. е., государя. Это обстоятельство дало, такъ сказать, законную скрѣпу, государственную санкцію народному понятію.

И это не все. Сверхъ признанія права каждаго на землю, въ народномъ бытѣ нашемъ есть другое начало, необходимо пополняющее первое, безъ котораго оно никогда не имѣло бы своего полнаго развитія. Это начало состоитъ въ томъ, что земля, на пользованіе которой каждый имѣетъ право, съ тѣмъ вмѣстѣ не принадлежитъ *никому лично и потомственно.*

Далѣе, *право на землю и общинное владѣніе ею* предполагаютъ сильное *мірское устройство*, какъ родоначальную базу всего государственнаго зданія, долженствующаго развиться на этихъ началахъ. Мірское управленіе уцѣлѣло подъ гнетомъ иностраннаго правительства и помѣщичьей власти, такъ какъ въ Мореѣ уцѣлѣли коммунальныя и городскія права подъ владычествомъ Османлисовъ. Этотъ характеръ мірского управленія русскихъ деревень поразилъ Гакстгаузена, потомъ разныхъ американскихъ путешественниковъ и въ томъ числѣ извѣстнаго экономиста Кэри, который мнѣ самъ говорилъ, возвратясь изъ Россіи въ нынѣшнемъ году, «что въ мірскомъ началѣ нашихъ коммунъ лежитъ великая основа самоуправленія».

Итакъ элементы, вносимые русскимъ крестьянскимъ міромъ, элементы стародавніе, но теперь приходящіе къ сознанію и встрѣчающіеся съ западнымъ стремленіемъ экономическаго переворота, состоятъ изъ трехъ началъ, изъ:

1) Права каждаго на землю,

2) Общиннаго владѣнія ею,

3) Мірскаго управленія.

На этихъ началахъ и *только на нихъ* можетъ развиться будущая Русь.

Россія и Польша.

(Отвѣтъ автору статьи о русской типографіи въ Лондонѣ).

(Письмо первое).

Милостивый Государь!

Я прочиталъ вашу статью обо мнѣ и о вольной русской типографіи въ Лондонѣ съ вниманіемъ, съ благодарностью. Въ васъ бьется славянское, родное сердце, оттого и рѣчь моя такъ понятна вамъ, оттого и мнѣ такъ хочется вамъ отвѣчать.

Само собою разумѣется, что я обратилъ особенное вниманіе на тѣ мѣста, въ которыхъ вы выражаете ваше несогласіе или недоумѣніе. Замѣчанія и самыя обвиненія противниковъ и враговъ можно иной разъ перешагнуть, но замѣчанія, дѣлаемыя друзьями, должны влечь за собой объясненіе или сознаніе въ ихъ правотѣ.

Я радъ, что ваша статья даетъ мнѣ поводъ коснуться главныхъ основъ моихъ убѣжденій и дать отчетъ, почему я поступаю такъ, а не иначе, съ увѣренностью, что поступаю совершенно сообразно съ ними. Я былъ до того занятъ

частными русскими вопросами, что всѣ общія мѣста, professions de foi, отступили на второй планъ.

Ваши замѣчанія напомнили мнѣ, что это умалчиваніе или подразумѣваніе можетъ быть иначе истолковано и дурно понято.

Я не говорилъ объ общихъ теоріяхъ просто потому, что не считалъ этого своевременнымъ. Общія мѣста, планы, теоріи, утопіи должны предшествовать работѣ исполненія, общественной перестройкѣ. Идеи, воплощаясь, скрываются, какъ зерно въ землѣ, въ своихъ приложеніяхъ, существуютъ какъ развитіе, какъ жизнь въ организмѣ, какъ законы природы,—обнаруживающіеся только въ самихъ явленіяхъ.

Къ тому же злоупотребленіе громкихъ словъ, шедшихъ рядомъ съ черезчуръ скромными дѣлами, утомившее въ послѣднее время и самихъ французовъ, противно русскому характеру, чрезвычайно реальному и мало привыкшему къ риторикѣ.

Русскихъ дѣйствительно поражаетъ безплодное, театрально-натянутое повтореніе возгласовъ и битыхъ мѣстъ въ революціонной литературѣ, въ рѣчахъ и статьяхъ, на сходкахъ изгнанниковъ и въ ихъ журналахъ. Но оно поражаетъ не однихъ русскихъ. Вы сѣтуете сами на то, что изданія польскихъ изгнанниковъ мало расходятся въ сравненіи съ «Колоколомъ», не слѣдуетъ ли искать одну изъ причинъ въ томъ, что ихъ публикаціи больше занимаются *общими*, нежели—*настоящими*, вопросами своего края.

Въ Жерсеѣ выходилъ французскій демократическій журналъ, редакторъ его былъ человѣкъ съ большимъ талантомъ, а между тѣмъ, несмотря на пожертвованія, журналъ не могъ идти при всемъ благородствѣ своего направленія, при всей чистотѣ своихъ намѣреній. Разобщенный съ живой почвой, безъ истинныхъ корреспонденцій, онъ былъ сведенъ на вѣчное повтореніе въ прозѣ того, что ужъ высказалъ В. Гюго въ стихахъ.

Дѣло въ томъ, что послѣ реакціи, начавшейся съ іюньскихъ дней, наступилъ переломъ. Люди увидѣли, что *общія мѣста и частныя событія* совершенно расходятся и что словами ихъ не примиришь. Громкія фразы и громовыя слова съ каждымъ днемъ теряютъ больше и больше своего значенія. Они не дѣйствуютъ на насъ.

Бывало, я это очень помню, при одномъ словѣ *республика* билось сердце, а теперь, послѣ 1849, 50, 51 гг., слово это возбуждаетъ столько же надежды, сколько сомнѣній. Развѣ мы не видали, что республика съ правительственной иниціативой, съ деспотической централизаціей, съ огромнымъ войскомъ, гораздо меньше способствуетъ свободному развитію, чѣмъ англійская монархія безъ иниціативы, безъ централизаціи? Развѣ мы не видали, что французская *демократія*, т. е. равенство въ рабствѣ, самая близкая форма къ самовластью?

Мы съ какимъ-то сыновнимъ уваженіемъ боялись до сихъ поръ признаться въ этихъ горькихъ истинахъ, скрывали ихъ отъ себя изъ понятнаго чувства благочестія. Но и оно не должно заслонять истину, мѣшать откровенному, добросовѣстному разбору. Я смѣло скажу, переиначивая извѣстную латинскую по-

словицу: «Я другъ республики, я другъ демократіи, но гораздо больше другъ *свободы, независимости и развитія*».

Если мнѣ возразятъ, да можетъ-ли быть свобода и независимость внѣ республики и демократіи, я отвѣчу, что и *съ ними* онѣ не могутъ быть, если народъ *не дорось* до нихъ.

Всякая церковь оканчивается выходомъ изъ нея и всякая монархія идетъ къ высшему соціальному устройству, т. е. къ разумному и свободному экономическому быту,—если она не идетъ къ разрушенію и смерти. Тамъ, гдѣ республика и демократія сообразны развитію народному, тамъ гдѣ онѣ не только *слово,* но и *дѣло,* какъ въ Соединенныхъ Штатахъ или въ Швейцаріи, тамъ, безъ всякаго сомнѣнія, наибольшая личная независимость и наибольшая свобода. Совсѣмъ иные результаты показываютъ намъ страны, которымъ эти формы общественныя слишкомъ широки или несоотвѣтственны ихъ развитію. Возьмите въ примѣръ народъ невѣжественный, солдатскій внизу, вверху растлѣнный и преданный одному стяжанію,—республика у него превратится черезъ четыре мѣсяца въ Кавеньяка, а черезъ девять въ Наполеона. Всеобщая подача голосовъ сдѣлала изъ Франціи смирительный домъ.

Слѣдуетъ-ли изъ сказаннаго, что я предпочитаю представительную монархію—республикѣ и электоральную таксу—всеобщей подачѣ голосовъ?—Нисколько.

Я констатирую фактъ и больше ничего. Видя его, я не могу сказать по совѣсти: «Такъ какъ всеобщая подача голосовъ гораздо справедливѣе ценза, стало быть Франція слѣдующій разъ, т. е., пройдя еще новой эпохой рабства и растлѣнія, сдѣлаетъ лучше свои выборы всеобщей подачей голосовъ, чѣмъ ограниченной». Я не вѣрю этому, такъ какъ не вѣрю, чтобъ турки, оставаясь магометанами, съ фаталистическимъ ученіемъ Алкорана, много выиграли провозглашеніемъ республики османлинской и гяурской.

Мы стремимся и хотимъ дѣйствовать въ нашемъ времени, въ современной Россіи,—это заставляетъ насъ не втѣснять вопросовъ, но стараться овладѣть тѣми, которые уже возникли.

Людямъ дальняго идеала, пророкамъ разума и проницателямъ будущаго мало дѣла до прикладныхъ затрудненій; они указываютъ на разумныя начала, къ которымъ общество стремится, его законы, общую формулу его движенія, предоставляя грядущимъ поколѣніямъ посильно осуществлять ихъ въ ежедневной борьбѣ сталкивающихся выгодъ и партій.

Одного изъ этихъ людей, мѣсяца полтора тому назадъ, опустила въ шотландскую землю скромная кучка друзей, и я очень благодаренъ судьбѣ, что успѣлъ еще застать его въ живыхъ и пожать почтенную и много трудившуюся руку Роберта Оуэна. Оуэнъ былъ правъ, и Англія пойметъ его, но, конечно, не въ XIX столѣтіи. Такіе люди, возстановители правъ разума въ капризной и фантастической сказкѣ исторіи, велики и необходимы, и всѣ эти предтечи новаго міра, какъ Сенъ-Симонъ, Фурье, займутъ огромное мѣсто въ сознательномъ развитіи

человѣчества, въ самопознаніи общественнаго быта, но имъ почти нѣтъ прямого участія въ текущихъ дѣлахъ, это—доля насъ, будничныхъ работниковъ.

Чѣмъ тяжелѣе и мертвѣе настоящее, тѣмъ сильнѣе стремленіе отрѣшиться отъ него и подняться на алгебраическую высоту теоріи. Германія въ своей гражданской ничтожности шла дальше всѣхъ странъ въ философіи права и, сама не имѣя исторіи, являлась, какъ пробужденная совѣсть другихъ народовъ. Таково было для двухъ поколѣній Россіи царствованіе Николая.

Государственная фура, управляемая имъ, заѣхала по ступицу въ снѣгъ, обледенѣвшія колеса перестали вертѣться; сколько онъ ни билъ своихъ клячъ, фура не шла. Онъ думалъ, что поможетъ дѣлу. Писать было запрещено, путешествовать запрещено; можно было думать, и люди стали думать. Мысль русская, въ эту темную годину, страшно развилась, и если вы сравните тайное вѣяніе ея, ея безстрашную логику, не блѣднѣющую ни передъ какимъ послѣдствіемъ, съ юнымъ, благороднымъ и чисто французскимъ направленіемъ литературы за двадцать пять лѣтъ, вы увидите это ясно.

Отголоскъ новаго направленія вы могли замѣтить и въ моихъ книгахъ. Я ссылаюсь на нихъ только потому, что въ нихъ проще высказано то, что у насъ печаталось намеками и полусловами.

Но вотъ фура съ нѣсколько обитыми сторонами снова двинулась, явнымъ образомъ наступило другое время, потянуло инымъ воздухомъ. Задача человѣка, желающаго участвовать въ новомъ движеніи, становится другая, она становится *спеціальнѣе*. Мало знать станцію, къ которй ѣдемъ, надо опредѣлить, *которую* версту по пути къ ней мы продѣлываемъ, и какіе рытвины и мосты именно на этой верстѣ.

Наше положеніе измѣнилось, иные вопросы насъ занимаютъ и занимаютъ исключительно. Вмѣсто «предисловій, программъ и эпиграфовъ», мы вошли въ *текстъ*... «Есть время камни собирати, говоритъ Соломонъ, и есть время камни метати». А, вѣдь, для того, кто хочетъ воевать пращей, это не два дѣла, а *два момента одного и того же дѣла.*

Я *убѣжденъ,* что съ Крымской войны Россія входитъ въ новую эпоху развитія, что, разставаясь съ трудными путями своего жестокаго воспитанія, она *вступаетъ теперь въ широкое русло совершеннолѣтней жизни.*

Я знаю, что я разнюсь со многими и съ вами самими во внутренней оцѣнкѣ русскаго народа. Всѣ тѣ, которые не умѣютъ отдѣлить русскаго правительства отъ русскаго народа, ничего не понимаютъ. Всѣ тѣ, которые хотятъ Русь мѣрить на ярды и метры, не знаютъ ея. Нормы, сложившіяся въ нашей головѣ отъ изученія западной цивилизаціи, не обнимаютъ собой, не улавливаютъ отклоненій и особенностей русскаго народнаго быта, а опредѣляютъ его только отрицательно. Обманчивое сходство правительственныхъ формъ съ западными окончательно мѣшаетъ пониманію. За петербургскими декораціями—народа было не видать и не слыхать, а слышался барабанъ и офиціальный говоръ, видѣлись штыки и писаря. Были люди, которые стали догадываться, что за знакомыми формами проглядываетъ какое-то незнакомое содержаніе; стали догадываться, что формы

набиты насильственно какъ колодки, но они не стали изучать характера бѣднаго колодника, а отвернулись отъ него, сказавши: «Коли терпитъ, видно лучшаго не стоитъ!»

Чтобы понять русскій народъ, не будучи русскимъ (и притомъ русскимъ, не запуганнымъ съ малыхъ лѣтъ своимъ ничтожествомъ и величіемъ Запада), надобно быть или соціалистомъ въ Европѣ, или гражданиномъ Сѣверной Америки. Можетъ, вамъ это покажется странно, другимъ смѣшно, но оно такъ!

Условія, свойства русской жизни, русскаго быта—иныя, оригинальныя, *свои*. Этого ни признавать, ни изслѣдовать никто не хочетъ; особенность же его ставится ему въ преступленіе на томъ основаніи, на которомъ французъ не можетъ простить англичанину, что онъ обѣдаетъ безъ салфетки, а англичанинъ французу, что онъ носитъ бороду. Западная цивилизація срѣзывается на своемъ первомъ слѣдственномъ допросѣ своей собственной нетерпимостью и остается при одномъ негодованіи.

Все то, что ставится такъ дорого другимъ народамъ, Россіи не было зачтено ни во что, или, хуже, послужило ей же въ обвиненіе: ни то, что она уцѣлѣла подъ татарскимъ игомъ, ни то, что втихомолку выросла и сложилась въ огромное государство, отбившееся отъ всѣхъ сосѣдей и сохранившее свою самостоятельность; ни ея 1612, ни ея 1812 годъ. О пожарѣ Москвы говорятъ только потому, что слишкомъ много иноплеменниковъ видѣли зарево. Избавила-ли Россія Европу отъ грубаго солдатскаго гнета или замѣнила его другимъ,—объ этомъ можетъ быть вопросъ; но что Россія спасла Германію отъ французскаго ига, въ этомъ нѣтъ никакого вопроса. Разверните Штейна, Арндта и другихъ современниковъ, и посмотрите, какъ въ черную годину для Германіи лучшіе люди ея глядѣли на Александра I и на Россію. Что же вышло изъ этого? Полнѣйшая ненависть не къ русскому правительству, не къ русскому вмѣшательству, а къ русскому народу, ко всякому нашему успѣху, ко всякому нашему человѣческому порыву. Такъ и узнаешь въ современныхъ публицистахъ Германіи измѣщанившихся братій ливонскихъ рыцарей, не пропускавшихъ въ XVI столѣтіи докторовъ въ Россію. Не странно ли все это?

Вотъ вамъ еще примѣръ: Англія, ломящаяся отъ тучности и избытка силъ, выступаетъ за берега, переплываетъ за океаны и создаетъ новые міры. Ей удивляются, и она заслуживаетъ это удивленіе. Но такъ-ли смотрятъ на подвиги колонизаціи Сибири, на ея почти безкровное завоеваніе? Горсть казаковъ и нѣсколько сотъ бездомныхъ мужиковъ перешли на свой страхъ океаны льда и снѣга, и вездѣ, гдѣ осѣдали усталыя кучки въ мерзлыхъ степяхъ, забытыхъ природой, закипала жизнь, поля покрывались нивами и стадами, и это отъ Перми до Тихаго океана... И такія клоссальныя событія едва помѣчены исторіей, или помѣчены для того, чтобы поразить воображеніе дантовскимъ образомъ ледяного острога въ нѣсколько тысячъ верстъ...

Наконецъ является новый оселокъ. Европа, послѣ всѣхъ реформъ и революцій, остановилась на грудахъ труповъ, по колѣна въ крови передъ страшнымъ, неразрѣшимымъ сфинксомъ—поземельной собственности и пролетаріата, капи-

тала и работника. Ни французскій дѣлежъ земли на атомы, ни паразитная жизнь англійскаго фермерства, ничего не устраняютъ, ничего не предупреждаютъ. Земли становится меньше и меньше, владѣлецъ губитъ пахаря, капиталъ работника, и хоръ пролетаріевъ изъ мастерскихъ, изъ фабрикъ, съ полей сильнѣе и сильнѣе поетъ ліонскій припѣвъ: «свинецъ или хлѣбъ! смерть или работу!»

Говорятъ, что возлѣ есть народъ, у котораго совсѣмъ другое отношеніе къ поземельной собственности, у котораго на дѣлѣ существуютъ вѣками уцѣлѣвшіе разные виды коммунистическаго владѣнія землею—отъ ежегоднаго дѣлежа полей между общинниками до полной собственности; правда-ли, нѣтъ-ли, но согласитесь, что, при настоящемъ положеніи экономическаго вопроса, нельзя не изслѣдовать такого важнаго факта. Изученіе его можетъ дать столько же наблюденія, какъ микрометрическіе опыты фаланги и икарійцевъ?

Что же вы думаете, обратились-ли люди на эти факты, изучили ихъ, опровергли, подтвердили? Нѣтъ. Они осмѣяли тѣхъ, которые говорили; такъ, какъ до сихъ поръ они хохочутъ тому, что я сказалъ во время войны, что Украйна была казацкая республика, въ основаніи которой лежали демократическія и соціальныя начала, что Запорожская Сѣчь представляла удивительное явленіе плебеевъ-витязей, рыцарей-мужиковъ. Вы, какъ полякъ, слишкомъ хорошо знаете свою исторію, чтобъ *я* счелъ нужнымъ настаивать на всей наглости невѣжества, которое не только не знаетъ, но и смѣется.

Поверхностная привычка смотрѣть исключительно на жизнь государственную и политическую, не обращая никакого вниманія на жизнь народную, на экономическій бытъ, разумѣется вела къ однимъ ошибочнымъ сужденіямъ о Россіи, потому что въ Россіи политической жизнью жило одно правительство. Въ самой Польшѣ народную русскую жизнь такъ же мало знаютъ, какъ во всей Европѣ. Я скажу безъ преувеличенія, что изъ вашихъ соотчичей и знаютъ внутренній бытъ Руси только тѣ, которые были сосланы въ Сибирь или въ дальнія сѣверо-восточныя губерніи. Все это удивительно! Неужели вамъ не приходило въ голову, глядя на великороссійскаго крестьянина, на его умный развязный видъ, на его мужественныя красивыя черты, на его крѣпкое сложеніе, что въ немъ таится какая-нибудь *иная сила*, чѣмъ одно долготерпѣніе и безотвѣтная выносливость? Неужели вамъ не приходило на мысль, читая Пушкина, Лермонтова, Гоголя, что кромѣ офиціальной Россіи есть другая. Подумайте, если-бъ не было *иной силы и иной Руси*, кромѣ правительственной, неужели въ самомъ дѣлѣ достаточно бы было нѣсколько неудачъ въ Крыму и смерти Николая, чтобъ цѣлое огромное царство обнять той дѣятельностью, тѣмъ *кипѣніемъ впередъ*, которое совершается передъ нашими глазами? Да, сѣверный Левіаѳанъ прошелъ черезъ доки, покачнулся, справился и плыветъ; доказывать этого я не стану, такъ, какъ не стану и пророчить,—можетъ, онъ завтра сядетъ на мель, это зависитъ отъ лоцмановъ. Допустивъ это, чрезвычайно важно узнать, какимъ вопросомъ начинается это новое плаваніе, какими воротами входитъ корабль въ море, что на его флагѣ: конституція, республика, парламентъ, муниципальная свобода, война съ Австріей, завоеваніе Турціи?—Нѣтъ, у него на знамени *освобожденіе*

крестьянъ съ землею, т. е. опять соціальный вопросъ передъ политическимъ.

Увидавъ это, мы бросили все и прилѣпились къ этому жизненному вопросу для Россіи. И вотъ вамъ причина нашего успѣха. Тотъ только *Колоколъ* и слушаютъ люди, который зоветъ ихъ *туда, куда имъ идти надобно.*

Представьте себѣ, что середь распрей и споровъ въ самомъ дворянствѣ, середь зачатой борьбы двухъ бойцовъ, до того времени гладившихъ другъ друга по головкѣ и въ первый разъ поглядѣвшихъ съ ненавистью другъ на друга,— представьте, что середь этой борьбы, совершающейся передъ необозримымъ количествомъ народа, мрачно ждущаго, кто кого сломитъ, но который нисколько не намѣренъ уступить ни вершка земли, нашъ «Колоколъ» сталъ бы звонить всемірной республикѣ и солидарности народовъ?

Какъ вы думаете, эти люди, дерущіеся не на животъ, а на смерть, которые теперь съ любовью или ненавистью читаютъ наши слова, стали бы читать наши диѳирамбы и разглагольствованія? Ихъ отвѣтъ можно предвидѣть: «Что вы намъ толкуете о всемірной республикѣ, которой нигдѣ нѣтъ, о братствѣ народовъ, которые вездѣ рѣжутся; мы все это читали въ Руссо и Вольтерѣ, въ исторіи первой революціи и въ газетахъ 1848 года. У насъ теперь забота растолковать, что такое усадебная земля и сколько десятинъ пашни дать крестьянину, ну,— гдѣ же намъ читать ваши декламаціи!» «Колоколу» пришлось бы прикусить свой желѣзный языкъ.

Вы видите, что нашъ макіавелизмъ, наша политика очень просты. Мы говоримъ о тѣхъ *вопросахъ*, которые *теперь выдвинуты жизнію*, и безъ разрѣшенія которыхъ Левіаѳанъ сядетъ на мель.

Не отвлекаясь нисколько отъ дѣла, мы предоставили другую часть журнала обличеніямъ, особенно лицъ, поставленныхъ выше закона въ Россіи. Трудно себѣ представить, какой сильный отголосокъ находятъ эти обличенія и какой ужасъ наводятъ не только на обличенныхъ, но и на тѣхъ, которые еще не обличены строками «Колокола». До сихъ поръ эти дѣйствительныя тайныя газели прыгали по вершинамъ правительственныхъ Альпъ, съ презрѣніемъ посматривая внизъ на облака, изъ которыхъ сыпались уголовные и литературные громы на становыхъ и секретарей, оставляя ихъ въ покоѣ, и вдругъ ихъ дѣла напечатаны русскими буквами съ именемъ, и этотъ ужасъ, эта безнравственность ходитъ изъ рукъ въ руки, можетъ попасть въ тайную канцелярію, быть прочтена въ передней. . . . . .

Вы, мнѣ кажется, съ нѣкоторымъ упрекомъ говорите, что я нахожусь въ другомъ отношеніи къ Александру II, чѣмъ былъ къ Николаю. . . . . .

Александръ II, и никто иной, поднялъ крикъ «освобожденія крестьянъ», и я еще повторяю, если онъ ничего не сдѣлаетъ, если этотъ вопросъ и его рѣшеніе ускользнутъ изъ неловкихъ его рукъ, то и тогда имя его останется въ исторіи наряду съ вѣнценосцами—реформаторами.

Откровенно-ли онъ хочетъ освобожденія?—Я не знаю, и еще больше, мнѣ до этого дѣла нѣтъ. Это интересно, какъ психическій студіумъ его личности—

не больше. Рѣчи Александра II, особенно рѣчь къ московскому дворянству, показываютъ, что онъ понимаетъ неотлагаемую необходимость этой мѣры, и если Александръ *нехотя* освободитъ крестьянъ, такъ, какъ Николай всю жизнь *хотѣлъ* (какъ нынче стали увѣрять) ихъ освободить и не освободилъ, то я предпочитаю такую неоткровенность. Понимать необходимость реформы и не противиться ей, это все, что можно требовать отъ правительства; остальное мы должны сами сдѣлать, если хотимъ, чтобъ было *хорошо сдѣлано*.

Но Александръ II по своему чину долженъ быть отлученъ нами... Неужели это не такъ же смѣшно, какъ считать, по легитимистскимъ и іезуитскимъ учебникамъ революцію 1789 г. за мятежъ, Робеспьера за разбойника съ большой дороги, якобинцевъ за шайку воровъ?

Я знаю, что съ *религіей демократіи* не совмѣстно говорить что-нибудь о вѣнценосцахъ, кромѣ зла; признаюсь вамъ, что мнѣ *религія* демократіи такъ же не по сердцу, какъ религія пана Фіалковскаго и какъ религія «возсоединеннаго» Симашки [1]). Демократическое православіе такъ же не даетъ воли уму и жметъ его, какъ кіево-печерское. Тотъ, кто истину—какая бы ни была она—не ставитъ выше всего, тотъ, кто не въ ней и не въ своей совѣсти ищетъ *норму поведенія, тотъ не свободный человѣкъ*.

(1859 г.).

Mortuos plango.

Поминать, такъ поминать!

Пушкинъ.

I.

Новый годъ, какъ верстовый столбъ, всякій разъ заставляетъ подумать, скоро ли доѣдешь, и вспоминать, какова была дорога... Плоха и очень плоха была, а вотъ и доѣхали до 1862 года, и на русской душѣ нашей словно легче и свѣтлѣе...

Когда я сравню теперешнее время съ тѣмъ, что было десять лѣтъ тому назадъ, морозъ пробѣгаетъ по кожѣ,—нѣтъ, не все, что прошло, будетъ мило... Тогда было такъ тяжело, какъ тяжело, что одно желаніе и оставалось: «Бѣжать, уйти куда-нибудь, уничтожиться безслѣдно, безсознательно, лишь бы отдохнуть, лишь бы не видать, что дѣлается вокругъ» [2]), такъ тяжело, что, когда разразился *послѣдній ударъ*, невольно вырвался изъ груди радостный крикъ: vive la mort!

Съ этимъ крикомъ вступили мы въ новый 1852 годъ.

Слишкомъ много было страданій, стоновъ вокругъ, какая-то духота. Похороны все лучше.

---

[1]) Фіалковскій—варшавскій архіепископъ, Симашко—православный митрополитъ и дѣятель въ насильственномъ присоединеніи уніатовъ къ православной церкви.

[2]) См. „Письма изъ Франціи и Италіи“. „Съ того берега“. (Эпилогъ 1849 года).

Что было потомъ,—трудно сказать. Какая-то нравственная холера, нервы опустились, мысли потускли, тамъ-сямъ спасались люди, кто въ Англію, кто въ Америку; впрочемъ, свирѣпыхъ гоненій, ужасныхъ казней и отвагъ, этой послѣдней поэзіи мрачныхъ эпохъ, не было. Люди изнашивались, затомлялись какъ-то исподволь пошлыми непріятностями, мелкими лишеніями, они старѣли, не вынося съ собой—выкупомъ за страданія—тѣхъ страшныхъ образовъ бурь и урагановъ, которыми тѣшится морякъ, сидя на берегу. Объ этомъ времени *нѣтъ воспоминаній.*

...Хоронили Веллингтона.

...Прусскій король сошелъ съ ума...

...А возлѣ хоронили цѣлый міръ идей и стремленій, не замѣчая того, и цѣлый міръ, если не сходилъ съ ума, то суживался въ умѣ... Легкомысленное непониманіе того, что совершалось, надменное самодовольство передовыхъ людей, передовыхъ журналовъ, общественнаго мнѣнія наводило тоску и ужасъ. На откровенныя слова, указывавшія грядущія бѣды, отвѣчали свистомъ и насмѣшками. У насъ въ Россіи разные доктринеры тоже натягивали на себя западную тупость; это явленіе, вызванное негодованіемъ, оппозиціей, у насъ не имѣло корней; но видѣть на мѣстѣ, дома, обтерханныхъ людей, которые съ надменностью Донъ-Сезаръ де Базан'а величественно завертываются въ грязный продырявленный плащъ, съ полной увѣренностью, что ихъ дѣла завтра пойдутъ блестящимъ образомъ, и знать, что они завтра пойдутъ еще хуже и все хуже,—это ужасно!

Годы шли и шли... все больше дрогъ, распущенныхъ шляпъ, факеловъ... Мало-по-малу мы стали догадываться, что это все хоронятъ *чужихъ* или дальнихъ родственниковъ, отъ которыхъ мы получаемъ въ наслѣдство все, за исключеніемъ горести объ умершемъ, *мы*—осмѣлившіеся надѣяться, когда ночь кругомъ становилась темнѣе, мы—вѣровавшіе въ Россію тогда, когда вѣра въ нее была безуміемъ...

II.

А не пощадила Донъ-Сезаръ де Базан'а судьба, не обошла его ни одной каплей горечи, ни однимъ униженіемъ, ни однимъ ударомъ.

Была у гордаго старика одна мечта, одна надежда... казалось въ самомъ дѣлѣ сбыточная. Онъ утѣшался, какъ король Лиръ, мыслью, что у него вдали есть дочь—богатая и вольная, которой онъ при жизни завѣщалъ свое лучшее достояніе; она-то, думалъ онъ, исполнитъ его послѣднюю волю. И въ тѣ минуты, когда старику дома становилось тяжко, онъ мечталъ объ ней и собирался къ ней перебраться.

Мы сами были увлечены и вѣрили въ нее.

Но не Корделіей оказалась эта дочь.

...Разверните лѣтописи міра, отъ потопа, отъ Мельхиседека до вчерашняго дня, и найдите на Югѣ, на Востокѣ, гдѣ хотите знамя гнуснѣе того, на которомъ написано: *Рабство или Смерть!* Было-ли что-нибудь чудовищнѣе въ библейскихъ

бойняхъ, въ уничтоженіи альбигойцевъ, во времена инквизиціи, исламизма... Что передъ этимъ сумасшедшій бредъ *умнаго* прусскаго короля въ Кенигсбергѣ, отбросившаго Германію за вестфальскій миръ?

Война за рабство! «За наше *святое дѣло!*» Какъ выразился южный президентъ въ рѣчи своей.

До Сѣверо и Юго-Американскихъ Штатовъ было рабство и крѣпостное состояніе, неправая война и неправое стяжаніе, но этотъ цинизмъ, эта наглость, эта преступная простота, это безстыдное обнаженіе—это ново и принадлежитъ Америкѣ.

Та ли эта Америка? Та ли Франція? Какъ онѣ могли такъ измѣниться?

Онѣ не измѣнились, только мы ихъ не знали прежде. Мы смотрѣли картинки, читали вывѣски... Революція проѣхала какъ императрица, картонныя избы упали, декораціи сельскаго благосостоянія сняты, новые кафтаны обобраны. Что же осталось?—Истина.

Страна Уильберфорса [1]) снащаетъ корабли, нехотя становясь за рабство; рѣками, можетъ, польется кровь въ Антлантическій океанъ, корабли погрузнутъ на его дно, «святая основа» южныхъ республикъ будетъ принята всей Европой.

А въ то время развѣ *онъ* будетъ сидѣть сложа руки?

...Римъ, Рейнъ, Бельгія, Востокъ—Ave Caesar!

Ужъ не въ самомъ ли дѣлѣ это пятое дѣйствіе—трагедіи, начавшейся въ 1789?

Если же такъ, куда послѣ театра?

Не знаемъ, куда актеры, а мы ко дворамъ.

III.

У насъ въ стары годы все перекладывали французскій водевиль на русскіе нравы. Какъ-бы не случилось теперь того же съ европейской трагедіей.

Она выйдетъ у насъ грубѣе, но гораздо проще. У насъ *старое* то *ново* и не пустило корней; у насъ морщины на кожѣ, но кровь молода.

Упорная живучесть всего существующаго въ Европѣ прочно основана на всемъ быломъ ея. Ея многосложный бытъ сложился самъ по себѣ, выработался въ длинной и тяжелой борьбѣ; онъ ей естественъ, у ней есть другіе *идеалы,* но другого *быта* нѣтъ. Къ тому-жъ въ обветшалыхъ и узкихъ формахъ ея захвачена бездна изящнаго и хорошаго. Оно-то и утратилось при *переложеніи* на *наши нравы,* удивляться этому нельзя.

Европейскій бытъ и цивилизація были надѣты на насъ въ томъ родѣ, какъ въ Лондонѣ мальчишки зашиваютъ для продажи плебейскаго происхожденія щенка въ волнистую шкуру аристократической собаченки; щенокъ, вымытый и расчесанный, бѣгаетъ въ своемъ *болонскомъ* кафтанѣ по гостинымъ, спитъ на диванахъ,—но увы, онъ растетъ, и чужая шубенка лопается по швамъ.

---

[1]) Уильберфорсъ — англійскій общественный дѣятель, способствовавшій отмѣнѣ торговли неграми.

Какъ бы то ни было, но теперь вопросъ собственно вотъ въ чемъ: имѣя западную фасаду и формы безъ лучшей стороны содержанія, что намъ придется—разбить-ли чужія формы или усвоить чужое содержаніе?

То, что въ Европѣ есть общечеловѣческаго,—т. е., наука, и больше ничего,—само собой принадлежитъ всѣмъ, какъ воздухъ принадлежитъ каждому, имѣющему легкія. Стало быть, рѣчь не о наукѣ, а о томъ, могутъ ли другіе результаты западнаго развитія усвоиться нами, не мѣшая нашему собственному росту, или мы разовьемъ какіе-нибудь иные историческіе элементы?

Конечно, было бы лучше воспользоваться тѣмъ и другимъ. Человѣкъ скупъ, стяжателенъ, ему жаль терять, онъ завистливъ, ему хотѣлось-бы всего-всего. Но силъ нѣтъ на обладаніе, нельзя же въ самомъ дѣлѣ быть разомъ средневѣковымъ монахомъ и Алкивіадомъ, кастильянскимъ грандомъ въ шляпѣ и якобинцемъ въ красной шапкѣ; такъ какъ нельзя, переѣзжая изъ города въ деревню, захватить съ собой всѣ городскія удобства,—довольно того, что въ городѣ вмѣстѣ съ ними останется и зараженный воздухъ, и пыль, и противная толкотня.

Не все юное и свѣтлое изъ жизни Эллады перешло въ Римъ, не все изящное античнаго міра осталось въ христіанствѣ и не все граціозное аристократической Европы сохранилось въ мѣщанской. И въ этомъ лежитъ великая печать личной самобытности каждой эпохи и ея художественная замкнутость.

Природа постоянно идетъ этими путями,—развиваясь въ разныя стороны лучами, діагоналями, кривыми. Молча благоухаетъ роза, славно поетъ соловей, но совсѣмъ не пахнетъ. Не смѣйтесь надъ этимъ примѣромъ. Дѣло въ томъ, что все *удавшееся* въ природѣ сохраняетъ свои особенности съ упорнымъ консерватизмомъ побѣдителя, поддерживая свои династическіе интересы и предоставляя новымъ parvenus доискиваться иныхъ завоеваній и формъ. На этомъ-то и основано страшное множество видовъ и родовъ. Въ природѣ нѣтъ табели о рангахъ, ни перевода изъ класса въ классъ, иначе давнымъ давно всѣ животныя дослужились бы до человѣческихъ чиновъ, и на островѣ Цейлонѣ или на берегахъ Евфрата цвѣла бы демократическая и соціальная Атлантида.

Иными словами—переходъ отъ менѣе совершенныхъ видовъ къ болѣе совершеннымъ вообще не дѣлается развитіемъ *наименѣе несовершеннаго* вида въ болѣе развитой. *Онъ и такъ хорошъ, и* такъ дорого стоилъ, пусть же онъ и остается самъ по себѣ, въ то время, какъ ряды другихъ попытокъ направо, налѣво, со всѣхъ сторонъ тянутся, гибнутъ, отстаютъ, *обходятъ*, *забѣгаютъ* существующій видъ.

Каждый видъ представляетъ поступательное развитіе, съ одной стороны, и, съ другой, предѣлъ, т. е., препятствія, на которыя онъ натолкнулся съ *стремленіемъ ихъ перейти.* Это безсиліе нисколько не мѣшаетъ другому виду, можетъ, бѣднѣе организованному въ чемъ-нибудь иномъ, перешагнуть именно *это* препятствіе.

Мы понимаемъ, но гдѣ же предѣлъ европейскаго развитія, гдѣ препятствія, за которыя оно запнулось?

Во первыхъ, въ сознаніи необходимости коренного переворота, въ сознаніи нелѣпости государственной, юридической и экономической жизни, отставшей вѣками отъ общественной и научной. Во вторыхъ, *въ немоготь не только совершить этотъ соціальный переворотъ, но даже формулировать его.*

Вотъ на чемъ оборвались реформаціи и революціи, республики и конституціи, вотъ порогъ, за который запнулся смѣлый бѣгъ Запада и, смутившись, бросился въ цезаризмъ, націонализмъ и въ тупой смѣхъ надъ соціальными вопросами, напоминающій намъ тупой смѣхъ римскихъ патриціевъ и доктринеровъ надъ назареями. Плакать надобно, а не смѣяться. Мы ждали четырнадцать лѣтъ.

Слово, если и было сковано, мысль не была скована, да и есть слова и мысли, которыхъ не скуешь. Гдѣ это слово? Гдѣ эта мысль? Что прибавилось къ торжественному протесту противъ общественной лжи и неправды, сдѣланному сенъ-симонистами и ихъ товарищами, что къ грозному обличенію, раздавшемуся середь кровавой бури іюньскихъ дней?

Соціализмъ стоитъ тѣмъ же гнѣвнымъ Даніиломъ, указывая страшныя огненныя буквы, которыхъ полнаго смысла мы не знаемъ, которыя пророчатъ бѣду и молчатъ объ искупленіи...

Вотъ предѣлъ...

IV.

Но предѣлъ-ли это для насъ, пріемышей, пасынковъ западной цивилизаціи?

Предшедшее Запада обязываетъ *его,—не насъ*. Его живыя силы скованы круговой порукой съ тѣнями прошедшаго, съ тѣнями, дорогими ему, не намъ. Свѣтлыя, человѣческія стороны современной европейской жизни выросли въ тѣсныхъ средневѣковыхъ переулкахъ и учрежденіяхъ; онѣ срослись съ старыми доспѣхами, рясами и жильями, расчитанными совсѣмъ для другого быта,—рознять ихъ опасно, тѣ же артеріи пробѣгаютъ по нимъ. Западъ, въ неудобствахъ наслѣдственныхъ формъ, уважаетъ свои воспоминанія, волю своихъ отцовъ. Ходу его впередъ мѣшаютъ камни, но камни эти памятники гражданскихъ побѣдъ или надгробныя плиты.

У насъ ничего подобнаго. Наши преданія впереди. На нашихъ старинныхъ зданіяхъ известь не обсохла, наши развалины—состарѣлись не отъ лѣтъ, а отъ того, что фундамента нѣтъ. *Мы* еще не обстраивались, и это превосходно. Военныя поселенія ужасно легко переходятъ опять въ деревню.

Въ самомъ дѣлѣ, какой камень, какую улицу намъ жалѣть? Царицынъ лугъ—гдѣ полтораста лѣтъ ежедневно били палками солдатъ, или Старую Руссу—гдѣ ихъ засѣкали десятками? Не съѣзжіе-ли господскіе домы—эти омуты, эти паутины, въ которыхъ выбились изъ силъ, зачахли цѣлыя поколѣнія, гдѣ засѣкали старцевъ и насиловали дѣтей годъ тому назадъ, а можетъ и ближе?

Нѣтъ, уже объ *нашу-то* Европу мы не запнемся; мы слишкомъ дорого заплатили за науку, чтобъ такъ малымъ довольствоваться.

Полтораста лѣтъ безчеловѣчнѣйшихъ истязаній, униженій, неслыханныхъ въ лѣтописяхъ міра, полтораста лѣтъ пытки, застѣнка,—и все это только для того, чтобъ стать на краю пропасти, на которой стоятъ всѣ западныя государства и дѣлить ихъ судьбу, не имѣя взамѣнъ ни логическаго оправданія въ прошедшемъ, ни удобствъ настоящаго... Нѣтъ, или сѣченіе не стоило шпицрутеновъ!

— И будто вамъ не жаль?

— Жаль? Кому и что?

Насъ двое, розно взрощенныхъ. По воспитанію можно судить о степени нашей чувствительности.

Мы, напримѣръ, внуки людей, издѣвавшихся надъ своими отцами, когда ихъ насильно брили, людей, собственными руками пытавшихъ по застѣнкамъ, казнившихъ стрѣльцовъ, людей, представлявшихъ разомъ гаеровъ, холоповъ, вельможъ и доносчиковъ,—мы выросли возлѣ конюшенъ, гдѣ наши отцы и дѣды сѣкли дворовыхъ, и возлѣ дѣвичьихъ, гдѣ они *отдыхали* отъ трудовъ. Они тоже въ свое время были палачами солдатъ, грабили цѣлыя губерніи и безропотно ссылали на каторгу своихъ дѣтей и чужихъ. У дѣтей, у которыхъ съ первымъ пробужденіемъ человѣческаго, святого чувства любви къ ближнему и слабому, сочеталась ненависть къ отцу, матери и ко всей семьѣ, не ищите сожалѣнія *въ эту сторону,* они слишкомъ жалѣли *въ другую.*

...А другой—тотъ, котораго дѣда и отца сѣкли, которому брили лобъ, котораго брили во дворѣ, котораго жена, сестра, дочь были обезчещены,—какъ вы думаете—пожалѣетъ?

...Оставьте мертвымъ хоронить мертвыхъ... Ихъ не воскресите... ихъ можно только *оплакивать;* звать надобно живыхъ, мы и зовемъ... Откликайтесь же—есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?

Vivos voco!

(1862 г.).

ЧАСТЬ IV.

Изъ произведеній Герцена послѣднихъ лѣтъ.

Къ старому товарищу.

„Письма къ старому товарищу“ (М. Бакунину)—послѣднее публицистическое произведеніе Герцена. Они писаны за годъ до смерти въ Ниццѣ въ 1869 г. Вызваны они были разногласіями съ прежнимъ другомъ Бакунинымъ, который все болѣе увлекался анархическою проповѣдью разрушенія. Герценъ анархистомъ никогда не былъ, но нѣкоторыми чертами его міросозерцаніе, нашедшее выраженіе въ книгѣ „Съ того берега“ и въ другихъ произведеніяхъ начала 50-хъ годовъ, соприкасалось съ анархическимъ. Черты эти: рѣзкій и безусловный характеръ разрыва съ настоящимъ; взглядъ на будущее, какъ на чистый результатъ волевого усилія; мысль, что задача современнаго поколѣнія разрушать, а не строить.

Въ „Письмахъ къ старому товарищу“ Герценъ уже не стоитъ на этой точкѣ зрѣнія. Передъ нами Герценъ, умудренный опытомъ жизни, пережившій періодъ революціоннаго отрицанія и увлеченія мирными реформами. Онъ приближается здѣсь къ точкѣ зрѣнія научнаго соціализма, онъ призываетъ не столько къ волѣ, сколько къ знанію, говоритъ о „математическихъ законахъ“, которымъ подлежатъ экономическіе вопросы. Онъ призываетъ стать на реальную почву и заявляетъ, что не боится слова „постепенность“. Мы даемъ первое письмо цѣликомъ и второе, опустивъ начало.

Письмо первое.

Одни мотивы, какъ бы они ни были достаточны, не могутъ быть дѣйствительны безъ достаточныхъ средствъ.

Іеремія Бентамъ. (Письмо къ Александру I).

Насъ занимаетъ одинъ и тотъ же вопросъ. Впрочемъ, одинъ *серьезный вопросъ* и существуетъ на историческомъ череду. Все остальное—или его растущія силы, или болѣзни, сопровождающія его развитіе, т. е. страданія, кото-

рыми новый и болѣе совершенный организмъ вырабатывается изъ отжившихъ и тѣсныхъ формъ, примѣшивая ихъ къ высшимъ потребностямъ. Конечное разрѣшеніе у насъ обоихъ *одно*. Дѣло между нами вовсе не въ разныхъ началахъ и теоріяхъ, а въ разныхъ методахъ и практикахъ, въ оцѣнкѣ силъ, средствъ, времени, въ оцѣнкѣ историческаго матеріала. Тяжелыя испытанія съ 1848 г. розно отозвались на насъ. Ты больше остался, какъ былъ, тебя жизнь сильно помучила,—меня только помяла, но ты былъ вдали,—я стоялъ возлѣ. Но если я измѣнился, то вспомни, что *измѣнилось* все. Экономически-соціальный вопросъ становится теперь иначе, чѣмъ онъ былъ двадцать лѣтъ тому назадъ. Онъ пережилъ свой религіозный и идеальный юношескій возрастъ, такъ же, какъ возрастъ натянутыхъ опытовъ и экспериментацій въ маломъ видѣ, самый періодъ жалобъ, протеста, исключительной критики и обличенія приближается къ концу. Въ этомъ великое знаменіе его совершеннолѣтія. Оно достигается наглядно, но *не достигнуто,* не отъ однихъ внѣшнихъ препятствій, не отъ одного отпора, но и отъ внутреннихъ причинъ. Меньшинство, идущее впередъ, не доработалась до ясныхъ истинъ, до практическихъ путей, до полныхъ формулъ будущаго экономическаго быта. Большинство, наиболѣе страдающее, стремится одною частью городскихъ работниковъ выйти изъ него, но удержано старымъ, традиціоннымъ міросозерцаніемъ другой и самой многочисленной части. Знанія и пониманья не возьмешь никакими coup d'état и никакими coup de tête. Медленность, сбивчивость историческаго хода пониманья насъ бѣситъ и душитъ, она намъ невыносима, и многіе изъ насъ, измѣняя собственному разуму, торопятся и торопятъ другихъ. Хорошо-ли это, или нѣтъ? Въ этомъ весь вопросъ.

Слѣдуетъ ли толчками возмущать съ цѣлью ускоренія внутренней работы, которая очевидна? Сомнѣнія нѣтъ, что акушеръ можетъ ускорять, облегчать, устранять препятствія, но въ извѣстныхъ предѣлахъ; а ихъ трудно установить и страшно переступать. На это, сверхъ логическаго самоотверженія, надобенъ тактъ и вдохновенная импровизація. Сверхъ того, не вездѣ одинаковая работа и одни предѣлы. Петръ I, конвентъ, научили насъ шагать семимильными сапогами, шагать изъ перваго мѣсяца беременности въ девятый, и ломать безъ разбора все, что попадется на дорогѣ. Die Zerstoerende Lust ist eine schaffende Lust—и впередъ за неизвѣстнымъ богомъ—истребителемъ, спотыкаясь на разбитыя сокровища вмѣстѣ со всякимъ мусоромъ и хламомъ.

...Мы видѣли грозный примѣръ кроваваго возстанія, въ минуту отчаянія и гнѣва сошедшаго на площадь и спохватившагося на баррикадахъ, что у него нѣтъ знамени. Сплоченный въ одну дружину, міръ консервативный побилъ его, вслѣдствіе этого было то ретроградное движеніе, котораго слѣдовало ожидать. Но что было-бы, если-бъ побѣда стала на сторону баррикадъ? Въ двадцать лѣтъ грозные бойцы высказали-ли все, что у нихъ было за душой? Ни одной потрясающей, органической мысли мы не находимъ въ ихъ завѣтѣ, а экономическіе промахи, не косвенно, какъ политическіе, а прямо и глубже ведутъ къ разоренію, къ застою, къ голодной смерти.

Наше время—именно время окончательнаго изученія, того изученія, ко-

торое должно предшествовать работѣ осуществленія, такъ какъ теорія паровъ предшествовала желѣзнымъ дорогамъ. Прежде дѣло хотѣли взять грудью, усердіемъ, отвагой, шли зря на авось; мы на авось не пойдемъ.

Ясно видимъ мы, что дальше дѣла не могутъ идти такъ, какъ шли, что, наконецъ, исключительному царству капитала и безусловному праву собственности такъ же пришелъ конецъ, какъ нѣкогда пришелъ конецъ царству феодальному и аристократическому. Какъ передъ 1789 годомъ обмираніе міра средневѣковаго началось съ сознанія несправедливаго подчиненія средняго сословія, такъ и теперь переворотъ экономическій начался сознаніемъ общественной неправды относительно работниковъ. Какъ тогда упрямство и вырожденіе дворянства помогло собственной гибели, такъ и теперь упрямая и выродившаяся буржуазія тянетъ сама себя въ могилу.

Но общее постановленіе задачи не даетъ ни путей, ни средствъ, ни даже достаточной среды. Насильемъ ихъ не завоюешь. Подорванный порохомъ, весь міръ буржуазный, когда уляжется дымъ и расчистятъ развалины, снова начнетъ съ разными измѣненіями—*какой-нибудь буржуазный* міръ. Потому, что онъ внутри *не конченъ, и потому еще, что ни міръ построяющій*, ни новая организація, не настолько готовы, чтобъ пополниться, осуществляясь. Ни одна основа изъ тѣхъ, на которыхъ покоится современный порядокъ, изъ тѣхъ, которыя должны рухнуть и пересоздаться, не настолько почата и расшатана, чтобъ ее достаточно было вырвать силой, чтобъ исключить изъ жизни.

Пусть каждый добросовѣстный человѣкъ самъ себя спроситъ, готовъ ли онъ? Такъ-ли ясна для него новая организація, къ которой мы идемъ, какъ общіе идеалы коллективной собственности, и знаетъ-ли онъ процессъ (кромѣ простого ломанья), которымъ должно совершиться превращеніе въ нее старыхъ формъ? И пусть, если онъ лично доволенъ собой, пусть скажетъ, готова-ли та среда, которая по положенію должна первая ринуться въ дѣло?

Знаніе неотразимо, но оно не имѣетъ принудительныхъ средствъ. Изліченье отъ предразсудковъ медленно, имѣетъ свои фазы и кризисы. Насильемъ и терроромъ распространяются религіи и политики, учреждаются самодержавныя имперіи и нераздѣльныя республики; насильемъ можно разрушать и расчищать мѣсто—не больше. Петрограндизмомъ соціальный переворотъ дальше каторжнаго равенства Гракха Бабёфа и коммунистической барщины Кабе не пойдетъ. Новыя формы должны все обнять и вмѣстить всѣ элементы современной дѣятельности и всѣхъ человѣческихъ стремленій. Изъ нашего міра не сдѣлаешь ни Спарту, ни бенедиктинскій монастырь. Не душить однѣ стихіи въ пользу другихъ слѣдуетъ грядущему перевороту, а умѣть всѣ согласовать къ общему благу.

Экономическій переворотъ имѣетъ необъятное преимущество передъ всѣми религіозными и политическими революціями въ трезвости своей основы. Таковы должны быть и пути его, таково обращеніе съ данными. По мѣрѣ того, какъ онъ выростаетъ изъ состоянія неопредѣленнаго страданія и недовольства, онъ невольно становится на *реальную почву*. Тогда какъ всѣ другіе перевороты постоянно оставались одной ногой въ фантазіяхъ, мистицизмахъ, вѣрованіяхъ и

неоправданныхъ предразсудкахъ патріотическихъ, юридическихъ и пр., экономическіе вопросы подлежатъ математическимъ законамъ.

Конечно, математическій, какъ и всякій научный законъ носитъ доказательство въ самомъ себѣ и не нуждается ни въ эмпирическомъ оправданіи, ни въ большинствѣ голосовъ. Но для *приложенія*, эмпирическая сторона и всѣ внѣшнія условія осуществленія выступаютъ на первый планъ. «Мотивы могутъ быть истинны, но безъ достаточныхъ средствъ они не осуществятся». Все это принято во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ и обходится слишкомъ сангвиническими людьми въ дѣлѣ такого значенія, какъ общественное пересозданіе. Какой механикъ не знаетъ, что его выкладка, формула, не перейдетъ въ дѣйствительность, пока въ ряду явленій, захватываемыхъ имъ, будутъ элементы неподчиняющіеся, посторонніе или подлежащіе другимъ законамъ. Большей частью въ физическомъ мірѣ эти возмущающіе элементы не сложны и легко вводятся въ формулу, какъ вѣсъ линіи маятника, упругость среды, въ которой дѣлаются его размахи и проч. Въ мірѣ историческаго развитія это не такъ просто. Процессы общественнаго роста, ихъ отклоненія и уклоненія, ихъ послѣдніе результаты, до того переплелись, до того неразмывчато вошли въ глубочайшую глубь народнаго сознанія, что приступъ къ нимъ вовсе не легокъ, что съ ними надобно очень считаться, и однимъ реестромъ отрицаемаго, отданнымъ какъ въ «приказѣ по соціальной арміи», ничего, кромѣ путаницы, не сдѣлаешь.

Противъ ложныхъ догматовъ, противъ вѣрованій, какъ бы они ни были безумны, однимъ отрицаніемъ, какъ бы оно ни было умно, бороться нельзя. Сказать «не вѣрь» такъ же авторитетно и въ сущности нелѣпо, какъ сказать «вѣрь». Старый порядокъ вещей крѣпче *признаніемъ его*, чѣмъ матеріальной силой, его поддерживающей. Это всего яснѣе тамъ, гдѣ у него нѣтъ ни карательной, ни принудительной силы, гдѣ онъ твердо покоится на невольной совѣсти, на неразвитости ума и на незрѣлости новыхъ воззрѣній [1]), какъ въ Швейцаріи и Англіи.

Народное сознаніе такъ, какъ оно выработалось, представляетъ естественное, само собой сложившееся, безотвѣтственное сырое произведеніе разныхъ усилій, попытокъ, событій, удачъ и неудачъ людского сознанія, разныхъ инстинктовъ и столкновеній; его надобно принимать за естественный фактъ и бороться съ нимъ, какъ мы боремся со всѣмъ безсознательнымъ, изучая его, овладѣвая имъ и направляя его же средства сообразно нашей цѣли.

Вообще въ соціальныхъ нелѣпостяхъ современнаго быта никто не виноватъ и никто не можетъ быть казненъ съ большей справедливостью, чѣмъ море, которое сѣкъ персидскій царь, или вѣчевой колоколъ, наказанный Іоанномъ Грозъ-

---

[1]) Что говорить о папскихъ силлабусахъ и индексахъ, о полицейскихъ наказаніяхъ за такія-то и такія-то мнѣнія, о сенатскихъ рѣшеніяхъ философскихъ вопросовъ, когда неясность, сбивчивость самыхъ элементарныхъ понятій поражаютъ въ мірѣ *свободнаго мышленія* въ высшихъ сферахъ оппозиціи и революціи. Вспомни старый споръ Маццини противъ Прудона и новое препирательство о вмѣненіи, о волѣ, объ идеализмѣ, о позитивизмѣ Жирардена, Луи-Блана и Жиль-Симона.

нымъ. Винить, наказывать, отдавать на копье—все это становится ниже нашего пониманія. Надобно проще смотрѣть, физіологичнѣе, и окончательно пожертвовать уголовной точкой зрѣнія, а она, по несчастью, прорывается и мѣшаетъ понятія, вводя личныя страсти въ общее дѣло и превратную перестановку невольныхъ событій въ преднамѣренный заговоръ. Собственность, семья, церковь, государство были огромными воспитательными формами человѣческаго освобожденія и развитія, мы выходили изъ нихъ по мииованіи надобности.

Обрушивать отвѣтственность за былое и современное на послѣднихъ представителей «прежней правды», дѣлающейся «настоящей неправдой», такъ же нелѣпо, какъ было нелѣпо и несправедливо казнить французскихъ маркизовъ за то, что они не якобинцы, и еще хуже, потому что мы за себя не имѣемъ якобинскаго оправданія: наивной вѣры въ свою правоту, въ свое право. Мы измѣняемъ основнымъ началамъ нашего воззрѣнія, осуждая цѣлыя сословія, и въ то же время отвергая уголовную отвѣтственность отдѣльнаго лица. Это мимоходомъ, для того, чтобы не возвращаться.

Прежніе перевороты дѣлались въ сумеркахъ, сбивались съ пути, шли назадъ, спотыкались и, въ силу внутренней неясности, требовали бездну всякой всячины, разныхъ вѣръ и геройства, множество выспреннихъ добродѣтелей, патріотизмовъ, піэтизмовъ. Соціальному перевороту ничего ненужно, кромѣ *пониманья* и *силы*, знанія и средствъ.

Но пониманье страшно обязываетъ. Оно имѣетъ свои неотступныя угрызенія разума и неумолимые упреки логики.

Пока соціальная мысль была неопредѣленная, ея проповѣдники, сами вѣрующіе и фанатики, обращались къ страстямъ и фантазіи столько же, сколько къ уму; они грозили собственникамъ карой и разореніемъ, позорили, стыдыли ихъ богатствомъ, склоняли ихъ на добровольную бѣдность страшной картиной страданій (Странная captatio benevolentiae,—согласенъ). Изъ этихъ средствъ соціализмъ выросъ. Не то надобно доказать собственникамъ и капиталистамъ, что ихъ обладаніе грѣшно, безнравственно (понятія, взятыя изъ совсѣмъ иного міросозерцанія, чѣмъ наше), а то, что нелѣпость его контрафорсовъ пришла къ сознанію неимущихъ, въ силу чего оно становится *невозможнымъ*. Имъ надобно показать, что борьба противъ неотвратимаго—безсмысленное истощеніе силъ и что, чѣмъ она упорнѣе и длиннѣе, тѣмъ къ большимъ потерямъ и гибелямъ она приведетъ. Твердыню собственности и капитала надобно потрясти расчетомъ, двойной бухгалтеріей, яснымъ балансомъ дебета и кредита. Самый отчаянный скряга не предпочтетъ утонуть со всѣми богатствами, если можетъ спасти часть ихъ и самого себя, бросая другую за бортъ. Для этого необходимо только, чтобъ опасность была *такъ же* очевидна для него, какъ *возможность спасенія*.

Новый водворяющійся порядокъ долженъ являться не только мечомъ рубящимъ, но и силой хранительной. Нанося ударъ старому міру, онъ не только долженъ спасти все, что въ немъ достойно спасенія, но оставить на свою судьбу все не мѣшающее, разнообразное, своеобычное. Горе бѣдному духомъ и тощему художественнымъ смысломъ перевороту, который изъ всего былого и на-

житаго сдѣлаетъ скучную мастерскую, которой вся выгода будетъ состоять въ одномъ пропитаніи, и только въ пропитаніи. Но этого и не будетъ. Человѣчество во всѣ времена, самыя худшія, показывало, что у него potentialiter больше потребностей и больше силъ, чѣмъ надобно на одно завоеваніе жизни, развитіе не можетъ ихъ заглушить. Есть для людей драгоцѣнности, которыми они не поступятся и которыя у нихъ изъ рукъ можетъ вырвать одно деспотическое насиліе, и то на минуты горячки и катаклизма. И кто не скажетъ, безъ вопіющей несправедливости, чтобъ и въ былomъ и въ отходящемъ не было много прекраснаго и что оно должно погибнуть вмѣстѣ съ старымъ кораблемъ.

Ницца, 15 января, 1869.

Письмо второе.

...Я нисколько не боюсь слова «постепенность», опошленнаго шаткостью и невѣрнымъ шагомъ разныхъ реформирующихъ властей. Постепенность такъ, какъ непрерывность, неотъемлемы всякому процессу разумѣнья. Математика передается постепенно, отчего же конечные выводы, мысли о соціологіи могутъ прививаться, какъ оспа, или вливаться въ мозги такъ, какъ вливаютъ лошадямъ сразу лекарство въ ротъ. Между конечными выводами и современнымъ состояніемъ есть практическія облегченія, пути, компромиссы, діагонали. Понять, которыя изъ нихъ короче, удобнѣе и возможнѣе, дѣло практическаго такта, дѣло стратегіи. Идя безъ оглядки впередъ, можно затесаться, какъ Наполеонъ въ Москву и погибнуть, отступая отъ нея, не доходя даже до Березины. Международное соединеніе работниковъ, всевозможныя соединенія ихъ, ихъ органы и представители, должны всѣми силами достигать того невмѣшательства власти въ *работу*, которую оно не дѣлаетъ въ управленіи собственностью. Формы, сдерживающія людей въ полунасильственныхъ ковахъ, à la longue не вынесутъ напора логики и развитія общественнаго пониманья. Однѣ изъ нихъ до того внутри сгнили, что имъ дать толчокъ ногой; другія, какъ ракъ, держатся корнями въ дурной крови. Ломая одинакимъ образомъ тѣ и другія, можно убить организмъ, и, навѣрное, заставить огромное большинство отпрянуть. Всего яростнѣе возстанутъ за «ракъ» наиболѣе страдающіе отъ него.

Это очень глупо, но пора съ глупостью считаться, какъ съ громадной силой.

Во всей Европѣ подымется за старые порядки сплошь все крестьянское населеніе. А развѣ мы не знаемъ, что такое сельское населеніе, какова его упорная сила и упорная колкость? Отобравъ изъ рукъ революціи земли эмигрантовъ, оно-то и подсидѣло республику и революцію. Конечно, оно отпрянетъ и накинется по неразумью и невѣжеству, но въ этомъ-то вся важность.

На неразуміи и невѣжествѣ зиждется вся прочность существующаго порядка; на нихъ покоятся устарѣлыя воспитательныя формы, въ которыхъ люди выростали изъ несовершеннолѣтія, и которыя жмутъ теперь меньшинство, но которыхъ вредной ненужности не понимаетъ большинство. Мы знаемъ, что

значитъ ошибаться въ возрастѣ и въ степени пониманья. Всеобщая подача голосовъ, навязанная неприготовленному народу, послужила для него бритвой, которой онъ чуть не зарѣзался.

Но если понятія государства, суда сильны и крѣпки, то еще крѣпче укоренены понятія о семьѣ, о собственности, о наслѣдствѣ. Отрицаніе собственности само по себѣ безсмыслица; «собственность не погибнетъ», скажу парафразируя извѣстную фразу Людовика-Филиппа. Видоизмѣненіе ея, въ родѣ перехода изъ *личной* въ *коллективную,* неясно и неопредѣленно. Крестьянину на Западѣ такъ же необходимо привилась его любовь къ *своей* землѣ, какъ въ Россіи легко понимается крестьянствомъ общинное владѣніе. Нелѣпаго тутъ ничего нѣтъ. Собственность и особенно поземельная, для западнаго человѣка представлялась освобожденіемъ, его самобытностью, его достоинствомъ и величайшимъ гражданскимъ значеніемъ. Можетъ быть, онъ убѣдится въ невыгодѣ безпрерывно крошащихся и дробимыхъ участковъ и въ выгодѣ свободнаго хозяйства, общинныхъ запашекъ полей; но какъ же его «безъ пристрастія» уломать, чтобъ онъ спервоначала отказался отъ вѣками взлелѣянной мечты, которою онъ жилъ и тѣшился и которая дѣйствительно поставила его на ноги, прикрѣпила *къ нему землю,* къ которой онъ былъ прежде крѣпокъ?

Вопросъ, прямо идущій за тѣмъ, вопросъ о наслѣдствѣ, еще труднѣе. Кромѣ холостыхъ фанатиковъ въ родѣ монаховъ, раскольниковъ, икаріанъ и пр., никакая масса не согласится на безусловное отреченіе отъ права завѣщать какую-нибудь часть своего достоянія своимъ наслѣдникамъ. Я не знаю довода, по которому было бы можно противодѣйствовать этой формѣ любви избирательной или кровной, передачѣ вмѣстѣ съ жизнію, съ чертами, даже съ болѣзнями, вещей, служившихъ мнѣ орудіемъ. Развѣ во имя обязательнаго *братства* и любви ко всѣмъ? Въ худшемъ человѣческомъ положеніи, у дворовыхъ крѣпостныхъ людей, были кой-какія тряпки, которыя они оставляли своимъ и которыя почти никогда не отбирались помѣщиками. Отнимите у самаго бѣднаго мужика право завѣщать,—и онъ возьметъ колъ въ руки и пойдетъ защищать своихъ, свою семью и свою волю.

Что же тогда?.. Или свернуть свое знамя и отступить, потому что сила, очевидно, будетъ съ ихъ стороны, или ринуться въ бой и, въ случаѣ мѣстной временной побѣды, начать водвореніе новаго порядка, новаго освобожденія избіеніемъ.

Аракчееву было сполгоря вводить свои военно-экономическія утопіи, имѣя за себя войско, да и то ничего не сдѣлалъ. А за упраздненіемъ государства, откуда брать «экзекуцію», палачей, и пуще всего фискаловъ? А въ нихъ будетъ огромная потребность. Не начать-ли новую жизнь съ сохраненіемъ соціальнаго корпуса жандармовъ? Неужели цивилизація кнутомъ, освобожденіе гильотиной составляютъ вѣчную необходимость каждаго шага впередъ?

Дальше я не пойду теперь, а скажу въ заключеніе вотъ что. Стоя возлѣ труповъ, возлѣ ядрами разрушенныхъ домовъ, слушая въ лихорадкѣ, какъ разстрѣливали плѣнныхъ, я всѣмъ сердцемъ и всѣми помышленіями звалъ дикія

силы на месть, на разрушеніе старой преступной веси; звалъ даже не очень думая, чѣмъ она замѣнится.

Съ тѣхъ поръ прошло двадцать лѣтъ. Месть пришла съ другой стороны, месть пришла сверху. Народы все вынесли, *потому что ничего не понимали* ни тогда, ни послѣ. Середина вся растоптана и втоптана въ грязь... Длинное, тяжелое время дало досугъ страстямъ успокоиться и мыслямъ отстояться, дало досугъ на обдуманіе и наблюденіе.

Ни ты, ни я — мы не измѣнили нашихъ убѣжденій, но разно стали къ вопросу. Ты рвешься впередъ по прежнему, со страстью разрушенія, которую принимаешь за творческую страсть... ломая препятствія и уважая исторію только въ будущемъ. Я не вѣрю въ прежніе революціонные пути и стараюсь понять *шагъ людской* въ былomъ и настоящемъ, для того, чтобы знать какъ итти съ нимъ въ ногу, не отставая и не забѣгая въ такую даль, въ которую люди не пойдутъ за мной, не могутъ итти.

И еще слово. Высказать это въ томъ кругу, въ которомъ мы живемъ, требуетъ если не больше, то, конечно, не меньше мужества и самостоятельности, чѣмъ брать во всѣхъ вопросахъ самую крайнюю крайность.

Я думаю, что ты самъ согласишься въ этомъ...

Ницца, 25 января, 1896.

Еще разъ Базаровъ.

Статья „Еще разъ Базаровъ“ была напечатана въ послѣдней книжкѣ „Полярной Звѣзды“, вышедшей въ 1869 г. Возвращаясь къ старому спору изъ-за Базарова, въ которомъ сказалось расхожденіе „отцовъ и дѣтей“—людей 40-хъ и людей 60-хъ годовъ, Герценъ даетъ интересную характеристику нигилизма. Статья „Еще разъ Базаровъ“, какъ и „Письма къ старому товарищу“, проникнуты вѣрой въ науку. Такъ въ послѣднихъ произведеніяхъ Герцена ярко вспыхиваетъ то пламя, которое горѣло въ его статьяхъ о „Дилетантизмѣ въ наукѣ“.

Письмо второе.

Прошедшее составляетъ въ исторіи *ступню*, по которой наука, рано или поздно, возстановляетъ былое въ основныхъ чертахъ. Утрачивается одно случайное освѣщеніе подъ тѣмъ или другимъ угломъ, подъ которымъ оно проходило. Апотеозы и клеветы, пристрастія и зависти, все это вывѣтривается и сдувается. Легкая ступня, занесенная пескомъ, исчезаетъ; ступня, имѣвшая силу и настойчивость выдавить себя на камнѣ, и воскреснетъ подъ рукой честнаго труженика.

Связи, степени родства, завѣщатели и наслѣдники и ихъ взаимныя права, все раскроется геральдикой науки.

Безъ предшественниковъ родятся только богини, какъ Венера изъ пѣны морской. Минерва умнѣе ея, родилась изъ готовой головы Юпитера.

Декабристы—наши отцы, Базаровы—наши дѣти.

Мы отъ декабристовъ получили въ наслѣдство возбужденное чувство человѣческаго достоинства, стремленіе къ независимости, ненависть къ рабству, уваженіе къ Западу, юность и непочатость силъ.

Все это переработалось, стало инымъ, но основы цѣлы.

Что же наше поколѣніе завѣщало новому?

Нигилизмъ.

Вспомнимъ немного, какъ было дѣло.

Около сороковыхъ годовъ жизнь изъ подъ туго придавленныхъ клапановъ стала сильнѣе прорываться. Во всей Россіи прошла едва уловимая перемѣна, та перемѣна, по которой врачъ замѣчаетъ прежде отчета и пониманія, что въ болѣзни *есть поворотъ* къ лучшему, что силы очень слабы, но будто поднялись,—другой *тонъ*. Гдѣ-то внутри, въ нравственно микроскопическомъ мірѣ повѣялъ иной воздухъ, больше раздражительный, но и больше здоровый. Наружно все было мертво, но что-то пробудилось въ сознаніи, въ совѣсти—какое-то чувство неловкости, неудовольствія. Ужасъ притупился, людямъ надоѣло въ полумракѣ темнаго царства.

Я эту перемѣну видѣлъ своими глазами, пріѣхавши изъ ссылки, сначала въ Москвѣ, потомъ въ Петербургѣ. Но я увидѣлъ это въ кругахъ литераторовъ и ученыхъ. Другой человѣкъ, котораго остзейская антипатія къ русскому движенію ставитъ выше подозрѣнія въ пристрастіи, разсказалъ не такъ давно, какъ онъ, возвратившись въ сороковыхъ годахъ въ петербургскую аристократію казармъ, послѣ отсутствія нѣсколькихъ лѣтъ былъ озадаченъ послабленіемъ дисциплины. Флигель-адъютанты, гвардейскіе полковники роптали, критиковали мѣры правительства. Машина стала подаваться; всѣ это почувствовали, одни говорили, другіе молчали, запрещали говорить; но тѣ и другіе поняли, что въ сущности все идетъ плохо, что всему тяжело, и что отъ этой тяжести никому нѣтъ прока.

Замѣшался въ дѣло смѣхъ. Мерзость и запустѣніе низшей администраціи дошли до того, что правительство отдало ее на поруганіе. Николай Павловичъ, помиравшій со смѣху въ своей ложѣ надъ Сквозникъ-Дмухановскимъ и Держимордой, помогалъ пропагандѣ, не догадываясь, что смѣхъ послѣ высочайшаго одобренія пойдетъ быстро вверхъ по табели о рангахъ.

Приложить къ этому времени во всей ихъ рѣзкости рубрики Писарева трудно. Въ жизни все состоитъ изъ переливовъ, колебаній, перекрещиваній, захватываній и перехватываній, а не изъ отломленныхъ кусковъ.

Гдѣ окончились люди безъ знанія съ волей и начались люди съ знаніемъ безъ воли?

Природа рѣшительно ускользаетъ отъ взводнаго ранжира, даже отъ ранжира по возрастамъ. Лермонтовъ лѣтами былъ товарищъ Бѣлинскаго, онъ былъ вмѣстѣ съ нами въ университетѣ, а умеръ въ безвыходной безнадежности печоринскаго направленія, противъ котораго возставали уже славянофилы и мы.

Кстати, я назвалъ славянофиловъ. Куда дѣть Хомякова и его «братчиковъ?» Что убыло, воля безъ знанія, или знаніе безъ воли? А мѣсто они заняли

нешуточное въ новомъ развитіи Россіи, они свою мысль далеко вдавили въ современный потокъ.

Или въ какой рекрутскій пріемъ и по какой мѣрѣ мы усадимъ Гоголя? Знанія у него не было, была-ли воля,—не знаю, сомнѣваюсь, а геній былъ и его вліяніе колоссально.

Итакъ, оставляя lapides crescunt, planta crescunt et vivunt... Писарева, пойдемъ далѣе.

Тайныхъ обществъ не было, но *тайное соглашеніе* понимающихъ было велико. Круги, составленные изъ людей, больше или меньше испытавшихъ на себѣ медвѣжью лапу, смотрѣли чутко за своимъ составомъ. Всякое другое дѣйствіе кромѣ слова, и то маскированнаго, было невозможно, зато слово пріобрѣло мощь, и не только печатное, но еще живое слово.

Двѣ батареи выдвинулись скоро. Періодическая литература дѣлается пропагандой, во главѣ ея становится въ полномъ разгарѣ молодыхъ силъ—Бѣлинскій. Университетскія каѳедры превращаются въ налои, лекціи въ проповѣди очеловѣченья, личность Грановскаго, окруженнаго молодыми доцентами, выдается больше и больше.

Вдругъ еще взрывъ смѣха. Страннаго смѣха, страшнаго смѣха, смѣха судорожнаго, въ которомъ былъ и стыдъ, и угрызеніе совѣсти, и, пожалуй, не смѣхъ до слезъ, а слезы до смѣха. Нелѣпый, уродливый, узкій міръ «Мертвыхъ душъ» не вынесъ, осѣлъ и сталъ отодвигаться. А проповѣдь шла сильнѣй... все одна проповѣдь—и смѣхъ, и плачъ, и книга, и рѣчь, и Гегель [1]), и исторія,—все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ и передъ собственнымъ безправіемъ, все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума.

Къ этому времени принадлежатъ первыя зарницы *нигилизма*, зарницы той совершеннѣйшей свободы отъ всѣхъ готовыхъ понятій, отъ всѣхъ унаслѣдованныхъ обструкцій и заваловъ, которые мѣшаютъ западному уму идти впередъ своимъ историческимъ ядромъ на погахъ...

Тихая работа сороковыхъ годовъ разомъ оборвалась. Времена чернѣе и тяжелѣе начала николаевскаго царствованія наступили послѣ февральской революціи. Передъ началомъ гоненій умеръ Бѣлинскій. Грановскій завидовалъ ему и стремился оставить отечество.

Темная, семилѣтняя ночь пала на Россію и въ ней-то сложился, развился и окрѣпъ въ русскомъ умѣ тотъ складъ мыслей, тотъ пріемъ мышленія, который назвали *нигилизмомъ*.

Нигилизмъ (повторяю сказанное недавно въ Колоколѣ) это—логика безъ стриктуры, это—наука безъ догматовъ, это—безусловная покорность опыту и безропотное принятіе всѣхъ послѣдствій, какія бы они ни были, если они вытекаютъ

---

[1]) Діалектика Гегеля—страшный таранъ, она, несмотря на свое двуличіе, на прусско-протестантскую кокарду, улетучивала все существующее и распускала все мѣшавшее разуму. Къ тому же это было время Фейербаха, der kritischen Kritik...

изъ наблюденія, требуются разумомъ. Нигилизмъ не превращаетъ что-нибудь въ ничего, а раскрываетъ, что *ничего*, принимаемое за *что-нибудь*, оптическій обманъ, и что всякая истина, какъ бы она ни перечила фантастическимъ представленіямъ, здоровѣе ихъ, во всякомъ случаѣ сбязательна.

Идетъ это названіе къ дѣлу или нѣтъ, это все равно. Къ нему привыкли, оно принято друзьями и врагами, оно попало въ полицейскій признакъ, оно стало доносомъ, обидой у однихъ, похвалой у другихъ. Разумѣется, если подъ *нигилизмомъ* мы будемъ разумѣть обратное творчество, т. е. превращеніе фактовъ и мыслей въ *ничего*, въ безплодный скептицизмъ, въ надменное «сложа руки», въ отчаяніе, ведущее къ бездѣйствію, тогда настоящіе *нигилисты* всего меньше подойдутъ подъ это опредѣленіе, и одинъ изъ величайшихъ нигилистовъ будетъ И. Тургеневъ, бросившій въ нихъ первый камень, и, пожалуй, его любимый философъ Шопенгауеръ.

Когда Бѣлинскій, долго слушая объясненія кого-то изъ друзей о томъ, что *духъ* приходитъ къ самосознанію въ человѣкѣ, съ негодованіемъ отвѣчалъ: «такъ это я не для себя сознаю, а для духа... что же я за дуракъ достался, лучше не буду вовсе думать, что мнѣ за забота до его сознанія»... Онъ былъ нигилистъ.

Когда Бакунинъ уличалъ берлинскихъ профессоровъ въ робости отрицанья и парижскихъ революціонеровъ 1848 года въ консерватизмѣ,—онъ былъ вполнѣ *нигилистъ*. Вообще всѣ эти межеванья и ревнивыя отталкиванія ни къ чему не ведутъ, кромѣ насильственнаго антагонизма.

Нигилизмъ съ тѣхъ поръ расширился, яснѣе созналъ себя, долею сталъ доктриной, принялъ въ себя многое изъ науки и вызвалъ дѣятелей съ огромными силами, съ огромными талантами... Все это неоспоримо.

Но новыхъ началъ, принциповъ, онъ не внесъ. . . . . . .

Литература о Герценѣ.

Подробная библіографія книгъ и статей о Герценѣ составлена А. Г. Фоминымъ и приложена къ книгѣ **Ч. Вѣтринскаго:** „Герценъ“. СПБ. 1908.

Кромѣ названнаго сочиненія для общаго знакомства съ Герценомъ могутъ быть указаны слѣдующіе авторы: **В. Я. Богучарскій.** Александръ Ивановичъ Герценъ. СПБ. 1912, **В. Батуринскій.** „А. И. Герценъ, его друзья и знакомые“. СПБ. 1904. **А. Веселовскій.** „Герценъ — писатель“. **Ивановъ-Разумникъ.** „Исторія русской общественной мысли“. **Г. Плехановъ.** „Герценъ—эмигрантъ“ въ „Исторіи русской литературы XIX в.“ подъ ред. проф. Овсянико-Куликовскаго.

Оглавленіе.

СТР.

Предисловіе 3

Герценъ — общественный мыслитель. Вступительная статья *Л. Козловскаго* 5

Часть I. **Герценъ въ Россіи** 19

„Дилетантизмъ въ наукѣ“ 19

Изъ повѣсти „Докторъ Круповъ“ 34

Часть II. **Герценъ за границей** 39

„Письма изъ Франціи и Италіи“ 39

„Съ того берега“ 49

„Послѣ грозы“ 51

„Эпилогъ 1849 года“ 56

„Omnia mea mecum porto“ 61

„Концы и начала“ 66

Россія, старый міръ и соціализмъ 69

„Русской народъ и соціализмъ“ 71

„Старый міръ и Россія“ 79

„Крещеная собственность“ 87

Часть III. **Герценъ въ освобожденіи крестьянъ** 94

„Юрьевъ день! Юрьевъ день!“ 96

Статьи изъ „Колокола“ 99

„Революція въ Россіи“ 99

„Черезъ три года“ 106

„Насъ упрекаютъ“ 107

„Манифестъ!“ 109

„Русскіе нѣмцы и нѣмецкіе русскіе“ 110

„Россія и Польша“ 119

„Mortuos plango“ 126

Часть IV. **Изъ произведеній Герцена послѣднихъ лѣтъ** 132

„Къ старому товарищу“ 132

„Еще разъ Базаровъ“ 139

Литература о Герценѣ 142

Книгоиздательство Типо-Литографіи «Энергія».
С.-Петербургъ, Загородный пр., 17.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМИССІИ

Учебнаго Отдѣла О-ва Распространенія Техническихъ Знаній.

Подъ этимъ общимъ заглавіемъ издательство выпускаетъ рядъ книгъ по исторіи русской культуры, общественной жизни и литературы.

Каждая книга содержитъ руководящую статью составителя, наиболѣе характерный и цѣнный документальный матеріалъ (хрестоматію) по разсматриваемому составителемъ вопросу и примѣчанія къ матеріаламъ.

Настоящая библіотека должна служить, какъ ЦѢЛЯМЪ САМООБРАЗОВАНІЯ, такъ и ПОСОБІЕМЪ для студентовъ, учениковъ старш. кл. ср.-уч. зав. и вообще всѣхъ, изучающихъ исторію культурнаго развитія Россіи.

Въ первую серію вошли слѣдующія названія:

БОГОЛЮБОВЪ, В. А. Екатерина II.

БОЧКАРЕВЪ, В. Н. Московское государство XV—XVII вв. по сказаніямъ иностранцевъ-современниковъ. Ц. 90 к.

БРОДСКІЙ, Н. Л. Литературные кружки 30—40 гг.

КАТАЕВЪ, И. М. Русская бюрократія дореформеннаго времени въ запискахъ, мемуарахъ и литературѣ. Ц. 1 р. 10 к.

КОВАЛЕНСКІЙ, М. Н. Московская политическая литература XVI в. Ц. 85 к.

КОЗЛОВСКІЙ, Л. С. Герценъ—публицистъ. Ц. 90 к.

МОДЕСТОВЪ, А. Е. О смыслѣ жизни въ русской художественной литературѣ XIX вѣка. Вып. I. Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Гончаровъ, Тургеневъ, А. К. Толстой. Ц. 60 к.—Вып. II. Некрасовъ, Успенскій, Салтыковъ-Щедринъ, Чеховъ, Горькій. Ц. 70 к.

ПИЧЕТА, В. И. Юрій Крижаничъ. Экономическіе и политическіе его взгляды. Ц. 90 к.

ПОРТУГАЛОВЪ, М. В. Женщина въ русской художественной литературѣ XIX вѣка (1826—1876 гг.). Ц. 1 р.

РОЗАНОВЪ, С. С. Утопіи въ русской литературѣ и общественной мысли.

СОЛОВЬЕВЪ, И. М. Русскіе университеты въ ихъ уставахъ и воспоминаніяхъ современниковъ. Вып. I. Университеты до 60-ыхъ гг. Ц. 1 р. 25 к.

СИВКОВЪ, К. В. Путешествія русск. людей за границу въ XVIII в. Ц. 85 к.

СИДОРОВЪ, Н. П. Цензура по правительственнымъ распоряженіямъ и воспоминаніямъ современниковъ.

СИНЕГУБЪ, Е. С. Дореформенный городъ.

ПОДГОТОВЛЯЮТСЯ КЪ ПЕЧАТИ СЛѢДУЮЩІЯ СЕРІИ.

Всѣ серіи вмѣстѣ составятъ цѣнное СОБРАНІЕ ПРИВЕДЕННЫХЪ въ СИСТЕМУ МАТЕРІАЛОВЪ ПО ИСТОРІИ РАЗВИТІЯ и РОСТА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ съ начала зарожденія Руси до настоящаго времени.

-75
227680/
S72

Сборники „ЭНЕРГІЯ“

подъ редакціей АЛЕКСАНДРА АМФИТЕАТРОВА.

Изящная словесность. — Критика. — Публицистика. — Научныя популяризаціи. — Мемуары. — Сатира. — Фельетонъ.

Содержаніе Перваго Сборника. **В. Сѣрошевскій.** Дары Сѣвернаго Вѣтра. Повѣсть. **Иванъ Свистовъ.** Лѣсная Темь. Стихотв. **А. Амфитеатровъ.** Юность одной пѣвицы. (Человѣч. докум.) **Четыре письма А. П. Чехова** съ замѣтк. и примѣч. **А. Амфитеатрова. Борисъ Тимоѳеевъ.** Сухіе сучки. Повѣсть. **А. Амфитеатровъ.** Времена и нравы. Ц. 1 р. 50 коп.

Содержаніе Второго Сборника. **I. Д. Айзманъ.** Свѣтлый Богъ. **II. Тэффи, С. Астровъ.** Стихи. **III. Н. А. Римскій-Корсаковъ.** Письмо съ замѣтк. и примѣч. А. Амфитеатрова. **IV. Молодое растетъ.** Разсказы о дѣтяхъ. **1. Н. Никандровъ.** Искусство. **2. Владиміръ Кадашевъ.** Огонь. **3. Кириллъ Волгинъ.** Атипка. **V. Неволя.** Разсказы объ узникахъ. **1. Иванъ Вольновъ.** Осенью. **2. Конст. Лигскій.** Via Dolorosa. **VI. А. Амфитеатровъ.** Сестра Елена. (Изъ записокъ одной пѣвицы). **VII. М. Новорусскій.** Предѣлы науки. **VIII. А. Петрищевъ.** Побѣдоносное пораженіе. Ц. 1 р. 50 к.

Обложка, иллюстраціи и заставки отпечатаны съ оригинальн. ксилографій итальянскаго художника ЭМИЛІО МАНТЕЛЛИ.

Ал. Ожиговъ.

ЖРЕЦЪ САТАНЫ.

(В. В. Розановъ).

Литературная характеристика.

(Печатается).

Художественная обложка работы г. **Ре-ми.**

В. Евгеньевъ.

ПИСАТЕЛИ-БОРЦЫ СЪ КРѢПОСТНОЙ НЕВОЛЕЙ.

Очеркъ изъ исторіи русской художеств. литературы XVIII и XIX вв. Цѣна 75 к.

Ю. Айхенвальдъ.

Посмертныя сочиненія Л. Н. ТОЛСТОГО.

Съ портр. Толстого (съ послѣдн. снимка).

Цѣна 45 к.

Александръ Амфитеатровъ.

„АУ!“

Сатиры, шутки, риѳмы и пр. **Цѣна 1 р. 25 к.**

Александръ Амфитеатровъ.

НА ВСЯКІИ ЗВУКЪ

Цѣна 1 р. 25 к.

Александръ Амфитеатровъ.

И ЧЕРТИ, И ЦВѢТЫ.

Цѣна 1 р. 25 к.

Вас. Ив. Немировичъ-Данченко.

НАШИ ЖЕНЩИНЫ.

Разсказы. Второе изданіе. Съ фототипическимъ портр. автора. **Цѣна 1 р. 50 к.**

Вас. Ив. Немировичъ-Данченко.

НАШИ ЖЕНЩИНЫ.

Разсказы. **КНИГА ВТОРАЯ. Цѣна 1 р. 50 к.**

Вас. Ив. Немировичъ-Данченко.

НАШИ ЖЕНЩИНЫ.

Разсказы. **КНИГА ТРЕТЬЯ. Цѣна 1 р. 50 к.**

Вас. Ив. Немировичъ-Данченко.

РАЗЖАЛОВАННЫЙ

Историческій романъ въ двухъ томахъ.

Цѣна каждаго тома 1 р. 25 к.

М. Туганъ-Барановскій.

КЪ ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ.

I. Этика и обществ. жизнь. II. Кооперація. III. Экономич. жизнь. **Ц. 1 р. 50 к.**

А. Волынскій.

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКІЙ.

Съ портретомъ Достоевскаго. **Цѣна 3 р.**

Каталоги и проспекты съ отзывами печати и указаніемъ содержанія по первому требов. безплатно. Книги высылаются наложен. платежомъ.

Пересылка книгъ на сумму не менѣе 2 руб. **безплатно;** за наложен. плат. 10 коп.

Книгоизд. Типо-Литографіи „ЭНЕРГІЯ“. Спб., Загородный пр., 17.

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00041495186